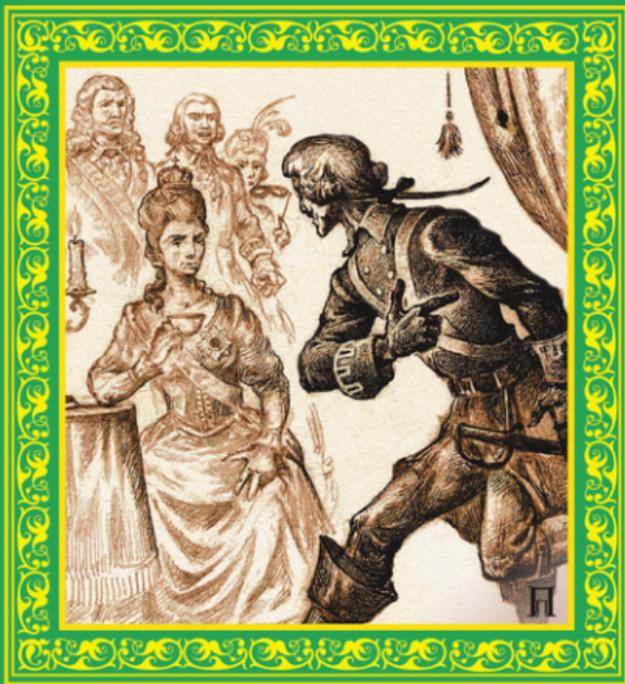


Михаил ВОЛКОНСКИЙ

КОЛЬЦО ИМПЕРАТРИЦЫ



Михаил Николаевич Волконский

Кольцо императрицы
(сборник)
(Серия исторических романов)

XVIII век. Вокруг дочери Петра I, цесаревны Елизаветы, плетутся интриги. Высокие посты при дворе занимали люди пришлые, не русские. Великой княжне приходится зависеть от всех этих людей, повсюду ее окружают шпионы да соглядатаи. Молодому князю Ивану Косому судьбою было уготовано спасти жизнь будущей императрицы Елизаветы Петровны и получить от нее в подарок золотое кольцо. Но принесет ли счастье этот дар? Обедневшему дворянину, выросшему в провинции и приехавшему искать удачи в столице, так легко ошибиться и запутаться, угодив в сети большой политики.

Содержание

#1	0005
Об авторе	0006
Кольцо императрицы	0011
Часть первая	0011
Часть вторая	0245
Часть третья	0398
Горсть бриллиантов (Быль XVIII столетия) .	0610
I. Петиметр	0610
II. Куртизаны	0624
III. Скверное дело	0638
IV. Правда	0647
Серия исторических романов	0653

**Михаил Николаевич
Волконский
Кольцо императрицы**

© ООО «Издательство «Вече», 2014
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2016

Сайт издательства www.veche.ru

Об авторе

Весьма популярный в конце XIX – начале XX века русский писатель Михаил Николаевич Волконский родился в Петербурге 7(19) мая 1860 года. Он принадлежал к древнему княжескому роду, ведущему свое происхождение еще от Рюрика. Волконский закончил Императорское училище правоведения (1882), служил в Главном управлении государственного коннозаводства, потом – в Министерстве народного просвещения. Однако молодого чиновника привлекала литература, и, добившись успеха на любимом поприще, он ушел с государственной службы. Успех Михаилу принес один из первых его исторических романов «Мальтийская цепь» (1891), сюжет которого автор почерпнул из маленькой заметки в старинной газете. Так сразу же определилась характерная особенность творчества писателя: поразившая его какая-либо яркая деталь, скромный исторический факт разрастаются в волнующий авантюрный сюжет, становящийся стержнем большого романа.

Интерес к истории отечества пробудился у

Волконского еще в юношестве под влиянием увлекательных романов и убедительных научных работ его двоюродного дяди Е.П. Карновича, выдающегося русского историка и писателя, блестящего знатока истории русского Средневековья. Михаила заинтересовал прежде всего XVIII век, богатый головокружительными переменами в политике, культуре и нравах общества. Но и в этом авантюрном веке писатель отдает предпочтение двум периодам: восшествия на престол Анны Иоанновны и последовавшим за этим правлением Бирона, а также царствованию Павла. Первой тематике посвящены романы «Князь Никита Федорович», рассказывающий о судьбе одного из предков писателя, «Мальтийская цепь», «Брат герцога» и др.; времени Павла – романы «Сирена», «Гамлет XVIII века», «Ищите и найдете», «Слуга императора Павла». Были, конечно, романы и повести из екатерининских и елизаветинских времен. К последним относится и одно из лучших произведений писателя – «Кольцо императрицы», где выдумка и реальные события органично перетекают в увлекательный сюжет. Романиста

влекла история «неофициальная, тайная, сплетающаяся из целого ряда интриг и отношений, разгадать и открыть которые представляется возможным лишь спустя многие годы». Волконский не просто сочинял авантюрные сюжеты, подернутые флёрот истории. Во многих своих произведениях он высказывал концепции, порой отличающиеся от классического «официального» мнения. Так, например, он резко осуждал правление Екатерины II и положительно оценивал деятельность Павла I.

Михаил Волконский получил также известность как талантливый и остроумный драматург. Шумный успех имела его пьеса «Принцесса Африканская» (1900) и созданная на ее основе пародийная опера «Вампука, невеста Африканская» (под псевдонимом Анчар Манценилов), поставленная в 1909 году на сцене театра «Кривое зеркало». Яркий след оставил Михаил Николаевич и в журналистике: в 1892–1894 годах он был редактором популярнейшего журнала «Нива», позднее сотрудничал в газете «Новое время» и сатирических журналах «Виттова пляска», «Плювиум»,

«Продолжение Виттовой пляски». В начале XX века Волконский занялся общественно-политической деятельностью: несколько лет он был активным участником право-монархического движения; в частности, был делегатом III Всероссийского съезда Русских Людей (1906) и председателем петербургского отделения Союза Русского Народа. Скончался князь М.Н. Волконский в революционном Петрограде 13 (26) октября 1917 года после тяжелой болезни. Его творчество в советское время оставалось практически неизвестным широкому читателю. Публикация лучших романов Михаила Николаевича в конце прошлого столетия заново открыла нам замечательного русского автора, умевшего в занимательной форме рассказать о прошлом нашей отчизны.

Избранная библиография М.Н. Волконского:

- «Мальтийская цепь» (1891)
- «Князь Никита Федорович» (1891)
- «Брат герцога» (1895)
- «Кольцо императрицы» (1896)

- «Два мага» (1902)
- «Гамлет XVIII века» (1903)
- «Сирена» (1903)
- «Ищите и найдете» (1904)
- «Жанна де Ламот» (1910)
- «Темные силы» (1910)
- «Забутые хоромы» (1910)
- «Тайна герцога» (1914)
- «Вязниковский самодур» (1914)
- «Черный человек» (1914)
- «Записки прадеда» (1914)
- «Горсть бриллиантов» (1914)
- «Воля судьбы» (1914)
- «Две жизни» (1915)
- «Слуга императора Павла» (1916)

Кольцо императрицы

Часть первая

Вместо предисловия

После кончины императрицы Анны Иоанновны русский престол перешел к младенцу Иоанну Антоновичу, а регентом стал герцог Курляндский Бирон. Однако на этом посту он оставался меньше месяца – 8 ноября 1740 года Бирон был арестован по повелению Анны Леопольдовны, матери младенца императора Иоанна Антоновича, и она объявила себя регентшей на место арестованного.

Общие ожидания сошлись на том, что этот арест недавнего временщика и полного вершителя судеб России повлечет за собою неминуемое падение его приближенных, друзей и вообще лиц, пользовавшихся его покровительством. Однако таких людей нашлось немного. Вместе с Бироном были арестованы только кабинет-министр Бестужев, брат герцога Густав да немец Бисмарк, ее имевший почти никакого значения, кроме своей близкой связи с бывшим регентом.

Оставался еще старик Остерман, занимавший видное положение государственного канцлера и, как было известно всем, игравший в руку Бирона, благодаря которому он, собственно, и держался. Правда, он обладал большими дипломатическими способностями и опытом долговременной служебной практики, однако ни это видное положение, ни высокое звание не могли спасти старика, если не мог спастись сам Бирон, положение которого было еще виднее, а могущество и сила – еще значительней.

В ночь ареста регента, с восьмого на девятое ноября, «знатные обоюга пола персоны» собрались во дворец для присяги новой регентше, и тихо перешептывались, оглядывая друг друга и стараясь найти тех, кого не досчитывались. Не досчитались Бестужева, Густава Бирона; о Бисмарке забыли и искали глазами Остермана. Его не было. Кто говорил, что он уже арестован, кто выдавал за верное, что старик хитрит и прикинулся больным, что он делал всегда при важных переменах во дворце. Наконец его пронесли в кресле по дворцу к правительнице.

Остерман, сидя у себя дома уже совсем одетый и готовый для выезда во дворец после получения первого же известия об аресте Бирона, ждал подтверждения справедливости этой вести и, получив его от своего шурина Стрешнева, велел везти себя во дворец.

Здесь увидели, что он не арестован, но это не могло еще закрыть рты и прекратить толки и догадки. Решили, что, разумеется, нельзя было арестовать так вдруг канцлера, в руках которого были все нити дипломатической переписки с иностранными дворами. Нужно было сначала принять от него дела, сложные и запутанные, во многих отношениях известные только ему.

Остерман ночью уехал из дворца очень скоро, и после его отъезда в толпе, наполнявшей дворцовые покои, разнесся слух, что он был принят правительницей очень сухо и что ему приказано на другой день явиться со всеми бумагами для личного объяснения с Анной Леопольдовной. Не было сомнения, что завтра, когда Остерман сдаст свои бумаги и дела правительнице, он будет арестован.

В назначенный час Остерман приехал во

дворец, или, вернее, его привезли туда, опять больного, в кресле, опять закутанного в одеяло, с вечным его зеленым зонтиком на глазах. Его пронесли прямо во внутренние покои правительницы и поместили у стола, достаточно большого, чтобы разложить на нем все бумаги, которые заключала в себе привезенная Остерманом толстая кожаная сумка.

Слуги вышли. Остерман остался в комнате один. Он не изменил своего положения, ни одно движение не выдало его. Он, и один оставаясь в покоях Анны Леопольдовны, продолжал казаться больным, с трудомдвигающимся стариком. Медленно достал он на груди золотой ключик, медленно вложил его в замок сумки, отпер ее и стал доставать одну за другою бумаги и выкладывать их на стол.

За дверью послышался шорох. Остерман и не сомневался, что там уже давно стоят и, вероятно, наблюдают за ним в щелку. Ручка у двери наконец двинулась, и в комнату несколько более, чем нужно, широкими шагами, как бы подбадривая себя, вошла Анна Леопольдовна.

Вчера ночью, после только что совершен-

ного ею переворота, сторяча, она еще могла заставить себя затянуться в твердый корсет, надеть узкие туфли на высоких каблуках и неловкое, нелюбимое ею, стеснительное платье на фижмах, но сегодня Остерман увидел ее опять прежнюю Анною Леопольдовною, такую, какую видел ее обыкновенно в будние дни, а не на балах и праздниках, которых она не любила и посещала очень редко. На ней был широкий шелковый, очень удобный капот с большою складкою сзади и шлейфом. Голова была повязана платком.

Правительница вошла, видимо, желая казаться строгой, быть может, величественной, и во всяком случае недовольной и сердитой, со сжатыми губами и насупленными бровями. Но по тому, как она вошла, села, не взглянув, к столу и положила на него руку, как садятся женщины, входя в детскую, где ждет их няня с докладом о ребенке, и сразу потребовала от Остермана, не поздоровавшись с ним, сдачи «в с е х» дел, он убедился еще раз, что она ни строгой, ни сердитой, ни величественной, ни даже деловитой быть не может. Тонкие губы Остермана двинулись улыбкой, но

так, что Анна Леопольдовна не могла заметить это, и он начал свой доклад.

– Из Парижа наш посол пишет... – заговорил он.

– Князь Кантемир? – переспросила Анна Леопольдовна, делая снова усилие нахмурить брови.

Снова по губам старика скользнула незаметная для нее улыбка, как бы говорившая, что это еще не велика штука знать, кто наш посол в Париже, и дело вовсе не в том, а затем он начал докладывать правительнице содержание письма Кантемира.

– Положение европейских дел было сложное, запутанное: Франция интриговала против нас в Швеции и в Турции, боясь нашего усиления и помощи с нашей стороны своим врагам; Пруссия начинала приобретать силу и значение; России нужно было считаться с Польшею и там поддерживать свое влияние. Нужно было не только знать, понимать и чувствовать все эти отношения, но жить ими, чтобы сразу охватить смысл парижского письма, служившего продолжением переписки, которую вели между собой люди, хорошо

знающие все дело, и по тем нескольким вопросам, которые сделала Анна Леопольдовна во время доклада, Остерман увидел, что ей дело известно даже менее, чем мог он предполагать.

Он сделал несколько разъяснений, но они, видимо, не интересовали правительницу. Она делала свои вопросы лишь для того, чтобы показать, как она думала, что отлично понимает все, и этим лишь выдавала себя.

Остерман заговорил об Австрии. Но, чем дальше говорил он, тем тоскливее и тоскливее становилось лицо Анны Леопольдовны и тем оживленнее, напротив, делался Остерман. Он не ошибся в своем расчете.

Сначала правительница еще старалась сдвигать брови и делать серьезное лицо, но потом это надоело ей, и она стала понемногу рассеянно поглядывать по сторонам, дольше и пристальнее смотреть на свои ногти и раза два уже подавила зевок, стараясь отвернуться, чтобы сделать его незаметным.

Остерман видел, что он теперь – полный хозяин положения, и тогда упомянул о главном, на что он рассчитывал, а именно загово-

рил о саксонском дворе.

Анна Леопольдовна так и встрепенулась вся.

Там, при этом саксонском дворе, жил человек, которого она узнала здесь, в России, пять лет тому назад и который пять лет тому назад, по требованию императрицы Анны, был почти изгнан из Петербурга.

Красавец граф Линар, которого саксонский король отправил своим посланником в Петербург к Анне Иоанновне, сильно приглянулся принцессе, и у них пошли записочки, встречи, разговоры. Но вдруг все это стало известным строгой государыне, рухнуло, прекратилось, граф Линар был оторван от России, а Анне Леопольдовне пришлось пережить крутое, неприятное время.

Пять лет прошло с тех пор, но это время, как сейчас, было живо в ее памяти. Она помнит выговоры и неприятности, которым подвергалась тогда, но не изгладился из ее памяти образ того, который был причиной этих неприятностей.

Сколько раз она в продолжение этих пяти долгих лет думала о графе Линаре, сколько

раз грезились он ей во сне и сколько казавшихся несбыточными мечтаний рождалось у нее. Она не верила, не могла верить, что никогда не увидит его. Это она не хотела допустить. Ей все казалось, что настанет день, когда «он» явится снова, когда будет возможность снова явиться ему. И вот теперь, когда она объявлена регентшей-правительницей огромной и могущественной империи, где никто не посмеет ни спрашивать отчета у нее, ни запретить ей творить свою волю, теперь эта возможность, кажется, настала. Мечты близки к осуществлению, но как?

Ни сам граф Линар не может приехать, ни король послать его в Петербург не в силах без того, чтобы об этом было заявлено в России, а заявить ей, правительнице, о своем желании видеть в Петербурге Линара сейчас, почти на другой день вступления во власть, немислимо. Что скажут и как посмотрят на это окружающие! В глаза, разумеется, ничего не скажут, не посмеют, но за спиной пойдут разные толки, а потому вызывать Линара теперь неловко.

Приходится ждать, а ждать не хочется. Со

вчерашнего дня она только и думает об этом.

Да разве не довольно ждала она? Целых пять лет. Нет, нужно во что бы то ни стало как-нибудь вызвать Линара в Петербург. Этот несносный старик Остерман надоедает ей с затруднениями Австрии и возвышением Пруссии, а между тем, если бы он захотел, то сумел бы сделать именно то, что хочется ей.

И вдруг он сам, этот «несносный» старик, затевает разговор о саксонском дворе и начинает говорить так дельно, интересно. Действительно, для пользы России необходимо возобновить, поддержать и укрепить сношения с Саксонией; этого требуют интересы и конъюнктуры политические и торговые. Богатая страна – Саксония; необходимы сношения, необходимы.

Анна Леопольдовна с интересом слушает старика, и ее глаза блестят и разгораются. Румянец пробивается на щеках. Слышит она и не верит своим ушам.

Старик, оказывается, вовсе не несносен. Да он, в сущности, премилый и очень добрый, и дельный, и очень умный. Разве можно лишиться такого верного, опытного и преданно-

го человека, который к тому же так отлично знает и понимает все эти скучные отношения Франции, Австрии и разных Турций и Пруссий, которые совсем-совсем неинтересны и ужасно похожи на урок географии или французской грамматики! Пусть этот умный, действительно умный Остерман и разбирается в них.

Оказывается, что все уже устроено: Остерман подумал еще раньше о пользе, какая простечет для России от возобновления «тесных сношений» с саксонским двором. Еще при Бироне была послана им в Саксонию депеша о присылке в Петербург посла, с намеком о назначении сюда «прежнего», то есть графа Линара. Оставалось только теперь подтвердить, даже и не подтвердить, а просто не отменять сделанного уже раньше и помимо Анны Леопольдовны распоряжения.

И она не отменила.

По окончании аудиенции у правительницы пронесли снова в кресле больного Остермана по дворцу и отвезли домой. Ждавшие его отставки, падения, ареста ошиблись. Хитрый старик умел пользоваться приязнью

опального регента и пережил без ущерба для себя его падение, выйдя и на этот раз победителем. Какою ценой, какою хитростью купил он эту победу – осталось тайной для окружающих.

Не догадались, в чем было дело, и тогда, когда приехал к русскому двору красавец-посланник саксонского короля граф Линар. Но, когда он приехал, то почуяли и поняли лишь одно – что появился новый «сильный человек», роль которого, вероятно, будет столько же видная, как и роль сверженного недавно герцога Бирона.

Глава первая. Сильный человек

I

Между тем в то самое время, когда в Петербурге произошли события, оставившие след в истории, в недалекой от Москвы провинции, почти одновременно со смертью императрицы Анны, умер в своем имении человек, ничем, кроме разве широкой, барской жизни, не замечательный – князь Кирилл Андреевич Косой.

В молодости он был послан Петром Великим в числе многих молодых людей для обу-

чения разным наукам за границу, и попал в Париж.

Там князь Кирилл Косой застрял и вместо обучения «разным наукам» быстро усвоил себе приемы и обычаи разгульных молодых французов, очень скоро заговорил по-французски сам и научился владеть шпагой; к швырянью же денег и к азартной игре он имел, по-видимому, природные способности и в этом отношении стал почти с первого же раза удивлять своих товарищей-иностранцев.

Отец, воображавший, что его сын делает себе карьеру, денег присылал из деревни вдоволь. Но по прошествии нескольких лет старик скончался. Известие о его кончине пришло в Париж к сыну оказией только через шесть месяцев. Князь Кирилл заблагорассудил на родину не возвращаться, тем более что отец уже был похоронен, а управляющий, из мелкопоместных, писал, что он все формальности обделаает, и если угодно будет молодому князю, то доходы будет ему высылать в Париж и «пещись о его благосостоянии».

Князю Кириллу это понравилось. Управляющего он не знал, но по тону письма решил,

что тот – хороший человек и действительно будет «пещись».

В первые годы управляющий высылал денег очень много. Князь Кирилл даже не ожидал, что может получать столько, и был очень доволен и собою, и управляющим, и своею жизнью в Париже.

Он продолжал играть в карты, ухаживать за актрисами, дрался несколько раз на дуэли, ранил своих противников и сам был ранен, танцевал на балах, любил маскарадную интригу, участвовал в праздниках и кутежах и кончил тем, что совершенно неожиданно женился на одной очень хорошенькой, но второстепенной актрисе маленького театра.

Причиной этого было то, что князя застало у актрисы в неурочный час лицо, на счет которого жила эта актриса, и потребовало у него на месте объяснений. Желая выйти из неловкого положения, князь тут же объявил актрису своей невестой. «Лицу» оставалось только извиниться и уехать. Князь Кирилл после этого сдержал свое слово и действительно женился.

Маленькая Жанна, как звали актрису, ока-

залась очень милым существом; она всем сердцем привязалась к своему мужу, чувствуя и благодарность к нему, и любовь, потому что князь обладал всеми качествами, или, может быть, вернее, — недостатками, которые нравятся женщинам в мужчинах.

Жанна оказалась верной и милой женой, кроткой, тихой и ласковой и своею кротостью и лаской сумела добиться того, что князь Кирилл прекратил бесцельное мотовство, бросил других женщин и чувствовал себя очень хорошо в семейном кругу.

Доходов, под разными предлогами, управляющий стал высылать к этому времени меньше, но это уменьшение не было слишком ощутительно, потому что и расходы князя после его женитьбы сильно сократились.

Два года его женатой жизни были самым светлым, самым лучшим его воспоминанием.

Через два года у княжеской четы родился сын. Дав жизнь своему ребенку, бедная Жанна скончалась. Князь Кирилл был в отчаянии, плакал на похоронах жены, служил по ней панихиды и делал пожертвования в ее память. Мальчика, которого назвали в честь ма-

тери Иваном, он сначала и видеть не хотел, но потом вдруг пристрастился к нему и перенес на него все то горячее чувство, которое проявлял сначала в выражении своего горя.

Мало-помалу в заботах о сыне князь Косой снова вернулся к жизни. Но едва только коснулась она его, как он опять, забыв все недавнее, ударился в прежнее. Откуда ни взялись приятели новые, явились старые, и пошло опять по-прежнему.

К управляющему полетели грозные письма о присылке денег, денег и денег во что бы то ни стало. Управляющий пытался делать свои «представления», но князь Кирилл ничего слушать не хотел. Для добывания денег управляющий требовал с него подписи разных бумаг, которые присылал к нему; князь Кирилл подписывал, на все соглашался, лишь бы были присланы деньги. И деньги присылались.

Так прошло до 1728 года. Маленькому князю Ивану было уже девять лет.

К этому времени письма управляющего стали по своему тону все самостоятельнее и самостоятельнее, нотка какой-то дерзости как

будто чувствовалась в них, и приходили они крайне неаккуратно. На три, на четыре своих письма князь получал одно. Денег тоже стало приходить так мало, словно их высылали уже не как должное, а как будто милость делали.

Наконец это взбесило Косого. Он решил ехать сам в деревню и принялся за исполнение своего решения с тою же горячностью, с какою все делал в своей жизни.

Сборы были недолгие. Князь Кирилл с сыном ехал, почти нигде не останавливаясь, и, как снег на голову, явился в Москву, где находился в то время императорский двор, и вызвал туда управляющего.

Управляющий не ожидал этого; он прискакал в Москву, привез все бумаги и письма князя Кирилла, по которым документально выходило, что Косой совсем разорен и большая часть его имения перешла в другие руки или должна перейти.

Дела были так запутаны, и нити их завязались в такой гордиев узел, что, казалось, разобраться в них не было никакой возможности. Ясно было одно, что князь Кирилл рисковал остаться нищим.

Однако Косой по-своему рассек этот гордив узел. Он объявил управляющему, что если только тот осмелится пустить в ход свои махинации, то он его сотрет в порошок и упечет со всеми документами туда, где документы потеряют всякую силу.

Уверенный тон князя, его осанка, знакомства, которые с первого же дня завязались у него в обществе Москвы и придворном, видевшем в нем блестяще воспитанного человека, вкусившего плодов французской цивилизации, – все это подействовало на управляющего. Он понял, что борьба слишком неравна, и не только стал сговорчивее, но даже просил помилования, просил «не погубить его». Дела оказались вдруг вовсе не так запутанными, и управляющий обещал все устроить, все разъяснить и даже жизнь положить за своего князя.

Только этого и нужно было Косому.

Русский двор и общество Москвы не понравились ему. Он после Парижа нашел их слишком грубыми, и среди этих людей ему просто было тяжело. Остаться в России ему не хотелось, его тянуло назад, в Париж. Одна-

ко князь решил предварительно съездить в деревню, устроить там окончательно свои дела, сменить управляющего и вернуться опять с сыном во Францию.

Попав к себе в деревню, он прежде всего начал устройство своих дел с того, что нашел барский дом усадьбы никуда не годным и принялся строить себе хотя маленькое, но сносное, временное, как думал он, помещение. Однако, начав строить, он втянулся в постройку, и «маленькое» помещение росло, управляющий сменен не был, и князь Косой застрял у себя в деревне, так же как застрял некогда в Париже.

Но надежды снова попасть туда он не оставлял и на границе своего имения водрузил столб с надписью: «Деревня Его Сиятельства Кириллы княж-сына Андреевича Косого – Дубовые Горки, от Москвы 263 версты, от Парижа 2630 верст». Кто мерил эти версты и по каким, собственно, дорогам исчислены они были, этого, вероятно, не знал и сам князь Кирилл Андреевич, но на этой цифре он стоял упорно, как ни уверяли его люди, хотя немного сведущие, что до Парижа должно

быть дальше.

Вследствие ловкости управляющего, а главное благодаря авторитету самого старого князя, относившегося крайне высокомерно не только ко всем окружающим, но и к власть имущим начальникам, хозяйство в Дубовых Горках ползло из года в год, и дела шли настолько успешно, что позволяли жить Кирилле Андреевичу, как ему хотелось. Претензии «частных лиц», основанные на документах, находившихся в руках управляющего, куда-то исчезли, не предъявлялись, и Косой считался в околотке вельможей, к которому ездили на поклон: он был первым лицом. Это льстило самолюбию князя и, может быть, было причиной того, что он чувствовал себя в Дубовых Горках вовсе не так уже скверно, чтобы особенно торопиться в Париж. Когда ему было скучно, он занимался воспитанием сына: летом учил его плавать и ездить верхом, а зимой давал ему уроки фехтования. Этим, собственно, и ограничивалось воспитание молодого князя Ивана, но зато он плавал, ездил и фехтовал превосходно.

Прожив в деревне около десяти лет, князь

Кирилл умер в 1740 году, сорока девяти лет от рождения, простудившись на охоте.

Князю Ивану шел двадцать первый год. Он уже давно помогал отцу по хозяйству, но эта помощь ограничивалась лишь внешним наблюдением за работами, никаких же счетов, ни расчетов молодой Косой никогда не касался.

И вот после смерти отца вдруг к нему явился со всеми своими документами управляющий, и по этим документам стало ясно, что покойный старый князь чуть ли не самовольно жил последнее время в Дубовых Горках и пользовался ими, когда они уже давно должны были составлять собственность других лиц. Обязательства были несомненные, и доказать их можно было неоспоримо.

Князь Иван выгнал вон управляющего, чуть не избил его, но на этот раз управляющий не устранился молодого и неопытного барчонка. Он удалился с чувством собственного достоинства и быстро повел дело.

Наехали подьячие, приказные, брали с князя Ивана взятки, но и пяти месяцев не прошло, как оказалось, что в Дубовых Горках

полными хозяевами очутились эти самые приказные и бывший управляющий.

Сунулся князь Иван и к судьям, и к властям; везде его сожалели, но сделать ничего не могли и во всем винили, конечно, его отца.

Не сразу мог прийти в себя князь Иван, но однажды он все-таки проснулся с сознанием, что так дальше оставаться ему нельзя и что ему нужно предпринять что-нибудь. Но что предпринять, что было делать?

Прежде всего нужно было уехать из Дубовых Горок.

Князю Ивану было решительно безразлично, куда ни ехать, и он решил – в Петербург. Там все-таки можно было надеяться найти службу и покровителя.

Князь Иван велел вольнонаемному камердинеру отца, французу Дрю, уложить гардероб и ценные вещи и отправился в Москву. Там он выручил от продажи оставшихся у него после отца табакерок, колец и дорогих тростей довольно порядочную сумму, которой могло хватить ему на первое время.

В Москве же он продал своих лошадей и на вершенных ямских вместе с французом-ка-

мердинером отправился в дорогу.

II

Было раннее утро, когда князь Иван после долгого путешествия подъезжал к Петербургу. Стояли первые дня августа. Утро казалось теплым. Подымались испарения от болот, окружавших еще сплошным кольцом сравнительно недавно созданный Петром Великим город. В воздухе чувствовалась непривычная князю Ивану близость морской воды.

Самого моря еще не было видно, но уже отсюда, для человека, столько лет пробывшего во внутренней полосе, заметно было, что оно близко.

Князь Иван с последней станции, где его уговаривали отдохнуть, на что он не согласился, не рассчитал хорошенько времени своего приезда и очутился под Петербургом слишком рано – в седьмом часу утра.

Города он совершенно не знал и не имел понятия о том, где ему остановиться. Приходилось искать постоянного двора или какой-нибудь частной квартиры; но искать в ранний час было и затруднительно, и неудобно.

«Верно, тут где-нибудь у заставы есть заезжий двор, — сообразил князь, — тут остановлюсь и пережду немного».

И он стал искать глазами по сторонам видной далеко вперед, топкой и грязной прямой дороги, нет ли среди видневшихся на конце ее зданий, где, очевидно, была застава, чего-нибудь похожего на заезжий двор.

Старая, петровского фасона колымага, в которой из деревни сделал всю дорогу князь Иван, с французом-камердинером на козлах, тяжело катилась и на ровных местах не встряхивала, так что француз, задремав под утро, усердно клевал носом. Ямщик, как стала видна застава, прибавил хода лошадям, и строения, которые теперь внимательно рассматривал князь Иван, становились все ближе и ближе.

Это была кучка Бог ведает в силу каких причин скопившихся невзрачных домиков, среди которых выделялось мазанковое одноэтажное строение под черепичною крышей; на далеко выставленной из-под этой крыши палке болталась вывеска с нарисованным на ней рыцарем и голландскою надписью. Оче-

видно, это было именно то, что нужно. Иностранная надпись показалась князю Ивану утешительной. Оно все-таки лучше, чище, значат, если хозяин тут – иностранец.

Однако в этом пришлось разочароваться.

– Это что ж здесь, – спросил князь Иван ямщика, – заезжий двор, что ли?

– Херберг, кабак господский... Митрич держит.

– Какой Митрич?

– Ярославец. Сначала, говорят, голландец держал, еще при царе покойном, а потом рас-торговался, в самый город перешел, Митричу передал. Он у него в мальчишках был.

– Ну, вези к Митричу! – решил князь Иван.

Колымага свернула с дороги, встряхнулась раза два, попав в ухаб, и остановилась у на-стланных деревянных широких мостков пред мазанковым строением.

– Приехали? – проснулся француз.

– Нет еще.

– О господин мой князь, – заявил Дрю по-французски, – я падаю от усталости! ♦ В это время из двери под болтавшейся вывеской с рыцарем вышел степенный, в белой рубахе,

старик, очевидно – сам хозяин, Митрич, как назвал его ямщик, и подошел к самой колымаге.

– Вот что, – заговорил князь Иван, – можно у тебя тут остановиться? Я чая напьюсь.

– Чай напиться можно.

– Ну, так вот мы вылезем. У тебя комната есть? Ты только самовар дай...

– Комната-то есть, только занята она. Господа из города еще вчера приехали.

– Какие господа?

– Известно, молодая кумпания... так, чтобы время провести. Так вот комнату заняли, – и Митрич, точно ему решительно было все равно, что это вовсе не устраивало князя Ивана, стал смотреть вверх до дороге, вдаль.

– Как же быть? – спросил князь Иван.

– Да чая напиться можно, если угодно, на вольном воздухе. Вот столик под окнами, сюда и самовар вынести можно.

– Так бы давно и сказал! – и князь Иван вылез из колымаги и, с удовольствием разминая ноги, пошел к столику под окнами здания.

Ямщик повернул во двор и увез снова задремавшего француза.

Князь Косой присел к столику. Почти в ту же минуту из двери вылетела босоногая девочка с красной камчатной скатертью в руках, накинула ее на стол, расправила и снова кинулась в дверь, застучав по доскам своими голыми пятками.

Окна дома были приподняты, и сквозь тонкие красные спущенные занавески князю Ивану было слышно то, что делалось внутри. Там «кумпания», о которой говорил Митрич, не спала.

– Ну, что же, – слышался чей-то молодой голос, слегка осипший, – хотели спать, улеглись и никто не спит. И мне спать не хочется...

– Да чего спать? Выдумали лечь в седьмом часу! Теперь бы кваску испить.

– Рассола огуречного.

– А Левушка, кажется, заснул. Левушка, Левушка!..

Но тот, кого окликали, не отвечал.

– Левушка! – стали звать опять.

– Ну, сто, сто вам? Я не сплю, – ответил наконец, очевидно, Левушка (он шепелявил).

– У тебя руки чистые?

– Луки? луки у меня чистые...

– Почеши мне пятки...

В комнате послышался смех.

– Я вам в молду дам, – решил Левушка, и новый взрыв смеха покрыл его голос.

Хозяин, переваливаясь, принес самовар и поставил его на стол. Босоногая девчонка с прежнею стремительностью явилась с чашкой и блюдечком.

– Это что же они, – спросил князь Иван, кивнув на окна дома, – всю ночь не спали? Чего же они приехали сюда?..

– За городом вольнее, значит, – пояснил Митрич. – А чай сейчас ваш француз принесет. Медку не прикажете ли?

Князь Иван приказал медку.

III

«Кумпания», которую застал князь Иван в комнате «господского кабака» Митрича, состояла из нескольких молодых людей, собравшихся отпраздновать поступление в полк одного из своих товарищей, Володьки Ополчинина; они устраивали ему проводы.

В городе такой «кумпании» нигде не позволили бы оставаться всю ночь, и потому они

выбрали «заведение» Митрича, как это часто делалось у них, забрали с собою вина и провизии, приехали к Митричу с вечера, пили, играли в карты, шумели на свободе, улеглись было спать в седьмом часу утра, но из спанья у них ничего не вышло, и они решили одеваться и приводить себя в порядок.

У кого-то в погребце нашлись мыло и бритва; поставили на столе, занятом еще остатками вчерашнего ужина, зеркало, и первым принялся за бритье Ополчинин, как наиболее предприимчивый из всех.

Шепелявый Левушка Торусский один было готов был заснуть по-настоящему, но его разбудили, поставили на ноги и заставили тоже одеваться.

Ополчинин выбрился, вымылся, надел камзол и был уже совсем готов, как вдруг один из компании, тоже одетый и сидевший у окна, на котором поднял занавеску, проговорил: «Ишь несчастный!» – и показал в окно.

Там, видимо, боясь ступить на мостки, стоял с непокрытой головой прохожий-нищий, по-видимому, бывший солдат, судя по облежавшим его отрепьям мундира и рваной

штиблете на правой ноге. Левая была у него на деревяшке.

– Ага, не пустили! – улыбнулся Ополчинин.

– Кого не пускали, куда? – забеспокоился Левушка, тоже подходя к окну.

– Да вот его, – показал Ополчинин, – нынче нищих не велено в Петербург пускать...

– С июня уже не пускают. Указ был, – подтвердил кто-то, – нынче строго...

Нищий действительно стоял с таким расстроенно-беспомощным видом, точно вовсе не знал, что же ему теперь делать! Он бессмысленно-тупо смотрел пред собою на дорогу, как бы не веря тому, неужели должен он будет опять назад мерять ее своею деревяшкой.

– В молду бы дать! – проговорил Левушка.

– Кому? ему? – улыбнулся Ополчинин.

– Я не пло него говолю. Я говолю, зачем его не пустили. Сто-с тепель он будет делать?

Шепелявое косноязычие Левушки показалось забавным. Все опять рассмеялись.

Нищий стоял не двигаясь, словно не живой человек. Только утренний ветерок слегка двигал прядями его седых, жидких волос.

– Вот сто – я ему поесть дам! – решил Левушка и, отрезав большой ломоть хлеба, взял кусок вареной говядины, положил на хлеб и хотел протянуть в окно.

– И совсем не так ты это делаешь, – остановил его Ополчнин, – разве так ему вкусно будет? – Он выдернул у Левушки хлеб с говядиной и, приговаривая: «Вот как надо, вот теперь вкусно будет», – зачерпнул ложечкой из стакана остатки тертого хрена со сметаной, размазал по говядине, потом самым серьезным образом захватил ложечкой же мыльной пены с бумажки, о которую вытирали бритву, и размазал по хрену эту пену, вместе с черневшими в ней сбритыми мелкими колкими волосками. – Вот как надо! – снова повторил он и, прежде чем успели остановить его, высунулся в окно и крикнул: – Эй, ты, дедушка, на вот тебе!..

Старик оглянулся, быстро-быстро заковылял к окну, принял, видимо, привычным движением подаяние, перекрестился и жадно откусил беззубым ртом большой кусок, очевидно будучи голоден. Он зажевал, попробовал проглотить и вдруг остановился, разинул рот;

его глаза раскрылись, лицо налилось, покраснело, и старческий, сверх его сил, кашель, затряс все его тело. Нищий выронил кусок из рук, заплевал; от этого кашель усилился, старик затрясся еще больше и закачал головою.

Против ожидания Ополчинина, вышло во все не смешно; напротив, всем сделалось неловко, но никто не сказал ни слова. Притихли все, и точно время остановилось. Молчание показалось долгим, томительным, бесконечным.

– Этот подлый народ всегда притворяется, – проговорил наконец, словно оправдываясь, Ополчинин и так, не то для того, чтобы сделать что-нибудь, не то – чтобы придать себе куражу, налил из недопитой бутылки полный стакан хереса и выпил его залпом.

– О-ох... чтоб вас... о... о... чтоб вас! – силился сквозь кашель выговорить старик.

– Да долго это ты будешь так? – вдруг, неожиданно для всех, вспылил Ополчинин и ударил кулаком по подоконнику. – Молчи!..

Бессонная пьяная ночь, после которой он успел уже отрезветь к утру, теперь, после выпитого залпом стакана хереса, снова дала се-

бя знать. Он опять опьянел сразу и от этого хереса, и от усилия крика, и удара кулака.

– Да дайте ему воды, – нашелся наконец кто-то, – дайте ему воды, пусть горло прополосщет!

– Я ему дам, подлецу, воды! – сквозь зубы проговорил Ополчинин и со сжатыми кулаками и налившимися кровью, пьяными глазами, кинулся вон из комнаты. За ним выскочили остановить его. Однако он вылетел, как сумасшедший, из двери. – Молчи, молчать! – неистово заорал он. – Убью!

Но здесь сильные, здоровые руки остановили и встряхнули Ополчинина; его держали в упор, и незнакомое, чужое, строгое лицо было близко к его лицу. Не понимая, откуда взялся этот чужой человек, державший его, безобразник попробовал рвануться, но его не пустили. Князь Иван, успевший вовремя вскочить и остановить его, держал его крепко.

Несколько секунд между ними происходила молчаливая, упорная борьба. Ополчинин, кряхтя и тяжело дыша, напрасно силился вырваться. Наконец, когда проблеск сознания

мелькнул в его лице, князь Иван выпустил его.

Ополчанин остановился, втянув голову в плечи и продолжая дышать тяжело, несколько раз оглянул своего оскорбителя, каким казался теперь ему князь Иван, и, с трудом переводя дыхание, заговорил:

– Милостивый государь мой, сударь, за такие поступки разводятся поединком! Вы имете дело не с подлым народом, чтобы хватать так людей...

Он отступил на шаг и потянул из ножен свою шпажон-ку. Князь Иван улыбнулся, как улыбается человек, которого хотят поучить в том, что ему слишком хорошо известно. И тут на мостках, возле мазанкового здания, под качавшейся вывеской заезжего двора, они начали драться.

Князь Иван сразу увидел, что его противник фехтует гораздо хуже, чем он сам, и, не переставая улыбаться, стал легко играть оружием, свободно парируя неумелые выпады.

– Что вы, что вы!.. бросьте, бросьте!.. – заговорили кругом. – Граф едет, граф!..

Это слово «граф» произносилось с таким

благоговейным смятением, что, видимо, вся молодежь забыла все, кроме него, и несколько рук уцепились за князя Ивана и Ополчинина и растащили их.

На дороге возле мостков стоял верховой и, громко разговаривая, показывал назад, где виднелась на быстром ходу приближавшаяся группа всадников и между ними запряженная шестеркой цугом карета.

– Нехорошо, граф едет! – повторил верховой, когда разняли дравшихся, и, оглянувшись, еще раз назад, поскакал дальше.

Тяжелая карета, окруженная несущимися вскачь рейтарами, быстро мелькнула мимо, простучав колесами, и, когда она проехала, князь Иван, оглянувшись, не нашел уже никого вокруг себя. И бешеный молодой человек, которого инстинктивно остановил он и затем убедился в его плохом уменье драться на шпагах, и его товарищи, испугавшиеся так окруженной рейтарами кареты, в которой проехал какой-то «граф» – скрылись, должно быть, в дом.

Только один, шепелявый, стоял, опустившись на одно колено у конца мостков, и, огля-

дываясь на князя Ивана, звал его.

– Сьюсайте, плидите, плидите сюда, посколей!.. – говорил он, махая рукой князю Ивану.

IV

Оказалось, что, когда Ополчинин выскок из двери, старик-нищий невольно попятился назад, шагнул и, забыв, что он на краю мостков, оступился своей деревяшкой и полетел вниз. Должно быть, при падении он ударился головой об острый камень, по крайней мере он лежал, стонал и не делал усилий подняться.

– Батюшки, да у него голова в крови! – вырвалось у князя Ивана, когда он подошел.

С помощью Левушки он поднял старика и положил на скамейку у стола, где пил чай. Левушка бегал, суетился, приносил воды и все что-то рассказывал шепелявя.

Затем они вместе сами устроили старика, обмыли его окровавленную голову, влили ему в рот вина.

Старик очнулся, перестал стонать и полуоткрыл глаза, но, полуоткрыв их, сейчас же снова поспешил опустить веки, словно уверившись, что так, с закрытыми глазами, ему

было совсем хорошо, и он был доволен, и боясь, что это пройдет, если он хоть как-нибудь переменит свое положение.

Князь Иван с Левушкой оставили его.

– Сто-с нам тепель делать? – спросил Левушка, когда они оставили его, – ведь вы знаете, они уже уехали.

Князь Иван тут только вспомнил, что действительно, пока они возились с нищим, он видел, как из ворот выехали две колымаги с молодыми людьми, товарищами Левушки, прогромыхали по деревянной настилке мостков и свернули в сторону города.

– Вот сто, – стал предлагать Левушка, – у вас есть экипаж?

– Есть, – ответил князь Иван.

– Ну, так вот мы положим этого сталика в ваш экипаж – его так здесь оставить нельзя – и отвезем его ко мне, а сами пойдем пешком до заставы, а там найдем извозчика и поедем: он – в вашем экипаже, а мы – на извозчике. Вы куда тепель?

Князь Иван ответил, что Петербурга совершенно не знает, знакомых таких, у которых можно было остановиться, у него нет, а что

он хотел сначала поместиться на постоялом дворе и затем приискать себе квартиру.

– Так поедemте ко мне, плямо ко мне, – запросил Левушка, – отлично! Где вам по постоянным дволам искать? Вы у меня остановитесь! Пожалуйста!..

Они уже успели познакомиться, то есть называть себя друг другу, и князю Ивану этот Левушка, хотя он ничего еще не знал о нем, кроме того, что его зовут Левушкой Торусским, казался довольно симпатичным своим бесконечным добродушием, проглядывавшим в каждом его движении, слове и в особенности в глазах, которые, когда он говорил, оживлялись, красили все его некрасивое, с веснушками и с маленьким вздернутым носиком, лицо. Пока князь Иван улыбнулся только предложению Левушки, но согласия окончательного не выразил.

Солдата они все-таки уложили в колымагу, повязав ему голову намоченным полотенцем, которое купили у Митрича.

Левушка так хлопотал, словно нищий был ему родной или близкий и словно нельзя было и сомневаться в том, что они должны бы-

ли везти его в колымаге к нему, к Левушке.

Колымага поехала шагом, а они пошли рядом, пешком.

Левушка говорил без умолку. Он сейчас же рассказал, что живет в Петербурге один, в большом доме своей тетки, старухи Торусской, сестры его отца, которая живет постоянно в деревне, потому что она – поклонница старых порядков и терпеть не может петербургских новшеств, заведенных сорок лет назад покойным императором. Дом в Петербурге, на Васильевском острове, достался ей по наследству от ее отца, Левушкина деда, который должен был выстроить этот дом против своей воли, по повелению Петра, приказывавшего зажиточным дворянам строить дома в Петербурге. Воспитывался Левушка у этой же тетки, потому что в раннем детстве остался «силотой».

– А у вас есть отец и мать? – спросил он у князя Ивана.

Тот ответил, что нет.

– Значит, вы тоже – силота! – сказал Левушка, и в первый раз князю Ивану пришлось сознательно применить значение это-

го слова к себе.

Он ведь действительно был теперь сирота, но как-то раньше ему никогда не случилось думать об этом.

Затем Левушка рассказал, что тетка прислала его в Петербург, чтобы он осмотрелся и сам выбрал, что лучше, что хуже. Понравится ему служба и город – пусть останется в Петербурге, нет – пусть вернется в деревню и приобьикнет к хозяйству. Он – не девочка. Была бы девочка – старуха знала бы, что с ней делать, но с мужчиной труднее, лучше сам пусть выбирает. Однако Левушка до сих пор еще ничего не выбрал, хотя три года живет в Петербурге. Хотел он поступить на службу, но нынче это очень трудно, потому что все немцы в ходу, им одним только служить и можно. Он уже давно хотел вернуться к тетке в деревню, чтобы «приобьикнуть к хозяйству», но все боится упустить что-нибудь здесь, в Петербурге. А вдруг тут выйдет для него что-нибудь «интелесное»! Но пока-то ничего еще не выходит. Вот Ополчинин поступает в полк. Может быть, и сам он, Левушка, поступит. Эти молодые люди все пристают к нему, чтобы он по-

ступил, и тогда они устроят ему такое же «прощанье», как и Ополчинину. Компании Ополчинина он, собственно, очень не любит. Но они приезжают к нему, уговаривают, и отказать нельзя, хотя их постоянные кутежи и попойки кончаются обыкновенно нехорошо, вот как сегодня, и хуже всего, что Левушке приходится расхлебывать и расплачиваться. О, сколько раз Левушка хотел просто «дать им всем в молду» и перестать водиться с ними, но все как-то выходит, что отделаться от них окончательно нельзя! Теперь, однако, Левушка решил серьезно прекратить всякие сношения с ними.

– Так у вас нет никого в Петелбулге? – переспросил он, опять неожиданно переводя речь с себя на князя Ивана. – О, так я вас познакомлю! – воскликнул он, когда князь Иван снова сказал ему, что никого, кроме разве Соголевых, не знает в Петербурге. – Отдохните немного с дологи, голод посмотрите, а потом я вас познакомлю. Ведь вы не любите пить и иглать, как Ополчинин?

Было что-то наивно-детское во всей болтовне Левушки, но именно эта-то детская на-

ивность и нравилась Косому.

«Славный, должно быть, все-таки в душе человек!» – решил он про Левушку и с особенным удовольствием ответил ему, что вовсе не любит ни пить, ни играть.

– Ну, вот и отлично! – подтвердил Леаупша. – Так будемте длузьями. А это о каких Соголевых вы говорите?.. Соголевы... Соголевы... я сто-то помню. Встречал. Погодите – мать и две дочки... Кажется, знаю.

Соголевы были единственные, о ком князь Иван мог сказать, что знает их в Петербурге. Это были соседи по имению князя Ивана. Имение у них было крохотное, с маленькими доходами. Несколько лет тому назад они приезжали туда летом, и отец князя Ивана, державший себя очень гордо с мужчинами, напротив, выказал крайнюю вежливость к Соголевой, поехал к ней первый и послал сына. Князь Иван был у них раза три. Потом они уехали назад, в Петербург.

Князь Иван никак не предполагал, что Соголевы жили в Петербурге так, что все-таки их знали, и теперь ему было приятно, что этот случайно встретившийся ему молодой

человек, очевидно принадлежащий к хорошему петербургскому обществу, знаком с нами.

Под болтовню и рассказы Левушки они почти незаметно прошли заставу и сделали еще добрый конец, пока нашли извозчика, уселись и поехали на Васильевский остров в дом, где жил Торусский.

V

— Как, вы не знаете, кто такой граф Линар, — удивлялся Левушка, когда, сидя вместе с ним за завтраком, умытый и переодевшийся с дороги князь Иван спросил его, какой граф сидел в этой карете, произведший такое впечатление, когда они были за заставой.

Оказалось, граф Линар теперь — всё. По словам Левушки, который горячился, рассказывая, граф Линар — то же самое, что был Бирон при покойной императрице. Линар был посланником саксонского двора, приезжал сюда лет пять тому назад. И тут вышла ужасная каша, такая каша, что просто ужас... одним словом, все тогда знали, что его удалили отсюда потому, что в него влюбилась принцесса, нынешняя правительница. И вот когда она стала

теперь правительницей, то Линар снова появился. И сначала это был секрет.

– То есть как плавительница, – пояснил Левушка, – относилась к глафу, и все мы пло это говорили сопотом, потом плинц, муж плавительницы, узнал... Я бы на его месте плосто ему в молду дал и кончено... плаво, в молду!.. Сто это такое!..

Но принц был другого характера, чем Левушка. Он отнесся к своему положению довольно своеобразно. Раз пожелал он погулять в Летнем саду. А там гуляют правительница и граф Линар. Принц хочет войти, а часовой не пускает его. Принц говорит: «Как смеешь меня не пускать?» – а часовой загородил вход ружьем и не пускает. Тогда принц очень обиделся и пошел жаловаться всем. Уж ему бы молчать, молчать и молчать, а он всем рассказывает.

– И сто-с вы думаете? – продолжал горячиться Левушка. – Вдлуг – челез несколько влемени, это недавно случилось – объявляют свадьбу Линала... как вы думаете, с кем? – с Юлианой Менгден, любимой флейлиной плавительницы. Тепель, когда эта свадьба объяв-

лена, все злые языки должны замолчать, потому что им уже нечего делать и говорить больше ничего нельзя. Глаф Линал женится на Юлиане Менгден. А, каково это?

– И неужели они согласились? – невольно спросил князь Иван.

– Кто? Глаф Линал и Юлиана Менгден, как видите, согласились. Ведь их блак политический. В высшей политике такие блаки допустимы.

Левушка, видимо, вполне верил, что этот брак и в самом деле «высшая политика» и что он допустим.

– Ну, вот тепель, – продолжал он, – глаф Линал сколо должен уехать по делам за гланицу. И, как только он велнется – будет его свадьба, и тогда он пелейдет в лусскую службу и станет опять тем, чем был Билон. Мы все готовы к этому. Но все ужасно хвалят Юлиану Менгден. Это – самопожелтование с ее столонны... Знаете сто? До обеда осталось еще довольно влемеи. Хотите, я вам покажу Петелбулг? Я велю заложить лошадей, и мы поедем...

Этого уже князь Иван никак не ожидал. Он

знал, что Левушка провел бессонную ночь, и удивлялся, что тот разговаривает с ним теперь, а не идет спать. Левушка между тем еще хотел везти его по Петербургу.

– А вы разве не устали? – спросил он. – Ведь вы всю ночь не спали. Вам бы отдохнуть теперь...

– Ах, нет, помилуйте! – рассмеялся Левушка, – Сто-с такое... Я засну после обеда, а тепель поедем. Вы мне очень-очень понлавились, и я так лад вам, так лад, как будто мы с вами давно-давно уже знакомы... Пожалуйста, поедем! Я велю закладывать...

Князь Иван не мог не сознаться, что и в своей душе тоже ощущал чувство приязни к Левушке. Сам он вовсе не устал после дороги, да и ему очень хотелось посмотреть Петербург.

– Так мы едем, – решил Левушка и пошел велеть закладывать.

Когда лошади были поданы, они уселись и поехали.

– Вот видите, это – Исаакиевский мост, – говорил Левушка с счастливым выражением лица, когда они переезжали мост с Васильев-

ского острова через Неву.

Этот мост деревянный, на плашкоутах, они видели уже сегодня утром, но Левушка все-таки считал долгом теперь, когда «показывал» князю Ивану Петербург, снова обратить на него внимание Косого.

С моста они въехали на большую немощеную, поросшую травой с протоптанными по ней тропинками, площадь. Налево виднелись валы и верфи адмиралтейства с подъемными мостами и высоким частоколом. Направо возвышался каменный дом.

– Этот дом – бывший Меншикова, – пояснил Левушка, – тепель в нем живет Миних...

– Да, несправедливо с ним поступили! – невольно вырвалось у князя Ивана.

И до него уже, в деревню, дошли рассказы о том, что сделали с Минихом, предводителем наших войск против турок и, главное, непосредственным участником ареста Бирона. Он, этот Миних, только в прошлом году, в ноябре, возвел во власть Анну Леопольдовну, а в марте нынешнего года она объявила об его отставке с барабанным боем на улицах Петербурга.

– Так ведь это было недолазумение, – ответил Левушка про барабанный бой. – Это все плинц Антон напутал. Потом к Миниху извиняться посылали. Сенатолы ездили... Но, конечно, сталик обижен... А это вот новый Исаак-киевский собол стлоится, – показал он прямо на начатую постройку, – а вот там стальной, делевянный, – снова показал он на маленькую деревянную церковку по тому направлению, куда они ехали.

Они обогнули церковку и свернули направо по длинной, терявшейся в отдалении, аллее, вымощенной бревнами и обсаженной по обеим сторонам деревьями.

– Невская плоспектива, – сказал Левушка.

По Невской перспективе ехать было трудно – во-первых, оттого, что расшатанные мостами бревна подымались и шлепали, как клавиши, а во-вторых, от тесноты скучивавшихся возов и телег с дровами и сеном. По сторонам изредка попадались каменные палаты рядом с невзрачными деревянными домиками, и тянулись длинные-длинные заборы.

По мере того как продвигались по Невской

перспективе, теснота и давка становилась все больше и больше, и наконец вся путаница воязов, телег и экипажей слилась с гудящею толпою, среди которой сновали торгаши с лотками, а направо, у сколоченных кое-как из досок шалашей и ларей под парусинными навесами волновалось море народа. Вся эта толпа напомнила князю Ивану ярмарочный день в деревне, только, конечно, в больших размерах.

Князь Иван помнил Париж по впечатлениям детства и невольно, с улыбкою, сравнивал этот старинный, с узкими улицами, город с широко раскинувшим свои пределы, но пустынным Петербургом, где было гораздо больше домов строившихся, чем уже оконченных.

– Это после пожалов все стлоятся, – рассказывал Левушка. – Когда я приехал в Петербург, то почти весь голод был в головешках.

Он говорил о большом пожаре 1737 года.

Но и дома, уцелевшие от этого пожара, тоже были, разумеется, недавней постройки.

Как Москва поразила князя Ивана, когда он в первый раз приехал в нее, обилием своих церквей, так главною, типичною особен-

ностью Петербурга показалось ему обилие воды, судов, барок и заведений кораблестроения. Кроме огромного Адмиралтейства на площади у Исаакиевского моста, они проехали по берегу Фонтанной еще мимо верфи; словом, куда ни оглянись, всюду торчали мачты, паруса, и даже леса строящихся домов стояли точно сухопутные какие-то корабли.

На улицах попеременно с русской слышалась иностранная речь – голландская, шведская, немецкая. Чем-то чужим, не русским веяло от Петербурга.

Летний сад, мимо которого проехали они, тоже не произвел на князя Ивана никакого впечатления, хотя Левушка и рассказал ему, что там великолепные фонтаны, статуи и гроты, а по ту сторону сада, на берегу Невы, стоит бывший дворец Анны Иоанновны с цельными зеркальными окнами, дворец, в котором она умерла, и куда теперь на лето переехала правительница с младенцем-императором.

Проехали они и слитый с Летним садом Царицын луг, засаженный деревьями с разбитыми между ними цветниками.

За Царицыным лугом, на противоположном от Летнего сада конце, были устроены канал и широкий бассейн. Это место, по словам Левушки, называлось «Па-де-Кале»...

Тут, у этого места, где начиналась Греческая улица, Левушка показал князю Ивану на один дом, сказав:

– А тут живет плинцесса Елисавета Петловна... Вот если бы она плавила, так настоящее бы лусское плавление было.

Князь Иван невольно дольше остановился глазами на доме, где жила дочь императора Петра Великого, и сердце его сжалось. Дом казался безмолвным, тихим, а между тем той, которая жила здесь, именно и нужно было быть на виду, держать в своих руках державу и скипетр своего отца. Каждое русское сердце чувствовало это.

– А неужели она так и примирится со своим положением? – спросил он.

– Тсс... – перебил Левушка, – это – секрет. Это я вам потом ласкашу... А как у вас в провинции относительно этого?

Князь Иван не дал прямого ответа. Ему не хотелось говорить об этом.

Дальше Левушка показал дом Густава Бирона, брата герцога, почтовый двор, мимо которого они выехали на набережную, укрепленную деревянным парапетом, и маленькое двухэтажное каменное здание под наклонною голландского образца крышею – Зимний дворец, и снова князь Иван не мог не улыбнуться, сравнив это здание с дворцами, которые, он помнил, были в Париже.

От Зимнего дворца, обогнув адмиралтейство, они снова по Исаакиевскому мосту вернулись на Васильевский остров.

Не то что тоскливое, но грустное впечатление осталось в душе князя Ивана после первого его осмотра нового для него Петербурга.

Глава вторая. Семейство Соголевых

I

Несмотря на раннюю пору сезона и на еще не кончившийся траур по покойной императрице, в Петербурге начались не только маленькие собрания, но были уже балы и машкеры, в которых принимала участие даже сама правительница, только что оправившаяся после рождения своей дочери Екатерины.

Вера Андреевна Соголева со своими двумя дочерьми не имела приезда ко двору, но все-таки бывала в хорошем, имеющем связи с придворным, обществе и потому получала отовсюду приглашения.

Общество было вообще не многочисленно. Петербург в этом отношении тогда вовсе не был похож на город, а представлял собою как бы отдельные барские усадьбы, находившиеся не в далеком друг от друга расстоянии, как в деревне, а в близком соседстве. И бары жили друг с другом именно как соседи, зная один про другого все сплетни и всю подноготную.

Вере Андреевне отлично было известно, что приглашавшие ее с дочерьми на вечер Творожниковы тянулись из последнего, чтобы делать приемы не хуже, чем у других, точно так же, как Творожниковы прекрасно знали, что Вера Андреевна тоже понесет расходы сверх средств, чтобы привезти дочерей к ним, и тем не менее они делали вечер, а Вера Андреевна везла дочерей.

И первый вечер у себя они сделали нарочно раньше, в августе, во-первых, потому, что это оказывалось модно, во-вторых, для того,

чтобы быть из первых, и в-третьих, наконец, потому, что в это время года все-таки угощение и все остальное было дешевле.

Вера Андреевна, отчаянно разводя руками, ходила вокруг стоявшей пред зеркалом младшей своей дочери Дашеньки, уже почти совсем одетой и причесанной.

– Нет, положительно, так невозможно, так невозможно, – говорила она, выходя из себя. – Эти портнихи совсем шить не умеют, совсем не умеют... Смотрите, Акулина Авдеевна, – повернулась она к немолодой уже женщине, очевидно, подразумеваемой под словами «эти портнихи», и дернула сзади на дочери лиф, – разве это возможно – морщит и потом горбит...

Жена придворного истопника Акулина Авдеевна, бывшая до замужества мастерицей у портнихи-француженки и теперь занимавшаяся самостоятельной практикой, стояла, кусая губы, видимо сдерживая свою злобу, и недоверчивыми сердитыми глазами смотрела на спинку лифа. Она в душе готова была согласиться, что платье, когда его шьет француженка, сидит гораздо лучше, но так как сама

она лучше шить не умела, то ей и такая работа казалась хороша.

– Лиф как лиф, – проговорила она.

– Какой же это лиф? – снова подхватила Вера Андреевна, – это – дерюга какая-то, лапоть, а не лиф; в таком лифе она ни на что не похожа как сложена, а между тем в пору бы всякой быть сложенной так... Снимай! – вдруг резким движением обернулась она к Дашеньке и снова рванула на ней лиф.

Дашенька, слегка сутуловатая от неумения держать спину и голову, повела своими плечиками и, подняв взор на мать, стала снимать злополучный лиф.

У нее была привычка поднимать так глаза и подолгу останавливать неподвижно-наивный взгляд, отвести который как будто было ей лень.

Для Веры Андреевны лучше ее никого не было на свете, и она воображала, что ее Дашенька, несмотря на свой слишком большой нос, короткие ноги, низкий лоб и на этот неподвижно-наивный взгляд, – прелесть, как хороша собою. И каждый раз, когда Дашенька одевалась для какого-нибудь выезда, Вера Ан-

дреевна видела, что в ней что-то не то, но, разумеется, приписывала это не самой ей, а недостаткам платья или прически. Акулина Авдеевна, на беду свою, была далеко не первоклассная портниха, в работе у нее всегда можно было найти какой-нибудь недостаток и придраться, и Вера Андреевна придиралась.

– Ну, вот изволь переделывать, мать моя, – снова заговорила она, когда лиф был снят, – делай, что хочешь, но так оставить нельзя!

– Да что же там переделывать-то? – попробовала протестовать Акулина.

– Что хочешь! Я почему знаю?.. я – не портниха, я не обязана знать, это – твое дело; ты сама видела, что скверно, ну и переделывай, и переделывай!..

У Акулины Авдеевны глаза вдруг наполнились слезами, но лиф она все-таки взяла.

– Ведь не французинка я, – окончательно обиделась она и, присев у окна, принялась что-то распарывать и зашивать, громко щелкнув зубами, откусывая нитку.

– Подержи! – крикнула Вера Андреевна одной из девушек, и та, кинувшись к Акулине Авдеевне, схватила конец лифа.

Портниха показала ей, как нужно было держать. Вера Андреевна строгим взглядом окинула комнату и пошла к своей другой, старшей, дочери Соне.

Та одевалась у себя. Это всегда так бывало. Когда собирались куда-нибудь, то для Дашеньки зажигались свечи у большого зеркала в спальне Веры Андреевны и туда сгонялся весь женский персонал штата Соголевых – четыре крепостные девки, и там же, когда приносили «новые», то есть перекроенные, выгданные и переделанные платья, присутствовала Акулина Авдеевна, а Соня одевалась у себя в комнате, чуть ли не при сальных огарках, у своего маленького зеркальца одна, при помощи старухи-няни.

Она была почти уже совсем готова, когда к ней вошла Вера Андреевна и испытующе осмотрела ее с ног до головы.

Соня знала, зачем пришла к ней мать и зачем так осмотрела ее, и, выпрямившись во весь свой маленький рост, она прямо, весело взглянула на Веру Андреевну, как бы говоря: «Вот она – я!»

Она была гораздо лучше Дашеньки. И пла-

тъе, сшитое тою же самой Акулиной Авдеев-ной, сидело на ее, несмотря на маленький рост, беспорочно сложенном стане прекрасно, и держалась она прямо, с осанкой, которая нравилась всем окружающим и за которую часто пилила ее Вера Андреевна, находя, что у нее «дерзкий вид», да и пудренная высокая прическа, портившая, по мнению Веры Андреевны, лицо Дашеньки, удивительно шла Соне. Словом, Вера Андреевна, увидев ее во «всем параде», не могла не приостановиться, чтобы полюбоваться ею, как любятся картинкой или красивой вещью. Но сейчас же, в тот же миг, почти одновременно к ней вернулось сознание, что это – ее дочь, но не Дашенька, а Соня. Она ни за какие блага в мире не созналась бы даже самой себе, что Дашенька хуже Сони, но то чувство раздражения, которое она испытывала постоянно к этой Соне, было не неприязнь, не нелюбовь, а именно безотчетное сознание, дразнящее и оскорбительное для материнского сердца, что старшая несравненно лучше младшей. И за то, что Дашенька как бы была обделена многим, Вера Андреевна инстинктивно, по материн-

скому чутью, а не с предвзятым намерением, старалась вознаградить ее своими ласками и заботами в ущерб, может быть, Соне. Дашенька считалась ее любимицей, и все верили в это, уверили Соню и старались уверить самое Веру Андреевну. Она сердилась, сердце свое срывала на Соне, и от этого выходило только хуже.

– Ты готова уже? – спросила она Соню тоном, в котором так и слышалась невольная враждебность.

– Сейчас, маменька, – ответила девушка самым милым, кротким, тихим и покорным голосом, – только перчатки надену.

Она была очень мила, говоря это, и знала в душе, что она мила, и что именно это-то перевернет еще больше Веру Андреевну, и потому так же бессознательно, как девушка не может не кокетничать, не могла не ответить на враждебность матери самым тихим и милым образом.

– Поскорей! – сердито проворчала Вера Андреевна, повернулась и ушла.

Соня улыбнулась ей вслед. Мать приходила на рекогносцировку, посмотрела, авось у

нее не ладится так же, как там «у них» не ладилось. Но у Сони все было хорошо. И теперь она знала по виду и по тону матери, что действительно у ней было все хорошо.

– Да держись ты прямее!.. – сказала, вернувшись в спальню, Вера Андреевна Дашеньке, которая, выставив из-под подола свою большую ногу, без лифа, в одном упругом корсете, сидела, выгнувшись особенно заметно из этого корсета.

Дашенька подняла глаза и сделала, точь-в-точь как мать, движение головою, когда та сердилась.

– Ну, готово, теперь будет хорошо! – сказала в это время успокоившаяся уже за работой Акулина Авдеевна.

Дашенька вскочила, выпрямилась и завертелась пред зеркалом, снова надевая лиф.

– А Соня готова? – спросила она.

– погоди, видишь, нужно заколоть, – держа в зубах булавку и не раскрывая рта, остановила ее Вера Андреевна.

Лиф закололи, застегнули, подкололи, опять чуть было не нашли его совсем негодным; Акулина Авдеевна гладила его руками

по талии, взбивала рукава, уверяла, что «очень хорошо»; Дашенька берегла свою прическу, чтоб не смяли ее, крепостные девки ползали кругом со свечами, ножницами, нитками и булавками. Наконец кое-как все наладилось, Вера Андреевна должна была остаться довольна, потому что и без того было поздно и давно было пора ехать.

– Да что ж Соня не идет? Вечно ждать себя заставляет, – проговорила Вера Андреевна, еще раз поправляя складки на дешевенькой юбке. – Подите сказать барышне, что я жду их... Нельзя так, моя милая! – обернулась она к входившей в эту минуту Соне, – мы и без того опоздали... Даша, погоди, ты вечно все забудешь... Мушку налепить нужно... где мушки?

Горничная, зная, что они потребуются, держала уже в руках открытую коробочку с мушками и поспешно подставила ее под пальцы Веры Андреевны.

– Да, право, не надо, – сказала Дашенька, – для замужней это необходимо, а для девушки и не налепляют...

– Ну, не разговаривай! – и Вера Андреевна

осторожно наклепила ей на левую щеку маленький черненький кружочек.

Вышло вовсе не хорошо.

– Я говорила, не надо, – повторила Дашенька и, наклонившись к зеркалу, сняла мушку, а затем провела несколько раз пальцами по щеке.

– Так и ты сними, – приказала Вера Андреевна Соне и, не дожидаясь, пока та сделает это, сама поднесла руку к ее щеке, где маленькая черненькая точка особенно оттеняла несколько грустную, задумчивую, нежную, милую улыбку Сони.

– Да, что вы, маменька? – рассмеялась она. – Ведь это у меня – родинка... Я мушек не наклеивала.

Вера Андреевна спохватилась. Соня была права.

– Ну, с тобой не сговоришься, – сердито проворчала она, – едемте!



Вечер у Творожниковых был в полном разгаре. Соголевы, хотя и приехали поздно, но все-таки не настолько, чтобы это было заметно.

Дашенька сейчас же пустилась танцевать, не разбирая кавалеров: она танцевала со всяким, подходившим к ней, а так как Соголевых самые лучшие кавалеры, занятые наряднее их одетыми дочерьми более богатых семей, не то чтобы обходили, а просто не имели времени с ними танцевать, то и Дашенькины кавалеры были похуже остальных.

Соня, умевшая лучше сестры разбирать людей, отказывала большинству приглашавших ее.

Вообще такие вечера, как у Творожниковых, в маленьком зале, освещенном парными кенкетами на желтых стенах и тощею люстрой, среди жарко стеснившейся толпы, вечера, где, за недостатком полного штата лакеев, переодетые в лакеи дворовые разносили гостям домашнего приготовления мед, морс, пастилы и прочие сласти, не производили на Соню того радостного, приподнято-праздничного настроения, при котором единственно бывает весело. И она скучала, сидела, не танцуя, в сторонке и старалась не обращать ни на кого внимания. Ей нравились только настоящие, большие балы, которые она видела

прежде и на которых лишь изредка бывала теперь.

В дверях зала из столовой стояло несколько молодых людей, с Ополчининым в середине. Они чаще проводили время в кутежах, чем в обществе, и потому в обществе слегка робели, и именно потому, что робели, говорили несколько более развязно, чем следовало, и смеялись, чтобы показать свою самостоятельность.

Они смеялись, заставляли Левушку Торусского произносить слова, которые выходили у него благодаря его косноязычию с другим значением:

– Скажи, Левушка, «игра»! – говорили ему.

– Игла, игла, – повторял Левушка...

– Что ты шить «иглой» собираешься? – спрашивали его, ко всеобщему удовольствию.

– Левушка, скажи «город».

– «Голод».

– Не «голод», а «город»...

– Ну, я же говолю «голод»...

И опять смеялись.

Двое стариков из столовой подошли к дверям, разговаривая о чьем-то неминуемом па-

дении, которого следовало ожидать, – должно быть, Остермана.

Молодежь расступилась.

– Я вам уверительно докладываю, что ему не миновать своей очереди, – сказал один старик другому.

– Ну, однако же, этот не таков – хитрая лилица! Нет, этот не дастся!

– Так всегда говорят, а потом на поверку выходит обратное. Уж у меня примета – кто у нас высоко залетит, тот и валится: Меншиков, Долгоруковы, Волынский, сам Бирон наконец; теперь Миних... А потом обгорелки-пеньки остаются.

– Как обгорелки-пеньки?

– Да так – вон хотя бы, сидит бедненькая, видите, вон у второго окна...

– Ну?

– Ну, это – дочурка одного пострадавшего вместе с Девиером еще, помните историю?.. Отец ее так и умер вскоре после того, как его сослали; именье – и было-то небольшое – отобрали в казну... Я ее у бабки помню, Соголевой старухи; она у бабки воспитывалась, она – сына Марьи Ивановны Соголевой дочь.

Старик вздохнул.

– Соголева помню. Как же... хороший человек был!..

– Ну, так вот девушку-то воспитали в шелку да в бархате, а теперь и стоп, и ничего...

– Как же она теперь?

– У матери живет. У матери ее есть какое-то именьеце... так совсем уж почти ничего. Их две дочери...

– А мила, очень мила!.. Надо подойти к ней, все-таки я ее отца помню, помню и очень даже...

Старики прошли по тому направлению, где сидела Соня.

– Ах, Соголева, – вспомнил Левушка, когда отошли старики, – мне надо тоже подойти к ней!

– Левушка ухаживать собирается! – заметил кто-то, но Торусский, не обратив внимания, выждал, пока подошедшие к Соне старики, навстречу которым она встала, отошли от нее, и довольно уверенной походкой направился к девушке.

По тому удивленно-вопросительному взгляду, который она остановила на Торус-

ском, видно было, что она имеет о нем очень неясное представление. Но он не смутился. Подойдя к Соне, он учтиво отставил левую ногу назад, прижал к груди шляпу и поклонился, как это мог только сделать вполне благовоспитанный человек. Кланяясь, он задел кого-то из проходивших сзади шпагой, но это нисколько не помешало строгой выдержанности его поклона.

Соня присела.

– Я не осмелился бы подойти, – начал Левушка, продолжая прижимать шляпу, – если бы не имел к тому особого интелеса...

Соня вдруг улыбнулась, как улыбаются обыкновенно, глядя на портрет мельком знакомого человека, когда вдруг узнают его. Слово «интелес», произнесенное Левушкой на свойственный ему манер, вдруг напомнило Соне, кто он такой, и она узнала в этом вежливо раскланивавшемся пред нею молодом человеке с веснушками и вздернутым носиком Торусского, которого встречала у одной из своих приятельниц, Наденьки Рябчич.

– Я вас у Рябчич встречала, – сказала она.

– Совелшенно велно, – подтвердил Левуш-

ка, – но я не осмелился бы подойти, если бы не имел к тому особого интереса.

Он заладил об интересе, потому что ему хотелось поскорей сказать, в чем заключался этот интерес.

– Особый интерес? – переспросила Соня, видя, что этого ему хотелось.

– Да, у меня есть вам пеледать поклон, – и он опять, прижав шляпу, поклонился, опять задев проходивших шпагою.

– Осторожнее, молодой человек! – сказали ему сзади.

Левушка обернулся, стал извиняться, топчась на месте и стараясь, как бы не наступить еще кому на подол, и, когда обратился наконец снова к Соне, возле него стоял Ополчинин.

– Представь меня, пожалуйста, – сказал он Левушке, поклоном показывая на Соню.

Левушка видимо нехотя исполнил его просьбу.

Музыка, состоящая из клавикорд, скрипки и виолончели, заиграла в это время менуэт, и Ополчинин ловко расшаркался пред Соней, приглашая ее идти.

Ополчинин был видный и бравый молодец, с ним не было стыдно пройти в паре. Соня выпрямилась, незаметным, свойственным только девушкам, движением, которое является у них вместе с сознанием, что сейчас ими будут любоваться, как-то встряхнулась вся и, милая и грациозная, протянула свою маленькую затянутую в перчатку руку своему кавалеру.

Ополчинин танцевал скорее плохо, чем хорошо, но чтобы танцевать с Соней, нужно было только не сбиваться с такта и не сбивать ее. Она все делала и все умела. Они прошли ладно, в такт плавной музыке, которая словно сосредоточилась вся в движениях и плавности этой легкой, маленькой, чувствовавшей каждое свое движение и вместе с тем не замечавшей этих движений девушки. Соня шла так легко, так естественно просто, точно ей, как лебедке на воде, ничего это не стоило – ни малейшего труда, ни малейшего усилия. Она шла, не колеблясь, прямая и стройненькая, как будто не шурша даже платьем, не стуча каблуками, словно не замечая, что делают там внизу ее маленькие, чуть касав-

шиеся паркета ножки.

Ополчинин не узнал себя. Он не мог дать себе отчет, что сделалось с ним, но чувствовал, что и не нужно давать себе отчет, а нужно, затаив дыхание, подчиниться всем существом своим этой его партнерше, и только ей одной, и делать то, что делала она. Он ощущал и в себе необыкновенную легкость, и его ноги послушно и незаметно выделявали старательные па. Никогда еще не удавалось ему танцевать так. Ему бывало прежде как-то смешно глядеть на себя во время танцев, точно он, взрослый человек, делал что-то постыдное, но теперь это было совсем другое, теперь он не только чувствовал каждое движение своей дамы, но и предугадывал их, и с удовольствием делал то, что подсказывала ему музыка. Когда звуки становились более медленными, он послушно поддавался им и, гордясь собою и своею дамой, шел медленно и плавно; звуки ускорялись, и его сердце начинало биться сильнее.

Хорошенько он даже не успел разглядеть лицо Сони, когда подошел к ней. Он видел только, что Левушка разговаривает с ка-

кой-то хорошенькой барышней с черными глазками, и подошел так, сам не зная зачем, и, сам не зная зачем, просто, верно потому, что в этот миг заиграла музыка, пошел с нею танцевать. Но, как только пошел, он весь отдался своей даме, точно попав в царство, где она властвовала и была полной царицей. Очнулся он лишь тогда, когда нужно было подвести ее к месту, и танец кончился.

«Да, я знаю, что со мной так ловко, приятно и весело танцевать, как ни с кем», – как бы сказала улыбка Сони с черненькой точкой на щеке, когда он в последний раз поклонился ей.

Ее улыбка сказала или он сам подумал это про нее, когда она улыбнулась, Ополчинин не знал хорошенько, но, когда оставил свою даму и снова подошел к дверям, ему показалось, что он действительно вернулся из другого заколдованного мира, маленькую частицу которого показали ему.

– Хорошо танцует! – сказал кто-то, когда он подошел к двери.

– Еще бы! – ответил Ополчинин и небрежно облокотился о притолоку.

Левушка все время в продолжение менюэта стоял на месте, откуда ушла Соня, ожидая ее и не спуская с нее взора.

– От кого же у вас есть ко мне поклон? – весело спросила она, вернувшись, и как бы забыв сейчас и то, что танцевала, и того, кто танцевал с нею.

– Ах, да, поклон! – вспомнил Левушка. – У меня есть к вам поклон от молодого князя Косога.

Глаза Сони вдруг широко раскрылись и блеснули, точно искра мелькнула в них; но ни этих раскрывшихся глаз, ни их блеска Левушка, весь поглощенный новою для него прелестью Сони, которою он не переставал любоваться с тех пор, как подошел к ней, не заметил.

– Как же он поручил вам этот поклон? Где же вы виделись? – снова спросила девушка, но вполне спокойно и так равнодушно, точно и не было в ее глазах этой блеснувшей при имени князя Ивана искры.

– Он на этой неделе приехал, – стал объяснять Левушка, – и остановился у меня. Он отличный мальчик...

Но Торусский не мог договорить, потому что в это время на них налетела высокая, прямая, с очень тоненькой талией и длинными, худыми ногами Наденька Рябчич. Все ее движения были не то что порывисты, но, казалось, никак нельзя было ожидать, какое из них последует сейчас за предыдущим; как стрела, плохо сложенная из бумаги, делает совершенно неожиданные повороты-зигзаги на лету, так и Наденька Рябчич ходила, и бегала, и говорила, и делала все. Нос у нее был большой, тонкий, слегка книзу, и глаза большие, черные, тоже слегка книзу, будто косили они оба к носу, и вся она была похожа на большую, узкую, сложенную из бумаги, стрелу.

– Вы с Ополчининым танцевали, а? С Ополчининым? – порывисто спросила она у Сони, и, быстро повернувшись, юркнула назад.

Вслед за Рябчич подошел к Соне старик, который говорил, что знал ее отца. Потом заиграла музыка для нового танца, и к Соне вдруг подошло несколько самых завидных кавалеров из всего зала, так что ей пришлось только выбирать. Они видели менуэт, протанцованный ею с Ополчининым, и теперь

наперебой старались пригласить ее.

Соня снова пошла танцевать, а Левушка снова остался один у окна.

Как только кончился танец, Вера Андреевна, заметившая, что Соня танцует в первых парах, а ее Дашенька толчется где-то на задах, подошла к дочерям и, спросив младшую, хочет ли она остаться еще, увезла их домой, потому что Дашенька не выразила желания остаться дольше.

III

Вернувшись домой от Творожниковых, Соня, простившись с сестрой и матерью, прошла к себе в комнату и позвала старуху-няню, которая ходила за ней.

Няня пришла заспанная, но, несмотря и на заспанность свою, сразу увидела, что Соня не такая, как всегда. Такое сосредоточенно-неподвижное, со стиснутыми губами, лицо у нее бывало только после крупных объяснений с матерью.

«Опять не поладили», – решила няня и, зная, что в такие минуты лучше всего не трогать Соню и не приставать к ней, поспешила уйти, собрав вещи.

Соня уже лежала в постели, когда няня ушла. Она поскорее легла при ней, чтобы остаться одной, и закрыла глаза, сказав, что устала.

Но, как только няня ушла. Соня подняла веки и блестящими, живыми глазами уставилась в полумрак чуть освещенной маленькой лампадкой у образа комнаты.

Встреча и знакомство с князем Иваном Косым, приехавшим из Дубовых Горок к ним в имение, не прошли для Сони незаметно, бесследно, как случайность, на которую не обратила она никакого внимания. Она лишь сравнительно очень недавно «забыла» об этой встрече и об этом знакомстве. Но раз ей приходилось «забывать», значит, было что-то такое, что она помнила, что оставило в ней след.

Князь Иван был красив собою, прекрасно говорил по-французски, прекрасно держался и во всем нем были видны порода и не только привитая путем воспитания, но прирожденная порядочность. И вот эта порядочность, хороший французский язык, красивое лицо и красивая осанка князя Ивана оставили след в

воспоминании Сони. Она сама, воспитанная бабушкой, большой барыней, сразу увидела, среди деревенского захолустья, в молодом Косом «своего человека», принадлежащего к кругу, который нравился ей и который она любила.

Но не только это; в князе Косом было еще что-то притягивающее, особенное, задушевное, точно при первом же взгляде на него Соня поняла, что встретились они неспроста.

Виделись они нечасто – всего раза три-четыре, и ничего собственно в эти три-четыре раза не произошло между ними. Было что-то похожее на «начало» раз в аллее, когда они случайно остались одни, но это было так неясно, промелькнуло так скоро, что всё равно, что ничего не было.

Соня шла впереди, князь сзади нее. Она шла и чувствовала на себе его взгляд и боялась обернуться, чтобы не поймать этого взгляда врасплох. Она знала его – так смотрели, случалось, на нее и на балах в Петербурге; но странно: никогда ей не доставляло это такого удовольствия, как теперь. Теперь она, словно русалка, нежащаяся у берега на лун-

ном свете, невольно чувствовала, что, помимо какого-нибудь усилия с ее стороны, как-то само собою, ее движения особенно мягки, гибки и походка особенно легка и красива. Это был один только миг. Князь Иван сейчас же догнал ее, спросил что-то, и они заговорили о постороннем, неинтересном, и все пропало.

Соня с матерью и сестрой уехали в Петербург, Косой остался в деревне, и года три они не только не виделись, но не было даже вероятия, что они увидятся когда-нибудь.

И вот каждый раз, когда в воспоминании Сони, при мысли о молодых людях, знакомых ей, непроизвольно для нее являлась статная, ловкая и красивая фигура князя Ивана, она делала над собой усилие, чтобы не думать о нем. Было ли это из самолюбия или ради инстинктивной самозащиты, но только она укрепляла себя соображением о том, что ведь он же, вероятно, не думает о ней, так что же ей вспоминать о нем, зачем?

И вдруг именно теперь, когда она почти уже приучила себя забыть князя Ивана, является совершенно неожиданно напоминание о нем: оказывается, он близко, он в Петербурге,

здесь...

«Ну и что же из этого, что он здесь? – с улыбкой спрашивала себя Соня. – Ну, он приехал... Как, когда, зачем приехал он, все это ей очень хотелось знать, но она, боясь сразу выдать себя, да и неприлично было так уж очень интересоваться, нарочно ничего не спросила у Торусского. – И, наверно, никакого ему дела нет ни до меня, ни до кого... Однако ж он все-таки просил передать поклон, и именно мне. Почему именно мне, а не Дашеньке, не маме?.. Значит, они говорили обо мне, значит, он сказал что-нибудь Торусскому».

Соне было и приятно думать так, и вместе с тем беспокойно и «хлопотливо», как она мысленно называла подобное току состояние, в котором находилась теперь. У ней все уже было улажено внутренне относительно самой себя о князе Иване – она решила забыть его, а вот теперь начинаются опять «мысленные хлопоты».

Она знала, что не заснет, пока не успокоится, и по своей, известной только ей одной, привычке, приподнялась спиной к подуш-

кам, села и поджала ноги коленами под подбородок. В таком положении одна, ночью, она решала обыкновенно все самые сложные вопросы своей жизни.

В это время раздался знакомый ей, всегда действовавший на нее раздражительно, стук деревянных каблуков Веры Андреевны. Этот стук, чистый, с отбоем, приближался к ее комнате, становясь все яснее, и доходил обыкновенно до самых дверей. Тут делался крутой поворот, слышалось движение размахнувшейся юбки, каблуки стукали резким ударом и начинали удаляться, постепенно замирая в отдалении; потом снова они удалялись, Это была привычка Веры Андреевны ходить так перед сном, и сегодня, несмотря на проведенный вечер в гостях, она тоже ходила. Соня слышала уже по характеру стука каблуков, что сегодня хождение будет продолжительным.

«Господи, даже ночью покоя не дадут!» — мучительно мелькнуло у нее.

Ничто не сбивало так ее в мыслях, как стук этих каблуков по ночам.

Главное, что ход ее мыслей как-то бессознательно подчинялся им. Когда каблуки уда-

лялись – и мысли становились яснее, и все как-то улаживалось в них или открывалась надежда, что все уладится, иногда даже составлялись планы и находились пути к тому, чтобы все устроилось. Недоставало «додумать» какого-нибудь пустяка и все было бы хорошо, но именно в это время слышалось приближение каблуков к дверям, и мысли путались, сбивались и находились новые, непредвиденные препятствия.

Это бывали самые тяжелые, самые отчаянные минуты в жизни Сони. Она готова была сделать все, что угодно, лишь бы не было этих ужасных бессонных ночей, когда ей не давали заснуть набегавшие одна за другою мысли и стук шагов матери мешал разобраться в этих мыслях.

И сказать ничего было нельзя. Вера Андреевна, наверно, поставила бы в пример Дашеньку, которая спала же преспокойно. Да и Вера Андреевна была вполне и искренне уверена, что ходит тихо и никого не беспокоит. Для нее самой эти ночные хождения по комнатам были одним из мучительных выражений отвратительного состояния духа.

Сегодня, после вечера у Творожниковых, снова поднялось все в ней.

Что такое были эти Творожниковы? Ничего, так себе, и жить даже не умели порядочно, а между тем все у них было: и вечера они могли делать, и музыку нанимать, и дворовых держать. Да Творожниковы еще что!.. Но сколько же людей живут во сто тысяч раз лучше Творожниковых, а почему, за что, чем хуже их сама Вера Андреевна? Чем виновата она и что она сделала дурного в жизни, что жизнь так слагается для нее? Она вышла замуж и была счастлива со своим милым и любимым мужем. Достатки у них были небольшие, но все-таки на них хватало. Были знакомства, связи, муж служил и мог надеяться службой добиться совершенно обеспеченного положения, и тогда Вера Андреевна могла пожить в свое удовольствие. Но тут наступили эти ужасные дни падения Девиера, его казнь, а вместе с этим ссылка ее мужа, за которым ей не позволили следовать.

Он умер вдали от нее, скоро после того, как они расстались, и она осталась одна с двумя девочками. Старшая была любимица бабуш-

ки Соголевой. Та взяла девочку к себе, а с Дашенькой Вера Андреевна уехала в деревню, маленький клочок земли, ее приданое – все что у ней осталось.

Когда умерла свекровь, оказалось, что она жила долгами и после нее ничего нельзя было получить. Соня, приученная бабушкой к роскоши, вернулась к ней. Эта Соня ничего не просила и никогда не жаловалась, но Вера Андреевна видела, что ей тяжело.

И эта молчаливая покорность судьбе в Со-не была точно живой, постоянный упрек Вере Андреевне.

Разве она не хотела бы дать дочерям и обстановку, и все условия хорошей жизни? Она для себя мечтала об этих условиях, но что же было делать, если они не давались, не приходили?

Дашенька, та была ребенок, та ничего не понимала, но Соня – один ее взгляд, иногда исподлобья, пристальный, чего стоил!

«Скверная девчонка, – думала про нее Вера Андреевна, – хоть бы рассердилась когда-нибудь! Ведь не сердиться нельзя: я сама не могу выносить эту жизнь, и она не выно-

сит, больше, чем я, не выносит, а между тем тиха и молчаливая.

И Вера Андреевна все быстрее и быстрее ходила по комнатам и в сотый раз перебирала, кто из мужчин, старых или молодых – это было решительно все равно – может составить хорошую «партию» для ее дочерей, такую партию, которая позволила бы и им, и ей, Вере Андреевне, пожить в свое удовольствие, припеваючи, без нужды и недостатков.

Мало-помалу в мыслях ее нашлись такие женихи, и будущее начало рисоваться в светлых красках.

Тогда, перестав ходить, Вера Андреевна села в гостиной в первое попавшееся кресло и долго сидела там, мысленно переживая в будущем счастливые дни, которые она хотела бы приготовить своим дочерям.

IV

На другой день после вечера у Творожниковых Левушка сидел с князем Иваном и рассказывал ему впечатления вчерашнего. Он и слышать не хотел, чтобы Косой съехал от него.

И действительно оказалось, что помеще-

ние найти в Петербурге было гораздо труднее, чем думал князь Иван. К тому же его камердинер Дрю на третий или четвертый день пришел отказываться, говоря, что он думал, что у князя есть свой «дворец» в Петербурге и что он, француз Дрю, будет вознагражден за «все усталости» дороги жизнью во дворце, а между тем никакого дворца нет и Дрю нашел себе место у французского посла, который сейчас же взял-де его к себе, а потом он пойдет в учителя к кому-нибудь из «бояр».

Левушка посоветовал «дать фланцузу в молду» и рассчитать его. Князь Иван рассчитал француза и остался пока у Левушки.

– Вы понимаете, сто я влюблен, совелшенно влюблен, – говорил ему Торусский, – она такая холосенькая, такая холосенькая, сто плосто ужас. И все говолят это, и Ополчинин. Он танцевал с нею менуэт...

Князь Иван сидел глубоко в кресле, положив ногу на ногу, и усмехался в усы.

– Да, я помню ее, она очень мила, – согласился он с Левушкой.

– Не мила, а плосто класавица, плосто класавица, и танцует как – загляденье!.. – Левуш-

ка выкинул ногою особенное па. – Я ей пеледал от вас поклон.

– От меня поклон? – удивился князь. – Зачем?

– Да уж очень она была холосенькая... Нельзя было не пеледать. Ну как же, вы все-таки знакомы были и вдлуг без поклона. Я и пеледал...

– Да, разве что так!.. – опять усмехнулся князь Иван. – Но почему же именно ей, а не ее матери или сестре? Ведь у ней и сестра есть.

– А я их и не видел, совсем не видел... Сто мне было искать их? А ее я слазу увидел. Вы когда к ним поедете?

Левушка с такой уверенностью спросил это, точно не могло быть никакого сомнения, что князь Иван непременно должен был ехать к Соголевым.

– Что ж, я съезжу как-нибудь, – согласился князь Иван.

– Не «как-нибудь», а неплеменно на этих днях. Ведь вы все лавно ничего не делаете...

– Положим, что так, но все-таки без позволения неудобно. Вы спросите их, а потом я по-

еду.

– О, я, конечно, сплосу, конечно, сплосу, сегодня же поеду к ним и сплосу! Ну а вам Петелбулг все не нлавится?

Князь Иван ответил, что Петербург ему и сразу не то что не понравился, а просто произвел на него грустное впечатление, но вообще это, по-видимому, город, который может иметь будущность.

– Да ведь вы эти дни только внесность его видели, – заговорил опять Левушка, – а потому и судить о нем холосенько не можете. Погодите, я вас свезу кой-куда, познакомлю. Тут бывает весело, и можно влемя пловести холосо... Вот поедемте к Соголевым, к Тволожниковым, еще в нескольких домах я вас познакомлю, Лябчич наплимел. Она очень тоже мила... Потом велно встлетите знакомых васего отца и устлоитеь отлично!.. А эта Сонечка Соголева все-таки – плелесть... – закончил Левушка и повернулся на каблуках. – Вот сто: я сейчас поеду, мне нужно в голод, и заеду между плочим к Соголевым. Я им скажу, что завтла повезу вас к ним... А пока вот сто я поплосу вас: если без меня плиедет доктол, то

плимите его и покажите этого больного старика.

– Какого старика? – переспросил Косой.

– А того, котолого мы подоблали у заставы, нищего, когда с вами встлетились, хломого... ему, кажется, хуже, так я за доктолом послал.

Князь Иван от души улыбнулся Левушке. По тем временам послать за доктором для какого-то больного старика нищего, когда многие не делали этого даже и для бедных родственников, было признаком и проявлением такой доброты, которой нельзя было не сочувствовать.

Князь Иван успокоил Левушку, что сделает все, как надо, и Торусский, засвистев, пошел из комнаты.

Князь был рад остаться один. Он с самого своего приезда в Петербург не мог привести в порядок свои мысли и разобраться в новых впечатлениях, слишком большою массою вдруг охвативших его.

Причиною этому была, конечно, не новизна города, Петербург не мог произвести впечатление на князя Ивана, отлично помнившего Париж и другие города Западной Евро-

пы, через которые им приходилось проезжать с отцом. Петербург совершенно не нравился князю Ивану, и он только из деликатности не говорил этого Торусскому.

Но дело было вот в чем: там, в провинции, возле Москвы, дела шли не блистательно, но люди, от которых зависела судьба окружающих, были все-таки русские, и с ними можно было знать, чего держаться. Была система, ужасная, несправедливая, тяжелая для обывателей, но все-таки система, по которой так и знали, что будет иметь перевес богатый и сильный. Так там и жили, и говорили, что за богатым не тянись, а с сильным не борись.

Здесь же, в Петербурге, ничего даже разоб-
раться нельзя было. Город построен лишь нев-
ступно сорок лет, а что ни шаг, что ни дом, то
ужасная, самая неожиданная трагедия. Боль-
шинство каменных палат принадлежало не
только сильным и богатым людям, но таким,
которые в свое время могли бы всю Россию
согнуть в бараний рог, и вдруг они же сами,
эти люди, сгибаются и их или ведут на плаху,
или отправляют в ссылку.

Князь Иван еще раз перебрал в своей па-

мяти виденные им на улицах Петербурга палаты, и все почти владельцы их, казалось, для того лишь возвышались, чтобы пасть ниже прежнего. Почести, власть и могущество тут были как будто ступенями к эшафоту. И все-таки всем хотелось этих почестей, и все искали их, и русские, и иностранцы.

Теперь власть была заполнена иноземцами. Они были полными хозяевами. И хоть чужой граф Линар, карету которого (он, наверно, на охоту ехал тогда) встретил князь Иван при своем въезде в Петербург, готовился распоряжаться Русью, как своим домком. Положим, Бирон распоряжался, но за Бироном все-таки стояла власть русской императрицы Анны, а теперь что?

И этот вопрос: «А теперь что?» – не давал покоя князю Ивану, и с самого дня приезда его в Петербург мерещился ему дом на Царицыном лугу, в Па-де-Кале, где, показали ему, жила великая княжна Елисавета Петровна. Неужели так-таки молчат все покорно и безропотно?

Но скоро, в тот же день, князю Ивану пришлось убедиться, что нет, не молчат, а напро-

тив, делают дело, и дело это спорится.

Глава третья. Смерть старика нищего

I

Левушка еще не возвращался, когда к князю Ивану явился маленький казачок, Антипка, взятый Торусским из дворовых в услужение, с докладом:

– Доктур немецкий приехали. Барин, уходя, вам приказал доложить.

– А, доктор!.. Знаю, – сказал князь Иван и, встав, пошел, не торопясь, навстречу врачу.

Этот доктор, видный мужчина, лет за сорок на вид, в безукоризненно сшитом кафтане и камзоле, в курчавом седом парике с распадавшимися на две стороны по плечам волосами, был совершенно не таков, каким представлял себе Косой «доктора» в этом Петербурге. Пред ним явился вполне элегантный барин, в кружевах, с выхолёнными руками в перстнях и кольцах и с манерами, не уступавшими по своей выдержке манерам любого маркиза в Париже. Он вошел смело и уверенно, раскланялся с князем Иваном и оглядел его пристально-внимательно с ног до головы.

– Я имею удовольствие говорить... – начал

Косой, невольно конфузясь и от пристального взгляда, которым смерили его, и оттого, что такого важного барина придется ему вести к нищему старику.

– Я – Герман Лесток, – сказал с новым поклоном доктор и снова взглянул на Косого, видимо, ожидая, чтобы тот в свою очередь объяснил, кто он.

Князь Иван назвал себя и объяснил, что Торусский, которому нужно было отлучиться по неотложному делу, просил его принять за себя доктора.

– А вы, вероятно, недавно приехали; вы не петербургский? – спросил Лесток, неторопливо снимая перчатку с левой руки и привычным движением заправляя ее за края шляпы. – Я спрашиваю это потому, – добавил он на утвердительный ответ князя Ивана, – что почти всех в Петербурге знаю, а вас не имел чести встречать до сих пор.

Князь Иван повторил еще раз, что он лишь несколько дней тому назад приехал из провинции и вот остановился у Торусского.

– Но только как же, если он болен и послал за мной, а поручил принять меня вам?..

Или вы с ним одною болью болеете? – улыбнулся Лесток, и на его пухлом, бритом лице с полным подбородком улыбка была так смешна, что князь Иван невольно рассмеялся.

– Вот видите ли, – стал объяснять он, снова конфузясь, – Торусский просил вас приехать собственно не для себя и не для меня, а для одного старика... Тут произошла одна история...

– Верно, на улице подобрал? – опять улыбнулся Лесток.

– Да, на улице... то есть почти на улице...

– Так и есть – узнаю моего Левушка! – Лесток говорил довольно правильно по-русски, как иностранец, долго уже живший в России и среди русских, но изредка вдруг прорывался на согласовании слов. – Это так на него похоже; он всегда такой. Ну, где же наш больной? – добавил он.

Косой увидел по этим словам, что этому важному доктору уже не впервые приходится лечить у Левушки нищих, и вздохнул свободнее. Он кликнул казачка и велел вести их к больному.

Антипка очень важно вывел их в коридор

и, приглашая их следовать за собою, в конце ее растворил дверь в большую, светлую комнату, одну из лучших комнат дома, где находился больной нищий.

Он лежал на постели, отгороженной ширмами, под чистым одеялом, с расчесанными седыми космами волос, высывавшимися из-под белого платка, повязанного у него на голове. В обстановку, в которой лежал больной, не стыдно было ввести кого угодно.

Князь Иван остановился в ногах у кровати, а Лесток подошел к старику, положил на лоб ему руку, попробовал, потом взял смерить пульс.

Старик открыл глаза, долго, внимательно смотрел на доктора своими побелевшими, мутными глазами, как бы не понимая и с трудом делая усилие догадаться, что с ним хотят делать.

Лесток держал его за руку и, склонив голову на бок, словно прислушиваясь, смотрел на часы, которые держал другой рукой на колене.

Старик вздохнул протяжно, глубоко, как мехами, вбирая в себя воздух, и снова закрыл

глаза, точно решив, что ему уже безразлично, что бы с ним ни делали.

– У него голова разбита, кажется, – понижая голос, сказал князь Иван, когда Лесток отпустил руку больного.

Доктор, не оглянувшись на Косого, развязал платок и стал осматривать голову.

– Кровь бросали? – спросил он.

– Бросали, – ответил тоненький голос Антипки, стоявшего у дверей. – Я чашку подавал.

Лесток снова принялся внимательно и добросовестно оглядывать больного и, провозившись с ним довольно долго и тяжело дыша, поднялся наконец, а затем с серьезным, несколько побледневшим лицом обернулся к князю Ивану и сказал по-французски:

– Плохо дело, он не выживет.

– Неужели? Разве это возможно?

– Да, он уже совсем стар. Два века жить нельзя.

– Да что с ним?

– Что! Ничего особенного – просто время помирать пришло.

– Ну а рана у него на голове опасная?

Неужели это он от раны должен умереть? – волнуясь, спросил князь Иван.

– Может быть, и это повлияло, то есть дало толчок, но этот толчок пришел бы, пожалуй, и сам собою. Такие крепкие старческие натуры выносливы до своего срока, а там вдруг... и все кончено... У меня на глазах много примеров таких было.

Они уже шли назад по коридору.

– Но все-таки вы ему пропишете что-нибудь? – сказал князь Иван, как говорят обыкновенно в таких случаях не столько уже для больного, сколько для себя.

– Да, пропишу, – сказал Лесток, входя в кабинет Левушки, где стояло бюро с письменным прибором и очинёнными перьями.

Доктор сел к бюро писать рецепт, а князь Иван стал ходить по комнате, соображая, сколько нужно будет дать доктору. Рубля, конечно, мало, нужно по крайней мере золотой. Решив дать такую плату, князь отошел к окну и, вынув кошелек, осторожно, чтобы не было заметно, раздвинул кольца, достал золотую монету, а затем, спрятав снова кошелек в карман, зажал ее в кулак правой руки, вооружив-

шись таким образом для прощанья с доктором.

Лесток кончил рецепт и поднялся от бюро.

– Нет, нет, этого не надобно, – заговорил он, улыбаясь, когда князь Иван хотел передать ему свою монету, – нет, этого совсем не надобно...

– Как не надо? – переспросил Косой, чувствуя, как кровь приливает ему к щекам. – Отчего не надобно?..

– Не надобно, потому что свое посещение я делаю именем великой княжны Елисаветы, лейб-медиком которой имею честь состоять. Раз делается добро ее именем – деньги не нужны.

Князь Иван вдруг с просветлевшим, радостным лицом взглянул на Лестока и воскликнул:

– Вы – лейб-медик великой княжны? Великой княжны... Ну, тогда я понимаю... я понимаю... Простите!

II

Должно быть, лицо и голос князя Косого выразили слишком уже восторженную радость, потому что Лесток еще раз с интересом

и вниманием оглядел его тем же испытующим взглядом, как в момент своей встречи с ним.

– Чего же вы так обрадовались? – спросил он мягко и участливо, как бы понимая, впрочем, эту радость Косого и одобряя ее.

– Чего я обрадовался? Да как же!.. Я именно представлял себе великую княжну такую, да, именно такую... Где добро, милосердие – там и она. И вот первое, что мне приходится узнать про нее – именно доброе и хорошее дело... то есть человек, который стоит близко нее – делает добро ее именем. Да, так и нужно...

– Но разве не все мы обязаны делать добро и помогать ближним? – спросил Лесток.

– Да, обязаны... все это так, но вы понимаете, что я говорю... Мне было бы больно, если бы великая княжна и люди, окружающие ее, не делали этого, а теперь, когда я вижу, что они делают, я невольно радуюсь... Да сядемте, доктор, если у вас есть время...

– Времени у меня очень немного, – ответил Лесток, но все-таки сел на пододвинутый ему князем Иваном стул. – Итак, вы симпатизиру-

ете великой княжне?

– Да как же не симпатизировать? – подхватил князь Иван. – Она – дочь великого царя, наша русская, коренная... Посмотрите, что у вас делается! В чьих руках власть и правление?.. Все это – чужие люди, которым до России, я думаю, дела нет. Ведь это ужасно...

– Еще бы не ужасно! – подтвердил Лесток. – При Бироне лучше было – тогда по крайней мере знали, кого и чего держаться. А теперь все – хозяева, все нос суют! Остерман с принцем делает одно, а правительница завтра все это переделает по-своему, и всякий, кто захочет, вертит ею. Уж о Юлиане Менгден говорить нечего...

– А правда, что граф Линар... – начал было князь Иван.

– Говорить противно... – сказал Лесток, махнув рукою.

– Нет, правда, что он женится на этой Юлиане Менгден? – переспросил Косой.

– Ну, что ж, и Бирон женился на девице Трейден – это еще ничего не доказывает. А вот что нехорошо: не нынче-завтра, того гляди, будет объявлена монаршая воля прави-

тельницы...

– Как монаршая воля? – подчеркнул князь Иван.

– Так: «Божиею милостию мы Анна Вторая...» провозгласит себя самодержавной императрицей...

– Ну, этому не бывать! – вырвалось у князя Ивана.

Спроси только его Лесток, «отчего не бывать этому», он ответил бы и высказал бы все то, что все эти дни неотвязчиво носилось в его мыслях. Он ответил бы, что есть в России императрица самодержавная, законнейшая, Елисавета Петровна, ради которой он, князь Косой, не задумается положить голову свою и жизнь отдать.

Но Лесток, точно и без слов понимая состояние души князя Ивана и заранее зная то, что он ответит, ничего не спросил и не дал даже ему говорить.

– А вот что удивляет меня, – сказал он, – это ваш французский язык и произношение... Вы говорите, как чистый парижанин...

Князь Иван почувствовал себя польщенным, испытывая свойственное всем русским

удовольствие, когда про них говорят, что они хорошо изъясняются по-французски.

– Немудрено, – ответил он, – у меня мать была француженка, а кроме того я все свое детство провел в Париже. Я и родился там...

– Вот как!

Лесток, не торопясь, вынул табакерку, захватил добрую щепоть табака и, понюхав, стал расспрашивать обо всех обстоятельствах жизни князя Ивана.

Этот расспрос шел как будто в разговоре, и Лесток делал его так добродушно, остроумно и участливо, что князю Ивану совсем легко и просто было отвечать ему и рассказывать.

– Так, значит, это привезенный вами камердинер, француз Дрю, поступил на днях к французскому послу, господину Шетарди? – спросил Лесток, когда князь Иван рассказал ему о своем приезде в Петербург.

– Откуда же это известно вам? – спросил Косой, невольно удивившись.

– Случайно узнал я это, – пояснил доктор, – был у господина Шетарди и узнал, что у него новый лакей. Вот и все...

Лесток уехал, доброжелательно простив-

шись с князем Иваном и произведя на него такое благоприятное впечатление, что Косой, чтобы не расстраивать своего восторженного состояния, остался дома и никуда не пошел, ожидая возвращения Левушки.

К обеду Торусский не вернулся, и князь Иван поел один, потом прилег отдохнуть немного, по усвоенной давно уже, в деревне, привычке, где все вставали рано и отдыхали после обеда.

Обыкновенно это было самое лучшее время у него для сна, но сегодня ему спалось плохо. Как только он закрыл глаза, пред ним вытянулось тело больного нищего под чистым одеялом, с упорным, стеклянным взглядом на почти безжизненном лице.

Князь Иван знал, что стоит ему сделать небольшое усилие, и этот вдруг пришедший ему на память, помимо его воли, образ старика исчезнет; но он нарочно не делал этого усилия и смотрел в темноту опущенных своих век, грезя наяву. Ему знакомы были такие грезы.

Вид старика был неприятен – точно в чем-то сам князь Иван был виноват пред ним, и

даже не виноват, а просто между ними существовала какая-то таинственная связь, и не столько взаимное влияние, сколько влияние этого старика на князя Ивана. Все последние дни Косой весьма естественно думал о своем будущем, о том, как устроится его жизнь, совершенно неопределенная и неизвестная в этом будущем. И вот теперь, как это бывает только во сне или полусне, это будущее сливалось непостижимо и чудесно с существом старика, вытянутого под чистым одеялом.

«Что за глупости, что за пустяки!» – говорил себе князь Иван и, вполне разумно сознавая и соглашаясь, что это – глупости и пустяки, все-таки испытывал в душе жуткое чувство связи своего будущего с существом этого чужого, незнакомого ему, полумертвого, приговоренного к смерти доктором старика, перед которым он будто бы был виноват в чем-то.

И он лежал, не открывая глаз и боясь даже открыть их, чтобы не исчезло то, что он видел с закрытыми глазами, хотя это было ему и неприятно, и мучительно. Он знал, что ему нужно было уяснить что-то, уяснить без посредства логического мышления, которое не

годится во сне: во сне нужно только ждать и «не мешать» тому, что происходит.

А происходило у него в душе нечто такое, что сначала было совершенно непонятно, а потом стало понятным и ясным. Ясно было то, что действительно в больном нищем заключалось будущее князя Ивана. Как это было, он не знал, но, только когда убедился и успокоился на этом, будущее стало уже не будущим, а прошедшим. Вместо длинного одеяла, под которым лежал старик, вытянулась тенистая кленовая аллея с золотыми пятнами светлых солнечных лучей, пронизывающих узорчатую листву деревьев. И по этой аллее идет он, сам князь Иван, и впереди его маленькая, милая девушка... Он делает усилие припомнить, узнать, кто она, и не может. Но вот она, не оглядываясь, а лишь слегка повернув назад голову, продолжая идти, приложила отвернутую руку немножко выше талии и провела ею машинально вниз к поясу и выпрямилась. И вот это движение напоминает ему всё. Он, как сейчас, вспомнил одно из своих посещений Соголева – имения тех Соголевых, о которых говорил сегодня утром с Левушкой

и которых Левушка видел вчера. Он шел так по аллее со старшей – с Соней, и помнит, как почему-то, именно когда она сделала движение рукой и выпрямилась, у него словно сердце дрогнуло, и он запомнил и это движение, и ее красивую точеную руку, точно в эту минуту и в ней, и в нем произошло что-то особенное, от чего они, сколько бы ни старались, не отделаются, да и отделяваться не захотят.

И все это были глупости, опять это был вздор. Но это было так, и князь Иван не хотел, чтобы исчезали пред ним эта аллея и маленькая, милая рука, которая своим движением приворожила его к себе.

Но все-таки все это расплылось, задернулось туманом и исчезло в темноте. Князь Иван спал.

И вдруг во сне видит он, что из темноты, где сначала ничего не было и его самого не было, несется он, сидя в санках, с кем-то толстым, кого узнать не может, несется на лошади, черной, без отметины, которая быстро отбивает ногами по проложенной заранее дороге в гору с заворотом, с определенной колеей, откуда санки не могут выбиться ни в ту ни в

другую сторону, а назад их не пускает широкий размах бега лошади... Потом они приехали куда-то. Быстрая езда доставила огромное удовольствие князю Ивану. Налево сад; он вышел из саней и боится. Боится он того, что хозяин с улыбкой выпускает на него свою черную лошадь, а она скалит свои белые зубы и протягивает морду к князю Ивану, стараясь укусить его. Князя Ивана одолевает скверный, заискивающий смешок, которым он хочет отделаться от всего этого, обратить дело в шутку, а у самого колена трясутся и сердце холодеет. Но смешок его все увеличивается, он хихикает и, видя, что все это – вовсе не шутка, прыгает в сад и лезет на дерево. А деревья все низенькие, с тоненьким, привязанным к подпорке, стволу и круглым шаром ровно подстриженной листвы. Князь Иван застревает головой в листве, а в это время лошадь начинает объедать его босые ноги, и князь Иван понимает, что это нарочно так устроено, чтобы лошади было удобнее есть не нагибаясь и что хозяин, который смеется, стоя и махая недоуздком с накрученными на руку веревками, вовсе не желает защищать князя Ивана и

сад свой посадил вовсе не для того, чтобы там находили убежище от его лошади, а совсем напротив – для ее же удобства...

III

Когда князь Иван проснулся, он ощутил несказанное удовольствие оттого, что наяву нет ни черной лошади, ни ее хозяина с недоуздом и веревками. Перед ним стоял Левушка.

– Вы ничего не знаете, что случилось? – сказал он, будя князя Ивана.

Косой вытянулся, как бы для того, чтобы убедиться, что ноги у него целы, и, зевнув, спросил Левушку вместо ответа:

– А что значит лошадь видеть во сне?

– Лосадь? – переспросил Левушка. – Это ложь означает. А вы видели лосадь?

– Да, и прескверную...

– Ну это ничего, бывает! Я на днях лепу видел во сне, большую лепу... Нет, но вы знаете, что случилось?.. Я оттого целый день домой не возвращался... Швеция объявила нам войну, и мы опять воевать будем. Никто не ожидал этого... Свинство!.. Я бы в молду дал!

– Кому? Швеции?

– Да! Лазве можно так? Положим, были некоторые признаки, но все-таки... Двадцать восьмого числа вдруг приезжает к нашему послу Бестужеву шведский канцлер и говорит: «Мы с вами в войне и уж наши войска двинулись». Вот и здравствуй!.. На днях и нас манифест выйдет.

Левушка был, видимо, весь охвачен тем переполохом, который был вызван в петербургском обществе пришедшим недавно из Швеции известием. Общее волнение отразилось и на нем, и, когда князь Иван пригляделся к его несколько растерянному виду, то и сам почувствовал, как и его начинает охватывать беспокойное чувство сознания всей важности привезенной Левушкой новости.

– В самом деле, ведь это ужасно важно! – проговорил он, окончательно оправляясь от сна. – Кого же пошлют? Миниха?..

– Послали бы Миниха, да стлусят снова его в силу допускать. Остелман не дозволит, – ответил Левушка, видимо, повторяя слышанные им в течение дня слова общей молвы.

– Ну как же не дозволить? Неужели он будет считаться личными интересами, когда

тут дело о России идет? – проговорил князь Иван.

– А сто ему Лоссия? Вот сто! – и Левушка сделал вид, что плюет. – Лазве с этим плави-тельством сто-нибудь возможно?.. Послют плинца Антона или Ласси... Да не в этом дело. Мы накануне пелеволота, а тут вдлуг эта вой-на...

Левушка, в своей горячности, говорил, видимо преувеличивая, но князь Иван не мог удержаться, чтобы не спросить, почти вскрикнуть:

– Как «мы накануне переворота»? Какого переворота?

Левушка спохватился. Он приостановился было, но потом, словно махнув рукой, заговорил опять:

– Вплочем, сто ж, вы ведь – холосий чело-век. Вы не станете доносить, да и это все почти знают. Уж так в воздухе чувствуется, сто не долго им плавить... Плинцесса Елисавета...

И Левушка рассказал, как многие гвардейские полки, когда их вели присягать после ареста Бирона, думали, что присягать им придется Елисавете Петровне, и громко говорили

об этом. Мало того, сам Миних, ведя солдат арестовывать Бирона, говорил им, что они со-служат этим службу государыне Елисавете. Затем недавно, месяц тому назад, на Царицыном лугу толпа военных остановила Елисавету Петровну и стала говорить ей: «Матушка, скоро ли, наконец, поведешь нас? Мы все готовы умереть за тебя!».

– Так, так, – поддакивал князь Иван, – так и надо, так и надо!..

Он радовался не тем фактам, которые сообщал Левушка, – их, очевидно, могло быть еще больше, – по тому, как он рассказывал. По оживлению Торусского видно было, что восторг в великой княжне живет не в одном сердце Косого, но именно «в воздухе чувствуется», как сказал Левушка, и это-то и радовало князя Ивана.

– Вот без вас Лесток был, – начал он, желая рассказать свой разговор с доктором.

– Ах, да! А сто сталик? – спросил Левушка.

– Плохо! Лесток объявил, что нет надежды. Он прописал все-таки рецепт. Я послал казачка в аптеку.

– Он велнулся уже. Я пойду проведать ста-

лика, – и Левушка, повернувшись по своей привычке на каблуках, легкою поступью пошел к двери, добавив: – Я сейчас велнусь; будем чай пить и плостоквашу есть...

И вот тут, пока Торусский ходил проводить старика, с князем Иваном случилось неожиданное обстоятельство: ему пришли сказать, что бывший его камердинер, француз, требует непременно, чтобы князь принял его немедленно по очень важному делу. Косой пожал плечами и велел впустить француза.

Тот сразу, как вошел, заговорил таинственно, но очень многосложно, и из его длинной речи князь Иван понял, что Дрю очень доволен тем, что его привезли в Петербург, потому что он нашел себе отличное место у самого французского посла, а «служить при посольстве» очень важно, потому что это не простая какая-нибудь служба, а даются поручения чисто дипломатического характера, имеющие государственный интерес. И вот с одним из таких поручений он явился к князю Ивану, которого сам посол просит пожаловать к нему завтра утром в посольство. Дрю

заклучил речь выражением своей надежды на то, что князь не откажет исполнить просьбу посла и явиться на приглашение, так как этого требуют дела и обстоятельства, весьма и весьма важные.

Князь Иван только руками развел. Зачем он понадобился французскому послу и откуда тот узнал о нем – от самого ли Дрю, или от кого-нибудь другого, Косой не мог никак добиться от француза, уверявшего, что все это – «государственная тайна». Так с этим и ушел француз, получив, однако, обещание от князя Ивана, что он в назначенный час будет у посла.

– Да, да, сходи, купи ему целковную свечку! – слышался в коридоре приказывающий голос девушки, почти сейчас же после того, как князь Иван отпустил Дрю.

– Какую? Кому церковную свечку? – переспросил князь входившего уже в комнату Торусского.

– Да все этот сталик чудит. Представьте себе, ни за сто не хочет плинимать лекалства; говолит – все лавно помлет. И смолит так плистально. Плосил только свечу ему целков-

ную купить, стоб зажечь ее, когда помилать станет... Я послал Антипку. Сто ж... когда он хочет этого!.. Ну, давайте есть! Вы не голодны?

За чаем князь Иван рассказал Левушке о посещении француза.

– Ну, сто ж, и поезжайте, – решил Торусский, – а потом велнетесь домой, я вас ждать буду, и мы вместе поедем к Соголевым! Я был у них и сказал, сто мы плиедем завтла. Они очень лады.

IV

Поздно вечером, когда Левушка начал уже раздеваться, чтобы ложиться спать, к нему пришли сказать, что больной старик просит его к себе.

Левушка сейчас же пошел к нему и некоторое время оставался с ним наедине, выслав из комнаты Антипку. Что они говорили там, или, вернее, что говорил старый нищий Торусскому, никто не слышал. Только камердинер Петр видел, как барин, вернувшись от старика, принес с собою свернутую веревку и бережно запер ее к себе в бюро.

Относительно веревки рассказывал тоже

подробности и Антипка.

– Видишь ли, братец мой, – говорил он таинственным голосом собравшейся в людской дворне, – веревку эту самую я у старика на шее видел. Как только привезли его к нам, обмыли это мы его, рубаху чистую надели, потому так и барин велел: «Обмойте, говорит, его и наденьте рубаху чистую и положите в уголвой»... Ну вот, хорошо! Только это убирают его, а он все это рукой вот так к груди-то держает: я думал, мешают ему что, потянулся было оправить, а старик как замычит, да жалостно так, словно не трожь, мол, оставь. Я и говорю: «Деинька, не сумлевайся, твое при тебе останется». Я думал, у него на шее-то деньги али что; только повернули мы его, я вижу – ничего такого нет, а просто вот как есть веревочка скручена и висит на шее-то у него...

– Веревочка? – переспросил чей-то голос.

– Вот как есть веревочка – скручена, скручена и висит. Ну, так его и уложили с веревочкой-то. Хорошо! Потом этта барин меня к нему и приставил. «Смотри, – говорит, – Антипка, коли что ему, деиньке-то, понадобится, ты справлять будешь, потому человек он ста-

рый и больной». Вот это я и смотрю. И, как он забудется ли, заснет ли, потом очнется – сейчас, братец мой, за грудь рукой – тут ли у него этта веревочка. Так он ее стерег. Только сегодня сижу я у него, а он мычит. Подошел я к нему, чтобы разобрать, чего мычит-то он – не водицы ли испить. «Нет, – говорит, – барина», – то есть голосом понимать дает, чтобы я барина к нему призвал. Я этта сейчас к Петру Иванычу, вот, мол, так и так, барина к себе зовет... Ну, вот Петр Иваныч и докладывает барину-то, что зовет, мол, его этот самый старый нищий-солдат, к которому Антипка приставлен. Барин в это время уже спать ложились. Как есть в туфлях, и они идут по коридору-то, а я двери-то раскрыл им навстречу – пожалуйста, мол. Вот, братец ты мой, входит этта барин к старику, а он так этта глаза открыл и смотрит. И так этта вдруг явственно произносит, что очень, мол, благодарен он барину за всю его доброту. И насчет свечи осведомился... Это чтоб ему зажечь в руку, когда, значит, отходить станет. А барин и говорит, что вот, мол, меня за свечой посылал, и на меня показывает. А он-то снова этта как будто бла-

годарит и говорит, чтобы усладить. Барин этак махнул мне рукой, чтобы я, то есть, вышел. Я вышел сейчас, запер дверь и сейчас к скважине замочной глазом припал. Ну, и вижу я, что стоит барин, наклонившись над ним, а он барину и говорит все, так это убедительно говорит и руками не машет, а барин слушает. Только, что он говорит, мне-то никак уж не слышать за дверью-то. Вижу, что говорит, а что именно – дознаться не могу. Хорошо! Вот как он все этта рассказал барину, вижу, барин этта качнулся к нему ближе, да и снимает с шеи-то веревочку эту самую, которую он берет так. Снял этта, а тот ничего; отодвинулся барин, я все лицо старика вижу, и вижу, что ничего – улыбается только, а лицо таково светлое. Ну, после того барин повернулся, я этта и думаю, что сичас он к двери пойдет, ну, и прочь значит, чтоб не заметили. Ушел я этта, а потом камардин Петр Иваныч говорит выездному Федьке: «Вот какие дела, Федька: был барин у этого самого нищего, которого привез с собой из-под заставы, и вышел от него, братец ты мой, и вынес веревочку, скручену, и так это бережно к себе в бюро запер, а

потом на молитву стал, ко сну, значит, отходить».

– Вот они, дела-то! – вздохнул кто-то, когда кончился рассказ Антипки.

– Я так полагаю, что ему помереть сегодня.

– Беспременно помереть. Потому всяк человек свой смертный час чувствует...

Молодая девка, следившая, затаив дыхание, за рассказом с широко открытыми глазами, вдруг проговорила:

– Ой, батюшки мои, страшно!

– Чего страшно-то, дурья голова?

– А вот как старик-то померет...

– Ну и померет – все помирать будем.

– А и лодырь – ты, Антипка! – вдруг совершенно неожиданно для вполне довольного собой Антипки, но весьма последовательно со своей точки зрения, проговорил старый кучер, пользовавшийся во всей дворне авторитетом.

В слишком большом внимании, выказанном всем обществом к рассказу Антипки, он видел несоответствие с возрастом и вообще положением казачка.

Антипка сейчас же понял это, но все-таки

счел долгом возразить.

– Чего же браниться-то, дядя Иван?

– А то браниться, что не подглядывай, к замочным скважинам носа не суй. За это вашего брата за вихры таскают. Вот как! – и кучер, тряхнув головою, встал и оправился, собираясь уходить.

В ту же ночь в большой комнате, на чистой постели, с зажженной свечой в сложенных на животе руках, скончался хромой нищий.

Он разбудил спавшего у него Антипку, тот зажег ему свечу, подал и побежал с испуга будить старших. Когда те пришли, старик уже умер.

Глава четвертая. Первые шаги

I

Князь Иван велел привести наемную карету, надел свой лучший, выписанный ему еще отцом из Парижа, бархатный кафтан, легкую французскую шпагу, шелковые чулки и башмаки с пряжками, и в таком наряде, не уступавшем самому щегольски одетому богачу, отправился в условленный час к французскому послу.

Как только его карета остановилась у подъезда дома посла и князь, выйдя из нее, назвал свое имя высыпавшим ему навстречу слугам, его тотчас же провели вниз, в рабочий кабинет маркиза Шетарди, видимо, ожидавшего его.

Шетарди встретил его и принял с тою любезностью и приемами чисто светского, выросшего на паркете человека, которого князь Иван видел и любил с детства в своем отце. Да и вообще манеры Шетарди и его разговор сильно напомнили князю его отца, и он сразу почувствовал удивительную симпатию к приветливому, учтивому и воспитанному маркизу.

Впечатление было, кажется, обоюдно хорошее; по крайней мере Косой видел, что и сам он понравился. Шетарди усадил его и сейчас же приступил к делу.

– Вы, вероятно, очень удивились, что я побеспокоил вас? – спросил он, весело глядя на князя Ивана.

Князь Иван ответил, что вообще должно было ответить в этом случае, что, напротив, беспокойства никакого нет и он очень рад.

Шетарди прислушивался к его ответу, не следя за его смыслом, в котором был, очевидно, уверен, но, видимо, с удовольствием следя за прекрасным оборотом французского языка, которым изъяснялся князь Иван.

– Ну да, ну да... – повторил он, – разумеется, но все-таки вы не должны удивляться. Во-первых, мне были сообщены подробные о вас сведения вашим камердинером, которого вы привезли сюда и которого я взял к себе пока, как компатриота. Но главное – вчера заехал ко мне прямо от вас доктор Лесток, узнавший из случайного разговора с вами ваш образ мыслей, вполне соответствующий истинно порядочному русскому сердцу.

«Вот оно что!» – сообразил князь Иван.

Маркиз приостановился, слегка нагнув голову, как бы выжидая, не скажет ли что-нибудь Косой, но князь Иван, подобрав под стул ноги и прижав шляпу под мышкой, продолжал почтительно слушать.

– Итак, – заговорил опять Шетарди, переложив на место гусиное перышко на письменном столе, – молодой человек, приехавший сюда, в Петербург, искать счастья и устроить

свою судьбу, но никого, решительно никого здесь не имеющий...

– Решительно никого. Мой отец... – начал было князь Иван.

– Знаю, знаю! – подхватил Шетарди. – Ваш батюшка провел большую часть жизни в Париже, а потом в деревне, так что не оставил вам никаких связей. Вы не имеете никого знакомых в Петербурге, никто не знает вас здесь?

– Никто не знает, – повторил князь Иван.

– Ну и отлично! Это – именно то, что нам надо. Насколько мне известно, вы так определенно выразили в разговоре с господином Лестоком, лейб-медиком великой княжны Елисаветы, ваш взгляд на современное положение вещей...

– Какой же тут может быть взгляд? – улыбнулся князь Иван. – Каждый русский, я полагаю, не может иначе думать... И по праву, и по правде великая княжна должна занимать престол своего отца.

– Вот именно и по праву, и по правде, – повторил Шетарди и задумался. Он знал, что не ошибается в князе Косом. Ему уже приходи-

лось встречать таких людей, молодых, увлекающихся, и он знал, что, если направить как следует этих людей, они-то и будут самыми лучшими помощниками. – Так хотите послужить великой княжне? – вдруг, подняв голову, проговорил он.

Князь Иван еще вчера, когда явился к нему Дрю с приглашением, уже смутно подозревал, зачем зовут его к Шетарди, а сегодня с первых же слов посланника понял, в чем дело, и ждал от него этого вопроса. Ответ у него был готов: конечно, он не только хочет послужить великой княжне, но готов, если это нужно будет, и жизнь свою положить за нее.

Сказал он это так правдиво, искренно, что если бы Шетарди раньше и сомневался в нем, то теперь, при виде его блестящих глаз и вспыхнувших щек, должен был бы вполне убедиться, что может довериться ему.

– Отлично! – сказал он. – Если вы готовы послужить великой княжне, то можете принести существенную пользу. Вот в чем дело: вы знаете, что она окружена со всех сторон шпионами и соглядатаями нынешнего правительства?

– Неужели? – вырвалось у князя Ивана.

– Да. Еще при покойной государыне каждый ее шаг был известен при дворе, а теперь наблюдение за ней удвоили, утроили, она не может выйти из дома просто, и частые посещения ее дома лицами, симпатизирующими ей, с каждым разом становятся все опаснее и опаснее. Для сношения с гвардией у ней есть особый двор – в стороне Преображенских казарм – Смольный, на берегу Невы, в лесу; туда цесаревна уезжает иногда на ночь и видится со своими приверженцами из гвардии. Но вот, видите ли, есть, конечно, люди, готовые помочь ей и помимо гвардии...

Очевидно, Шетарди говорил о себе. Князю Ивану неясно было до сих пор в этом разговоре одно: почему это вдруг французский посол, человек, все-таки чуждый всему собственно русскому, принимает такое близкое участие в деле русской великой княжны?

– Вы, конечно, считаете себя в числе этих людей? – спросил он, боясь говорить прямо.

– Да, потому что Франция всегда готова стоять за право и правду, – ответил Шетарди, как бы угадывая смысл вопроса Косого.

Он ответил фразой, потому что, во-первых, как истый француз, не мог отказать себе в этом удовольствии, а во-вторых, он только и мог ответить фразой, потому что нельзя же было ему объяснять всю подноготную своей политики молодому человеку, русскому, совершенно равнодушному к интересам этой политики с точки зрения Франции.

Однако князю Ивану, самому готовому постоять за правое дело, эта фраза показалась вполне правдоподобною. Рыцарское бескорыстие, которым дышала она, совершенно соответствовало и приемам, и манере, и той утонченной воспитанности, которая проглядывала в каждом малейшем движении Шетарди.

– Что же надо делать? – спросил князь Иван.

Шетарди поднял брови и заговорил размереннее.

– Прежде всего нужно действовать крайне осмотрительно и осторожно. Задача состоит в том, чтобы поддержать сношения французского посольства с дворцом великой княжны. Мне самому часто показываться там, не компрометируя себя, нельзя. Вот потому нам и

необходимо иметь ловкого и вполне толкового человека, на которого можно было бы положиться и который, если можно, ежедневно, незаметно служил бы связью между нами. Как с моей стороны, так и со стороны дворца будет сделано все возможное, чтобы облегчить эту задачу. Ну вот вам, мне кажется, удобнее, чем кому-нибудь, выполнить это, потому что вас здесь никто не знает и руки у вас развязаны. Вы можете придумать, что хотите. Сообразите, постарайтесь и дайте мне знать сами ли, или через Дрю, которого я пришлю к вам. Во дворце на первый раз обратитесь к Лестоку. Вот и все. Согласны?

Князь Иван подумал немного и быстро ответил:

– Согласен.

Он согласился сразу, разумеется, не имея никакого определенного плана, как ему действовать; но этого и не нужно было – он знал, что все это возможно было устроить, и он устроит; согласился же он главным образом потому, что сделанное ему предложение захватило его, задело за живое. Тут нужны были и ловкость, и смелость, был риск, и при-

том риск за хорошее, честное, и это сразу увлекло князя.

II

Князь Косой ехал от Шетарди в лучшем расположении духа, чувствуя невольное удовольствие и от своего богатого наряда, и от разговора с воспитанным, приятным человеком, и – главное – оттого, что ему предстояла деятельность, щекочущая его самолюбие, недаром Шетарди сказал, что «им нужен ловкий и вполне толковый человек».

Он условился с Левушкой, что от посла заедет за ним, чтобы, не выходя из кареты, прямо вызвать Торусского и ехать вместе с Соголевым.

Теперь князю Ивану не хотелось так, сразу, вернуться от своего праздничного настроения к обыкновенному будничному, снять свой расшитый кафтан и заняться обдумыванием предстоящего ему дела. Ему хотелось еще куда-нибудь поехать в своей карете и в богатом наряде, хотя едва ли это было благо-разумно ввиду того инкогнито, которое ему было полезно сохранять теперь.

Но так как ему хотелось именно этого, то у

него сейчас же нашелся и предлог, в силу которого оказалось необходимым ехать сейчас же и как можно скорее к Соголевым. Ведь они знают, что он здесь, в Петербурге, – значит, нужно повидать их и уверить, что он уезжает, чтобы его больше не ждали там и по возможности забыли.

Левушка, ожидавший князя Ивана, не заставил его долго сидеть в карете и, выбежав и вскочив к нему, первым делом осведомился:

– Ну что?

– Ничего, – ответил князь Иван, – потом расскажу...

Он еще не вполне сообразил, что можно сказать Левушке и чего нельзя.

Тот не настаивал и начал рассказывать о том, что решил похоронить старика-нищего на свой счет и послал уже выбрать место на кладбище и заказать гроб.

Наемные лошади кареты везли довольно быстро.

Соголевы жили в новой, недавно отстроенной после пожара, части Петербурга, между Царицыным лугом и Невской перспективой, где дома и квартиры в них были дешевле.

Кучер вез князя Ивана с Торусским через Греческую, знакомую уже Косому, улицу, на конце которой стоял дом великой княжны Елисаветы, имевший теперь для князя Ивана вдвойне важное значение. Может быть, завтра же ему удастся пробраться туда, и, может быть, завтра же он будет говорить с самой великой княжной и скажет ей, что готов все, все сделать, что только она пожелает.

И князь Иван нагнулся к окну кареты, чтобы взглянуть на этот полный для него значения, знаменательный дом.

Он нагнулся и вдруг быстро отстранился назад, потом снова заглянул. Ему показалось... нет, не показалось, а он ясно увидел старческую фигуру с седыми, падавшими из-под картуза прядями волос. Старик стоял в своем поношенном, дырявом мундире, опираясь на костыльную трость. Одна нога у него была на деревяшке.

Князь Иван схватил Левушку за руку.

– Сто с вами? – вздрогнул тот, видимо, не ожидая, что его разбудят так вдруг от его мыслей, которые он, устав рассказывать о старике, наладил на что-то очень хорошее, что не

чуждо было воспоминанию о Соне Соголевой.

– Смотрите, вон, видите? – показал Косой, пригибая Левушку к окну.

– Где, сто, а? – спросил Левушка, так как смотрел совсем не туда, куда было надо.

– Да вот же, – показал князь Иван, но в это время карета повернула за угол, и старик скрылся из глаз.

– Сто вы говорите? Сталика-нищего видели? – сказал Левушка, когда князь объяснил, на что показывал ему.

– Да, того самого старика... И волосы такие же, и нога на деревяшке... Он стоял прямо против дома великой княжны... Я видел совсем ясно...

– Ну сто ж? – успокоился Левушка – Мало ли сталиков-нищих ходит?.. Из отставных солдат их много, и волосы у них седые, и ноги на деревяшках. Очень может быть...

Спокойствие Левушки как-то сразу охладило князя.

И в самом деле ничего не было удивительного, что он увидел нищего, похожего на того, который умер сегодня ночью у них в доме. Его не то что испугали, а поразили сначала

неожиданность и близкое сходство, вот и все. Но теперь, когда первое впечатление прошло, князь, конечно, увидел, что это был вздор.

– Плосто, я вам только сто говолил о насем сталике, вот вам и показалось, – соображал в это время вслух Левушка. – А нищих очень много у нас. Плежде было еще больше, а с тех пол, как заплетили...

Но князь Иван не слушал уже соображений Левушки. Ему вдруг пришла в голову мысль и всецело заняла его.

В самом деле, в Петербурге много таких нищих, каким был этот умерший старик. Нищие, очевидно, могут проходить во двор великой княжны, чтобы получить там подавание. А ведь главное, чтобы, не подав подозрения, проникнуть во двор, а уж там проведут, куда надо, там все равно. Так чего лучше, как не под видом старика-нищего проходить к великой княжне хоть каждый день? И полное одеяние есть – осталось от мертвого, и деревяшка, и палка...

И вдруг странное, жуткое чувство охватило князя Ивана: ему на один миг показалось, что будто это все где-то и когда-то было. Он

вот так же ехал с Левушкой на лошадях и переодевался в хромого старика.

«Что за вздор! – сделал над собой усилие князь Иван. – Дело вовсе не в этом... Да, так и нужно будет распорядиться. Нужно велеть только выпарить одежду старика и новую подкладку поставить: а там, для Шетарди, чтобы никакого уже не было подозрения, можно роль француза разыгрывать. Говорю я хорошо, никто не узнает, что я – русский, хоть магазин иностранных товаров открывай. А в самом деле не открыть ли французский магазин и жить под видом хозяина-иностранца, а когда нужно, то нищий пойдет к великой княжне. Странно, этот нищий умер, а будет жить!»...

– Как это говорят французы – король умер, да здравствует король! – проговорил Косой вслух вновь задумавшемуся Левушке.

– Как вы говорите? – снова оглянулся тот. – Да здравствует кололь? Нет, да здравствует кололева!

– Да вы про кого?..

– Пло Сонечку Соголеву – она лучше всякой кололевы... Наплаво во двол, к клыльцу! – вы-

сунулся Левушка из кареты, показывая кучеру подъезд Соголевых.

Они приехали.

– Вот что, Торусский, – сказал князь Иван Левушке, выходя из кареты, – вы не проговоритесь как-нибудь, что я был сегодня у французского посла. Слышите?..

– Холосо! – согласился Левушка.

III

Князь Иван не ошибся, жалея расстроить свое хорошее, приподнятое настроение возвратом к будничной жизни, и хорошо сделал, что, придравшись к придуманному им предлогу, поехал к Соголевым. Этот визит не только не испортил его настроения, но, напротив, еще больше приподнял его.

У Соголевых, живших в сравнительно дешевой наемной квартире, с маленькими комнатами, было, конечно, гораздо беднее, чем в доме французского посла, но дух порядочности и приличия царил в них одинаково во всем и вполне.

Князя Косого с Торусским приняли очень любезно мать и обе дочери. Но только вот что сразу бросилось в глаза князю Ивану: не то

что хозяйкою, но, так сказать, центром этой царившей у ней порядочности и изящества была не Вера Андреевна, не младшая ее дочь, но старшая – Соня, которую он единственно помнил, то есть хорошо помнил, так что мог узнать, где бы и когда бы ни встретился.

И оттого ли, что он уже давно не был в обществе светских девушек, или уж его настроение было таково, но он, опустившись в кресло после приветствий у Соголевых, почувствовал себя очень хорошо.

– Вот как! Вы перебрались к нам, в Петербург? Навсегда? Надолго? – обратилась к князю Ивану Соня, улыбнувшись своею особенною улыбкою, казавшеюся, благодаря ее родинке на щеке, немножко вбок, что и составляло самое прелесть.

«Надолго», – хотелось ответить князю Ивану, но он вспомнил, что должен был сказать совершенно обратное, и, потупив глаза, ответил:

– Не знаю; может быть, придется скоро уехать...

Странное дело: ему вдруг, при виде ясных, светлых глаз Сони, как-то совестно стало пря-

мо солгать ей.

– Как? Лазве вы уезжаете? – с неподдельным удивлением спросил Левушка. – Когда же вы лешили?..

– Сегодня утром, – ответил князь Иван, выразительно взглянув на Левушку.

Тот понял и замолчал.

Затем начался общий разговор, в котором принимали участие и сама Соголева, и Дашенька, сидевшая в кресле в стороне, говорившая, правда, мало и больше вскидывавшая глазами, останавливая удивленный взгляд, и Левушка; но все их слова совершенно стусевывались для князя Ивана пред тем, что говорила и делала Соня.

Она, собственно, не говорила и не делала ничего особенного, сидела на небольшом диванчике спокойно, тихо и так же спокойно и тихо выслушивала до конца то, что ей говорили, и отвечала, не перебивая и не торопясь, изредка освещая, да, именно освещая все кругом себя своею улыбкой. И Косой видел, что как-то выходит так, что он сам говорит только для нее и слушает только ее.

Говорили о вещах, разумеется, интересно-

вавших всех в то время: о неожиданно начатой шведами войне, о персидском посольстве, которое присылает шах в Петербург с подарками и несколькими живыми слонами, об Остермане, о неудобствах и дороговизне жизни в Петербурге.

Князь Иван, как недавно приехавший, не мог сообщить никаких местных новостей и слушал то, что ему сообщали, но зато, когда заговорили о Петербурге, как о городе, он высказал свое впечатление и рассказал о Париже. И этот рассказ доставил ему большое удовольствие, потому что он видел, что Соня слушает с интересом.

Заговорили и о великой княжне Елисавете.

Вера Андреевна вдруг сообщила поразившую всех новость о том, что она знает наверное, что принцесса Елисавета выйдет замуж за французского принца Конти.

Дашенька, точно проснувшись, взглянула на нее и остановилась. Соня обернулась к ней и тихо сказала:

– Ведь принцессу хотели сватать за герцога Люнебургского, брата принца Антона.

– Это – старая история, – перебила Вера Андреевна, – а я вам говорю последнюю и самую верную новость: она выходит замуж за принца Конти.

– Сто ни день, то нового жениха отыскивают плинцессе! – сказал Левушка.

Князь Иван при словах Веры Андреевны о французском принце первым долгом подумал, не может ли быть этом известии связи с его разговором у Шетарди, но сейчас же сообразил, что, напротив, этот разговор служил явным опровержением сообщения Веры Андреевны. Предполагавшийся брак Елисаветы Петровны с кем-нибудь из иностранных принцев был построен на расчете лишить ее, как жену иностранного принца, всякой возможности занять когда-нибудь русский престол, устранить ее, так сказать, окончательно; между тем Шетарди действовал, по-видимому, совершенно наоборот. Не мог же он в самом деле одновременно поддерживать Елисавету в России и думать о браке с иностранным, хотя бы даже и французским, принцем!

– Нет, – сказал князь Иван, – Могу вас уверить, что вы ошибаетесь: уж за кого угодно

можно выдавать принцессу, но только не за француза. Это я могу вам сказать наверное...

– А я вам говорю, – заспорила Вера Андреевна, – что знаю наверное...

– Да ни за кого она не выйдет, – попробовал вставить Левушка, – она ведь и гелцогу Люнебулгскому ответила так...

– Ну а я вам говорю, – настойчиво повторила Вера Андреевна, не желая сдаться, – что она будет за принцем Конти. Хотите знать, откуда я знаю это? Извольте: госпожа Каравак, жена придворного живописца, говорила это на вечере у Творожниковых.

Князь Иван пожал плечами и ничего не мог ответить, потому что Вера Андреевна, желая, чтобы так или иначе последнее слово осталось за нею, вскочила с места и перешла к окну. Вообще она в продолжение получаса, что сидел у них Косой, раз пять вскакивала и опять садилась, шурша и размахивая своими юбками.

В один из этих разов Соня встала, чтобы, кажется, показать князю Ивану с этажерки настоящую саксонскую чашку – один из остатков величия ее бабушки, и князь Иван

слышал, как мать, встретившись с ней у стула у окна и поправляя этот стул, сказала ей на ухо по-французски:

– Вечно вы перевернете всю мебель, за вами камердинеров нет...

Соня не шелохнулась и только взглянула на мать, и по этому взгляду, которым обменялись они, в особенности по тому, как взглянула на дочь Вера Андреевна, Косому сразу стали ясны отношения Соголевой к своей старшей дочери. Но он, конечно, и вида не подал, что заметил что-нибудь, и, как ни в чем не бывало, стал рассматривать саксонскую чашку.

После этого они пробыли недолго у Соголевых, но князь Иван, догадавшийся о «секрете» их семейных отношений, уже помимо своей воли следил за Верой Андреевной именно в этом отношении, и в каждом ее слове, взгляде и движении видел подтверждение сделанного им наблюдения.

– Ну сто, не плавда ли, холоса? – спросил Левушка у Косого, когда они снова сели в карету, чтобы ехать домой.

Князь ничего не сказал, а только кивнул

головой. Ему в эту минуту опять вспомнилась аллея в их деревне и как они шли тогда. Соня нисколько не изменилась с тех пор, лучше стала... и руки такие же, точеные...

– А эта вторая... – сказал князь Иван. – Что она? Совсем не похожа на сестру; китайский божок какой-то...

– Китайский божок!.. – подхватил Левушка со смехом. – Именно китайский божок. Отлично! Это надо лассказать.

IV

Соня, с тех пор как стала жить у матери, так редко испытывала удовольствие, что едва ли даже оставались в ее памяти часы, на которых она могла бы остановиться в воспоминаниях без огорчения, боли и обиды.

Самое лучшее в ее воспоминании были часы, проведенные ею в одиночестве, у себя в комнате. Иногда они проходили в мечтах, уносящих ее далеко в будущее, иногда и они были болезненны, но все-таки оставляли хороший, приятный след на сердце. Сегодня, однако, Соня была безотчетно довольна и собой, и судьбою.

Конечно, она ни за что не призналась бы

даже самой себе, даже в тайнике самолюбивой души, что она довольна была приезду к ним князя Косого. Он приехал, он помнил ее. Он недаром послал ей поклон через Торусского. Так, словами, она не думала этого, но чувствовала и знала, что это было, верно, верно по тому, как смотрел на нее, как говорил с нею князь Иван и как он близко наклонялся к ее руке, когда она ему показывала бабушкину чашку.

Когда князь и Торусский уехали, она прошла прямо к себе в комнату и села за пяльцы вышивать золотом по бархату – работа, которою она ограждала себя на целое утро, когда никого не было, от вторжений и налетов матери. Ее шитье потихоньку, под громадным секретом и тайной, продавалось старою няней в магазин, где платили довольно дорого, и выручаемые за это деньги шли на увеличение общего бюджета дома. Поэтому Соня требовала одного только – чтобы ее оставляли во время работы в полном покое.

Денег у них это время было мало, значит – требовалась усиленная работа с ее стороны, но сегодня она не могла работать, как обык-

новенно. Она была слишком рассеянна, иголка не слушалась ее.

Она и Косой в своем разговоре ни единым намеком не напомнили друг другу о своих встречах и знакомстве в деревне. Но этого и не нужно было. Соня знала, что она и князь Иван не могут не помнить об этом, хотя в этих встречах и в этом знакомстве не было решительно ничего особенного, и поняла также при первом же взгляде на него, что и он знает это.

Князю очень шел его бархатный кафтан. И держался он хорошо, и говорил, и смеялся, и шутил... Куда только, он сказал, ему нужно ехать? Зачем ему ехать? Тут была какая-то неясность, что-то не так.

«Надо будет это выяснить», – решила Соня и задумалась: а что, как она ошибается, и все это ей только кажется и на самом деле нет ничего, решительно ничего нет? Он и в самом деле уедет и все пройдет...

Соня думала так и улыбалась, потому что, в сущности, не верила в то, что думала.

– А вы ничего не делаете, моя дорогая? – раздался в это время французский говор мате-

ри над самым ее ухом.

Вера Андреевна, заглянув к Соне в дверь и увидев, что та забылась над работой с воткнутой наполовину иглой, вошла и окликнула ее.

Соня подняла голову.

– Вы опять ничего не делаете? – повторила Вера Андреевна.

– Отчего же «опять», маменька? – тихо ответила вопросом Соня.

– Оттого что так работа нисколько не по-двинется. Вы почти целые утра ничего не делаете. Одно из двух – или принимать гостей, или работать.

– Но ведь нельзя же было не выйти к ним, ведь это невежливо. Наконец князь Косой познакомился с нами в деревне и был тут в первый раз...

– И очень жаль, что был. Что, он богат?

– Право, не знаю.

– Кажется, его отец все прокутил. И он во-все не симпатичен, груб ужасно и спорит.

– Чем же он груб, маменька?

– Тем, что спорит. Уж если я говорю что-нибудь, то знаю, о чем говорю. Ясно, кажется,

если мадам Каравак говорит...

– Но он ведь и не спорил, а говорил только, так же как и Торусский, как и все...

– Ну, уж позвольте мне лучше знать! Я сразу вижу, что это за господин. Я его больше не велю принимать к себе. Вот и все.

– За что же, маменька?

В до сих пор ровном и тихом голосе Сони слышался не то что признак беспокойства, а чуть заметное внешнее выражение серьезного внутреннего чувства, чуть заметное, но все-таки не ускользнувшее от женского слуха Веры Андреевны.

– Я вам не буду давать отчет в своих поступках, – снова переходя на французский язык, сказала она.

Соня, взглянув на нее, ответила по-русски:

– Как вам будет угодно, маменька.

– Я знаю, что все будет, как мне угодно, – раздражаясь, громче заговорила Вера Андреевна. – Я знаю, что все будет так, как я хочу, а не вы, понимаете... так и запишите это!.. – и, должно быть, чтобы сейчас же на деле доказать, что все «будет так, как она этого хочет», Вера Андреевна наклонилась над пальцами с

работой Сони и, взглянув попристальнее, проговорила, обводя пальцем край узора: – Это никуда не годится; криво, совсем криво; нужно распороть и переделать.

– Маменька, – дрогнувшим голосом ответила Соня, – ведь это по крайней мере два дня работы...

– Ну что ж из этого? Хоть бы месяц...

– Но я... – начала было Соня.

– Но я, – снова подхватила Вера Андреевна, – говорю вам, что так оставить нельзя; нужно распороть, распороть и распороть.

– Но я не успею исполнить к сроку, – смогла наконец проговорить Соня, – мне сказали, что нужно непременно к четвергу.

Она не упомянула ничего про «магазин», то есть что в магазине сказали няне, что нужно к четвергу, потому что между ними было обусловлено никогда не говорить про магазин. Они стыдились этого даже друг пред другом.

Вера Андреевна поняла, что обстоятельства сложились вполне в пользу Сони; настаивать ей было нельзя, и потому она заявила:

– У вас вечно найдутся возражения! Делай-

те, как хотите, но только это ни на что не похоже, криво, косо – черт знает что... и вечные оправдания... Вы – дурная дочь, да, дурная дочь.

– Нет, маменька, я – не дурная дочь, – спокойно ответила Соня. – Вы не знаете, что значит дурная дочь.

Вера Андреевна повернулась, как бы не слушая, и, крепко хлопнув дверью, вышла из комнаты.

V

– Ну, сто ж, ласказывайте, однако? – спросил Левушка у Косого, когда они остались вечером вдвоем.

Целый день им мешали. К Левушке, как нарочно, заезжали по разным делам и просто так, посидеть, молодые люди.

Но князь Иван не выходил к ним. В этот день план него окончательно созрел.

Он распорядился, чтобы собрали одежду нищего и привели ее в порядок, съездил к парикмахеру и заказал себе подходящий парик, – словом, устроился так, чтобы быть как можно скорее готовым.

– Ну, ласказывайте! – повторил Торус-

ский. – Как же это так? Вы плосите, чтоб я не плоговолился о том, сто вы были у Шеталди, и вместе с тем говолите, что вы уезжаете. Тут сто-то есть, недалом...

Князю Ивану вовсе не хотелось рассказы-вать Левушке все подробности, но ответить все-таки было нужно. Солгать, выдумав что-нибудь подходящее, Косой не умел.

– Вот, видите ли, – заговорил он, – дайте мне честное слово, что вы не проговоритесь ни под каким видом.

– Даю слово, – сказал Левушка.

– Ну, так вот. Мне нужно некоторое время остаться так, чтобы никто ничего не знал обо мне. Значит, я вас попрошу говорить всем, если бы спросили обо мне, что я уехал, словом, что меня нет в Петербурге.

– Зачем же это?

– Так надо.

– Я знаю, сто так надо. Но пли чем же тут Шеталди?

– Тут не один Шетарди, тут дело идет о великой княжне Елисавете, – сорвалось у князя Ивана, и он тут же пожалел, зачем это сорвалось у него.

– О великой княжне? – протянул Левушка. – Вот сто! Значит, правда, что французский посол хотел совлатить ее...

– То есть как совлатить?

– А так... Сто он вам говолил?..

– Французский посол – друг великой княжне; он хочет оказать поддержку ей. Я сегодня имел случай вполне убедиться в этом.

– Так кому же вы служить будете? – спросил опять Левушка.

– Как кому? Разумеется, великой княжне.

– Но по уговолу французского посла. Нет, тут сто-то не ладно.

– Как не ладно? Что ж тут может быть неладного? Шетарди – безусловно рыцарь и хочет постоять за право и правду, а право и правда на стороне великой княжны. Шетарди хочет помочь ей, и для того ему нужен помощник, который служил бы, так сказать, передатчиком...

– Значит, вы будете все-таки ему служить?

– То есть не ему, а дело тут общее, хорошее и честное дело...

Князь Иван тут только заметил, что ему как будто приходится оправдываться в чем-

то, точно слова Торусского, что «тут что-то неладно» имеют свою долю справедливости.

– А я бы ему в молду дал! – заявил вдруг задумчиво Левушка. – Ну, чем он может помогать великой княжиие, а? Вы знаете, как она смотрит на таких помощников? Вы знаете? Нет? Ну, так я вам ласкажу. Плиходит к ней однажды Миних и говолит, сто он готов возвести ее на плестол, пусть только она ему прикажет это, и стал пред ней на колена. Знаете, сто она ответила ему на это? «Ты ли тот, котолый колону дает, кому хочет? – заговорил Левушка, становясь в позу. – Я ее и без тебя, ежели пожелаю, получить могу». Так вот какова великая княжна! А Шеталди тут путается вовсе не из-за того, что хочет постоять за плаво и плавду. Его ласчет ясен.

– Какой же у него может быть расчет?

– Какой ласчет? Очень плосто! Мы подделживаем в насей политике Австлию, ослабления котолой всеми силами ищет Фланция. Это ей для всей Евлопы нужно. Ну вот, тепель, значит, Фланция ищет тоже насего ослабления, потому что мы подделживаем Австлию, и натлавляет на нас Тулцию и Све-

цию. Тепель Швеция нам объявила войну. А она – союзница Фланции, значит, нужно ей помочь. И вот Шеталди хочет, чтобы вызвать у нас, внутли госудалства, замешательство и неулядицу, пелеволот...

– Да какое же замешательство, когда все на стороне великой княжны более, чем были на стороне регентши, когда она арестовала Бирона? Если случится переворот, то он должен произойти так же тихо, как и арест Бирона.

– Алест Билона – не пелеволот. Мало ли сто может случиться! Наконец Шеталди не знает, сто все на столоне Елисаветы Петловны. Ему бы только воду замутить. Это главное. И дело выходит отнюдь не чистое, как вы говолите. Это вовсе нехолосо со столоны Шеталди... Ему все лавно, сто будет с великой княжной – лись бы только затеять у нас неулядицу. Вот он и путается...

Князь Иван задумался. Теперь он уже не жалел, что разговорился с Левушкой. Наконец он спросил:

– Но как же сама великая княжна? Ведь она, видимо, ничего не имеет против сношений с Шетарди. Шетарди мне прямо указал на

Лестока...

– Да какие же тут могут быть сношения? Ну, самое большее, сто великая княжна возьмет, если ей понадобится, денег у фланцуза, вот и все. Возьмет в долг, а потом отдаст. Вот и все.

Левушка казался правым. Они проговорили еще довольно долго, и когда князь Иван остался один, то стал подробно и обстоятельно вспоминать и разбирать весь их разговор. Того радостного настроения, которое он испытывал сегодня с утра, у него уже не было. Правда, он далеко еще не убедился в справедливости Левушкиных соображений, но все-таки чувствовал, что Торусский прав. Его, князя Ивана, втягивали в игру, именно в игру, где не было ясности и определенности действий, а требовались подвохи, подвохи и обходы. Это уже было несимпатично. Затем было нехорошо, что он, русский дворянин, становился на сторону чужих, французов, в сущности наших неприятелей, и являлся пред великой княжной как бы их представителем.

Если бы ему сказали, что вот надо идти туда-то и умереть за великую княжну, сделав то-то и то-то, он пошел бы, не сомневаясь и не

раздумывая, но здесь ничего такого не было прямого и откровенного. Тут нужно было подумать, потому что вдруг явились возражения Левушки, который, может быть, и не знал, что говорил вещи весьма важные и веские для князя. И князь Иван думал и соображал, и, чем больше думал, тем больше развивалось в нем чувство недовольства собою за сегодняшнее утро.

Одно только было действительно хорошо сегодня утром – это Соголевы, то есть полчаса, проведенные у них.

И на этом воспоминании о Соголевых князь Иван заснул тихо и спокойно.

На другой день он, убедившись окончательно, как ему следует поступить, поехал к Шетарди и наотрез отказался принимать от него какие-либо поручения.

Глава пятая. Ополчинин

I

Ополчинин не только думал, что ему везет в жизни, но и несокрушимо верил в это.

И действительно, все у него всегда выходило гладко и не приходилось ему почти никогда задумываться ни над чем.

Будучи зачислен солдатом в гренадерскую роту первого гвардейского полка – Преображенского, где сами государи были полковниками, Ополчинин встал сразу на хорошую дорогу и с большою гордостью надел свой мундир. Кутежи, предшествовавшие и последовавшие за этим важным в его жизни событием, настолько стоили ему дорого, что денег у него почти не осталось. К тому же он в один вечер проиграл порядочно. Но Ополчинин не унывал, ходил пить в долг, рисковал иногда ставить на карту, не имея ничего в кармане, проигрывал, отыгрывался, а иногда и выигрывал, но не серьезно, а так – пустяки, которые у него тут же и расходились незаметно. Большую, серьезную игру, конечно, нельзя было вести без денег.

Мало-помалу это стало скучно Ополчинину. Нужно было непременно достать денег. Где только, он не знал.

И вот тут, как ему только стало скучно без денег, они и пришли, и самым неожиданным для Ополчинина образом, и из такого источника, на который он никак уже не мог рассчитывать.

Это случилось в первый же раз, как ему пришлось идти в караул во дворец.

Одна из его смен пришлась на внутренние комнаты, и его поставили у дверей проходной галереи на одиночный пост.

Убранство дворца с его зеркальными окнами, расписными потолками и штучными паркетами, с богатою штофною мебелью, опьяняюще подействовало на воображение Ополчинина. Он стоял, не шевелясь, на часах, как это требовалось по правилу и, казалось, был точно каменный, неживой человек, но его мысли нельзя было сковать никакими правилами. Он стоял и думал. Галереи и залы дворца наполнялись в его воображении придворными, зажигались свечи в люстрах и кенкетах, слышался говор нарядной толпы, и среди этой толпы был он, но не солдат на часах у дверей, которого никто не замечает, а такой человек, на которого все смотрят, все обращаются к нему и все его знают... Что ж, разве так трудно выделиться, разве так трудно выйти в люди? Вот хотя бы их адъютант Грюнштейн. Он просто – сын саксонского крещеного еврея, приехал в Россию восемнадцати лет, стал

торговать, расторговался. Поехал в Персию, много видел на своем веку. Говорят, там прожил одиннадцать лет. Составил огромное состояние, даже богатство. Задумал вернуться в Россию. По пути его ограбили астраханские купцы, избили его в степи, отняли все и оставили лежать замертво. Попал он к татарам, бежал от них, добрался до Петербурга, поступил в полк, и вот теперь адъютант, на дороге... Он сразу приблизил к себе Ополчинина, выбрал его, так сказать, и уже дает кой-какие поручения, и эти поручения, если только Ополчинин будет исполнять их, как надо, могут повести к большому благополучию. Разве не все вероятия за то, что великая княжна Елисавета взойдет на престол, и скорее, чем думают многие, а тогда...

По галерее послышались шаги, и Ополчинин увидел приближавшегося принца Антона, мужа правительницы, в сопровождении русского генерала. Ополчинин молодецки отбил ружейный прием, отдавая честь, и вытянулся окончательно в струнку.

Принц шел, разговаривая с генералом, который не совсем бойко отвечал ему по-немецки.

ки. Поравнявшись с Ополчининым, принц вдруг остановился и, раскрыв рот, заикнулся.

Ополчинин по взгляду, которым, выпучив глаза, смотрел на него генерал, понял, что заикание принца относится к нему, Ополчинину. Легкая дрожь пробежала по его спине, он вытянулся еще сильнее и с томительным ожиданием ждал, когда принц, как известно, сильно заикавшийся, кончит свой вопрос, чтобы узнать поскорее то, что у него спрашивали или говорили ему.

Оказалось, принц Антон желал узнать, давно ли служит молодой часовой в полку. Ополчинин ответил. Тогда принц стал спрашивать очень ласково и милостиво, нравится ли ему служба и доволен ли он обстоятельствами.

– Верно... для начала ча-асто бывает затруднение... – сказал принц.

Ополчинин опять ответил, что служба нравится, что он всём доволен, а затруднения преодолевает по мере сил.

– А в деньгах? – спросил принц.

Тут Ополчинин, осмелевший от милостивого обращения к нему, согласился, что за-

труднения в деньгах преодолеть ему бывает подчас трудно.

Тогда принц Антон стал говорить, что он, как генерал-фельдмаршал, – «отец» всем солдатам и потому готов всегда прийти им на помощь, и, чтобы доказать это на деле, жалуется часовому, ему, Ополчнину, солдату из дворян, сто червонцев.

Сказав это, принц Антон, не выслушав даже благодарности, проследовал дальше, видимо, очень довольный собою, а Ополчинин остался стоять в некотором недоумении: наяву или во сне случилось все только что происшедшее?

Поступок принца вышел неловок, однако был совершенно понятен и объясним. Дело было в том, что принцесса Елисавета Петровна постоянно благодетельствовала гвардейским солдатам, в особенности гренадерской роте преображенцев. Она крестила у них детей, делала подарки, входила в их нужды и оказывала им всякую поддержку в беде. Она делала это от души, умно и тогда, когда это действительно требовалось обстоятельствами. Солдаты понимали и ценили ее ласку и

чуть не боготворили ее. При дворе знали об этом и были сильно недовольны, однако мерами строгости действовать боялись. Еще при Бироне хотели ввести свой немецкий элемент в гвардейские полки, пополняя их чужеземцами, но эту меру провести было очень трудно, потому что в полку немцам житья не было и никто туда не шел. Оставалось попробовать поступать так же, как действовала Елисавета Петровна, то есть щедростью. И вот принц Антон «попробовал», причем на свое счастье попал ему под руку обезденеживший Ополчинин.

Принц Антон рассудил, со своей точки зрения, казалось, верно, то есть выказал крайнюю щедрость молодому, недавно вступившему в полк, солдату, значит не заостенелому еще в преданности Елисавете и могшему повлиять на своих молодых товарищей в пользу двора, составить как бы оппозицию старым – безусловно уже преданным Елисавете. Но так как поступок принца был несамостоятелен, то, как и всякое подражание, явился пересолом. Деньги достались ни за что ни про что кутиле Ополчинину, и вышло смеш-

но.

Оставшись один на часах, Ополчинин стоял и сам едва удерживался от смеха, почти не веря тому, что получит обещанные сто червонцев. Но он их получил. После его смены в караульное помещение явился бывший с принцем генерал – он оказался Стрешневым, шурином Остермана, – принес сто червонцев и начал расхваливать принца и его жену, говоря, что вся Европа уважает их, что доказывалось небывалым съездом иностранных послов в Петербург, великая же княжна легкомысленна, и, кто не хочет попасть в беду, тот должен держаться не ее, а настоящего правительства. Однако весь этот эпизод был несомненным признаком слабости этого правительства. Так это и поняли потом в партии великой княжны.

II

На этот раз это было уже несомненно. Князь Косой шел с Царицына луга, от Остермана, которому подавал прошение о зачислении себя на службу по дипломатической части, чтобы быть посланным куда-нибудь за границу к посольству (покончив с Шетарди,

должен же был он предпринять что-нибудь, и вот он с Левушкой придумал эту комбинацию), он шел и вдруг на одном из поворотов, подняв голову, увидел пред собою, шагов на двадцать впереди, хорошо уже знакомую ему теперь фигуру все того же старика-нищего, не дававшего ему покоя. Но на этот раз он не мог уже ни ошибиться, ни поверить в то, что ему только почудилось. На этот раз старик шел впереди его на двадцать шагов расстояния и действительно шел, стуча по деревянной панели своей палкой и деревяшкой на ноге. И мундир на нем и картуз были подходящие, и волосы седые на обе стороны.

Сначала князь Иван приостановился, словно все-таки хотел проверить себя, не мерещится ли ему. Но нет, старик шел и торопился, хотя подвигался медленно, неловко ступая своей деревяшкой. Князь хотел было догнать и заглянуть ему в лицо...

«Да не может быть, чтобы это был наш старик! – думал он. – Ведь мы с Торусским всего неделю тому назад похоронили его в чистом саване и в свежевыдолбленной колоде. Разумеется, не может быть!»

Но князю Ивану была неприятна та смесь видения с действительностью, которая как бы дразнила и раздражала его.

«И чего он вечно попадается мне? – думал он со злобою, идя сзади и почему-то, как бы помимо своей воли, стараясь так соразмерять свой шаг, чтобы расстояние между ними постоянно оставалось одно и то же. – И почему он попадается мне, а другим не попадается?.. то есть попадается – вот лавочник посторонился и дал ему дорогу, – но они его не замечают, не обращают внимания на него?»

Один раз князь даже поймал себя на том, что следит, действительно ли все замечают старика-нищего и сторонятся или проходят через него, как через чисто световое, а не физическое явление. Но старик шел как надо, и никто не «проходил» через него.

«Нет, надо будет отвлечься, перестать думать», – убеждал себя князь Иван, но, убеждая себя, все-таки шел по следам нищего, не позволяя себе обогнать его.

Однако случайно было так, что их дороги совпадали: старик вел князя Косого к Адмиралтейской площади, через которую и без то-

го князю нужно было пройти.

На площади старик зашагал скорее, так что Косой отстал от него немного больше, но все-таки не терял его из вида.

Старик был уже почти на середине площади, когда князю Ивану снова пришла шальная мысль:

«А вдруг как он возьмет да исчезнет так вот, среди площади?.. Что тогда?..»

Старик в это время свернул вбок от того направления, по которому нужно было идти князю Ивану.

Косой остановился. Ему было интересно, что ж дальше будет, куда пойдет старик.

Тот пошел прямо к низенькому одноэтажному домику, прилепившемуся сбоку площади, на котором красовалась вывеска бильярдного дома. Князь Иван смотрел во все глаза. Старик подошел к крыльцу бильярдного дома, оглянулся несколько раз, быстро шмыгнул в дверь крыльца и исчез в доме.

Князь Иван, не раздумывая, тоже повернул и наискось пошел по площади к этому дому. Он думал, выиграл расстояние, но, оказалось, ошибся, сойдя с мощеной дороги и попав в

вязкую грязь никогда не высохавшей площади. Чуть не завязнув в этой грязи, он должен был выбраться вновь на мостовую, дойти до протоптанной тропинки к бильярдному дому и пробираться по ней.

Не отдавая себе хорошенько отчета в том, что делает, князь, войдя на крыльцо, отворил стеклянную дверь в просторные сени с такою поспешностью, точно рассчитывал захватить или застать еще там старого нищего. В сенях никого не было. Другая стеклянная дверь вела из них направо в комнаты для посетителей.

Откуда-то сверху, с лестницы с мезонина, сбежал подросток-побегушка, попытавшийся юркнуть мимо князя Ивана в эту дверь. Косой остановил его.

– Что вы, какие тут нищие? Я никакого старика не видел! – быстро заговорил подросток на вопрос князя Ивана о старике и, двинувшись вперед, гостеприимно распахнул внутреннюю дверь: «Пожалуйста, дескать, милости просим, а народ не задерживайте!»...

В первой, открывшейся за стеклянной дверью, комнате было накурено, и в этом дыму

виднелась стойка буфета с дремавшим за нею хозяином, а дальше, через отворенную дверь из следующей комнаты слышались голоса и доносилось щелканье шаров.

При входе князя Ивана хозяин – по виду иностранец – кашлянул, и голоса притихли.

Косой вошел и, приблизившись к стойке, стал расспрашивать хозяина о старике-нищем. Он хотел теперь непременно дознаться о нем, так же безотчетно, как иногда, бросив куда-нибудь камень и не попав, будешь все бросать и не успокоишься до тех пор, пока не попадешь в намеченную цель. Но, сколько ни добивался Косой, хозяин делал только глупые глаза и отвечал, как бы даже пугливо, что никаких нищих к нему не ходит, и он не может даже понять, что от него хотят.

– Да это – Косой, это – князь Косой! – слышался в это время шепелявый голос Левушки, выходявшего из бильярдной комнаты. – Ничего, это – свой.

Только оглянувшись и увидев улыбающееся, курносое, знакомое лицо Левушки, князь Иван окончательно опомнился, и ему стало неловко; но вместе с тем он был внутренно

как-то рад, что именно Левушка, а не кто-нибудь другой, попался ему в эту минуту.

«Слышал он или нет, что я опять спрашивал про этого нищего?» – мелькнуло у князя Косого.

Однако Левушка, видимо, ничего не слышал. Он размашисто подошел к князю Ивану и, положив ему руку на плечо, заговорил весело и радостно:

– Вот это холосо, что заглянули сюда, вот это отлично!.. Сто ж, в самом деле, все дома сиднем сидеть?.. Ну, пойдёмте, я вас познакомлю!

III

Таким образом князь Иван в этот памятный ему потом и имевший впоследствии на его судьбу влияние день очутился среди компании знакомой Торусскому молодежи, в бильярдном доме на Адмиралтейской площади.

Обрадованный его появлением Левушка, захватив его у стойки, повел к бильярду и стал знакомить с компанией.

Тут были молодой Творожников, Сысоев, двоюродный брат Рябчич, тоже очень молодой и потому старавшийся держаться солид-

нее своих лет человек, с угрюмо молчаливым достоинством и в лице, и в движениях. Было еще несколько человек, и всех их Торусский назвал по именам и фамилиям и представил им князя Ивана.

Они оказались приветливыми и милыми людьми, радушно приняли в свой кружок Косого, налили ему стакан вина и, чокнувшись с ним, занялись, как ни в чем не бывало, своим делом – игрою на бильярде, как бы воочию желая доказать, что их веселое настроение нисколько не испорчено появлением нового человека, на которого они уже смотрят, как на своего.

Князю Ивану ничего не оставалось делать, как усесться со своим стаканом на диван и стараться не быть им помехой, а напротив, по возможности пристать к их компании.

Рядом с ним опустился угрюмый двоюродный брат Рябчич, который вдруг, нахмутив брови, произнес:

– А вы не занимаетесь игрою на бильярде?

Князь ответил, что вовсе не знает этой игры.

– А-а! – произнес, подняв теперь брови, мо-

лодой человек и замолчал, но с таким видом, точно, если бы Косой ответил ему, что умеет играть, он сказал бы ему тогда очень много интересного и глубокомысленного.

Очутившись среди веселой компании, князь Иван как-то почти сейчас же успел забыть показавшийся ему как бы таинственным случай с приведшим его сюда стариком-нищим. Куда и как пропал этот старик, он не задумывался теперь, развлеченный болтовней, окружавшей его. Болтовня была без претензий, и все смеялись и веселились каждому пустяку, высказанному кем-нибудь.

– Шар шаром дуэлетом, – слышался выкрик, и вдруг ко всеобщему удовольствию добавлялось: – В дупло!

И все были рады и смеялись, причем Левушка заливался особенно громко.

Едва только игра на бильярде, прерванная было приходом Косого, возобновилась, как в комнате появился новый человек, и в нем князь Иван сейчас же узнал, несмотря на военный мундир, бывший на нем теперь, того господина, которого ему пришлось остановить на мостках герберга Дмитрича и с кото-

рым он чуть было не подрался серьезно на шпагах.

– Ополчинин, Ополчинин! – раздались голоса навстречу пришедшему. – Ты откуда?

Видно было, что Ополчинин держал себя здесь независимо и до некоторой степени импонировал.

– Постойте, погодите... – заговорили опять кругом. – Нужно же налить ему вина... Эй, хозяин, вина сюда...

Немец-хозяин появился в дверях и, как будто не совсем обрадовавшись новому требованию, остановился и медлил.

– Ну же, сколей еще бутылку! – крикнул ему Левушка.

– Рейнского, шипучего! – приказал Ополчинин.

Немец поднял брови и прищурил один глаз, взглянув на Ополчинина, как бы спрашивая, шутит тот или нет: рейнское шипучее было самое дорогое вино.

Но Ополчинин засунул преспокойно руку в карман, вытащил оттуда горсть золотых и, звякнув ими в горсти, повторил уже более требовательным голосом:

– Я сказал – рейнского шипучего!..

Хозяин, застрявший было в дверях, теперь вдруг, словно его в одну минуту маслом смазали, поспешно исчез.

Между тем Ополчинин выложил свою кучку золотых на бильярд и, рассыпав их рукою, снова проговорил:

– Ну, господа, угадайте, откуда у меня это золото?

«Золото? И правда, золото! Что ж, из дома прислали?» «Выиграл?» «Наследство получил?» «Клад нашел?» – раздались восклицания.

– Ф-ю-ю, – свистнул Ополчинин, – не угадать вам! Сколько головы не ломайте – ни за что не угадаете... Золото, как золото, а оно особенное...

– Ополчинин философский камень насол и золото делает – вот оно сто!.. – сказал Левушка.

– Не мешай, – остановил его Ополчинин. – Деньги я получил не более, не менее, как из дворца... от самого принца Антона.

– Что он врет, господа!..

И все, как были, кто с кием, кто со стака-

ном, столпились вокруг Ополчинина. Даже угрюмый двоюродный брат Рябчич, покинув князя Ивана на диване, подошел к бильярду и стал рассматривать золотые, точно это были не деньги, а достойный высшего любопытства предмет из кунсткамеры.

– Нет, я не вру, – стал уверять Ополчинин, – это сущая действительность и истинное происшествие... Я стоял на часах и, разумеется, внутренне ругался – понимаете, мне, преображенскому солдату, вдруг стоять на часах, и где же? – охранять врагов великой княжны Елисаветы Петровны! Вкусно это, как-ково вам покажется, а? мне-то, солдату русской гвардии...

По всему было видно, что Ополчинин чванился своим мундиром и солдатством и приерженностью великой княжне.

– Ну, хорошо, дальше-то что? – спросили его.

– Ну вот, я и стою! И так мне гадко, – Ополчинин забыл уже в эту минуту, что тогда ему вовсе не было гадко, – так гадко, что просто не знаю, что делать и как быть мне; просто хоть с поста иди домой... Только вдруг идет принц

Антон, а с ним генерал Стрешнев, шурин Остермана. Принц остановился предо мной...

И Ополчинин очень смешно в лицах представил, как принц Антон остановился пред ним, заикался, и как из этого заиканья вышло то, что ему, Ополчинину, пожаловали сто червонцев.

– За сто ж это он дал их тебе? – спросил наивно Левушка.

– «За сто ж?» – передразнил Ополчинин. – А за то, что он вот хочет приобрести этим сторонников себе в полку. Только мелко плавает – пятки видны, награду-то я взял, ну а там насчет приверженности – это еще посмотрим.

– Я бы не взял! – решил Левушка.

– Ну а я взял, вот и все – и выпью на эти деньги первым делом за здоровье великой государыни, княжны Елисаветы Петровны! Вот и хозяин с вином!..

В это время действительно появился хозяин, торжественно неся бутылку шипучего рейнского. Вслед за ним на большом подносе мальчик тащил высокие стеклянные стаканы на ножках.

Князь Косой, уже с момента прихода Опол-

чинаина решивший незаметно уйти, до сих пор не мог сделать этого, потому что дорога от него к двери была занята. Но теперь место освободилось, и он поспешил проскользнуть вон.

– Куда вы, куда, зачем? – остановил его Левушка, хватая за руку. – Ну вот!.. Сто за вздол! Уходить?.. Мы вас не пустим... Ополчинин – в сущности холосий палень. Вы должны выпить за здоровье великой княжны; наконец даже неловко уходить от вивата!..

Косому, раз его заметили, и вправду неловко было уходить от тоста, точно он не разделял его. Ему пришлось взять из рук Левушки стакан с ополчининским вином, поднять его и выпить, когда Ополчинин прокричал громким голосом:

– Здоровье государыни великой княжны Елисаветы Петровны!..

– Виват! – гаркнули все и, подняв бокалы, залпом выпили их.

Князь Иван велел тут же принести другую бутылку шипучего рейнского за свой счет, чтобы не оставаться в долгу.

Расходившийся Левушка стал знакомить

его с Ополчининым, и тот, как ни в чем не бывало, протянул князю руку и поздоровался, глянув ему прямо в глаза.

Князь Иван видел по этому взгляду, что Ополчинин отлично узнал его, но как бы сказал при этом, что считает все происходившее с ним до военной службы, до того, как надел он мундир, давно уже прошедшим и забытым, потому что теперь он стал другим человеком.

«Как угодно! мне все равно... не будем вспоминать», – тоже взглядом ответил князь Иван.

Ополчинин весело обернулся к товарищам и выразил неперемнное желание участвовать в игре.

– Ну-ка, солдатская косточка! – сказал он, с треском ударив первый шар, и сделал промах.

IV

По чьему-то предложению и, главное, по настояниям Левушки, сейчас же ухватившегося за эту мысль, решили не расходиться сегодня, а обедать всем вместе; если можно, то тут же, в бильярдном доме.

Компания так крепко заняла этот дом, что двое из посторонних посетителей, сунувшиеся было с улицы сюда, заведев пьющее общество, поспешили скрыться. Вообще день был будничным, и никакого наплыва публики не могло быть.

Молодой Творожников отправился послом к хозяину и, вернувшись оттуда, принес более чем утешительные известия: хозяин не только соглашался накормить всех обедом, но даже обещал, что обед будет очень вкусен, потому что будет состоять из габер-супа, шнельклопса, жареной рыбы и таких занд-кухенов, которых «общество» никогда не едало, потому что их умеет делать во всем околотке одна только Амалия, его, хозяина, жена.

Опять застучали шары на бильярде, опять появилось вино, и прежнее веселье снова охватило всех.

Усевшись снова на диван с новым стаканом в руках, князь Иван почувствовал такую лень, что ему не хотелось не только двигаться, но даже думать. Он стал машинально следить за игрою, сознавая вполне, что вино, которого он давно не пил, действовало на него

сегодня, но вовсе не неприятно; напротив, охватившая истома нежила его и грела.

Двоюродный брат Рябчич, почувствовавший непреодолимую симпатию к нему, уселся опять с ним рядом и, сжимая губы, краснел и обливался потом, все что-то желая высказав Косому, но так и не высказал ничего вплоть до самого обеда.

Когда подали обед и как, собственно, появился круглый, накрытый белой скатертью, стол с тарелками, стаканами и дымящейся миской с габер-супом, Косой не заметил хорошенько. Да ему и не нужно было этого. Подали – и хорошо! Он встал, улыбнулся подошедшему к нему Левушке и пошел с ним к столу. Все сели. Князь Иван помнил, что габер-суп ему не понравился, и он ел его лишь из любви. Он попросил воды. Ему принесли со льдом, и это было очень вкусно. Но зато совсем вкусен был шнельклопс, который кто-то называл «клопштосом», и все этому опять очень смеялись.

– Так как же? он так и говорит, что вся Европа уважает их, потому-де, что иностранных министров много? – услышал князь Иван, про-

жевая вкусный кусок говядины, хорошо приправленной луком.

– Так и говорит, – ответил голос Ополчинина.

– Кто это так говорит? – спросил князь Иван.

– А это Стрешнев, – ответил вдруг заговоривший двоюродный брат Рябчич и пояснил, что Стрешнев соблазнял подобными доводами Ополчинина, чтобы возбудить в нем усердие к принцу и правительнице.

– Да уж иностранные-то министры уважают, – оказал князь Иван, – вот граф Линар особенно; этот уж ведь совсем уважает.

Левушка так и покати́лся от смеха при этих словах Косого, а за ним и остальные. И этот общий смех, как бы вдруг окончательно сблизил князя Ивана с тесным кружком, сидевшим за столом, так что, когда принесли знаменитые занд-кухены, то говор стоял уже общий, и деятельное участие принимал в нем голос князя Косого.

После пирожного немец, по-заграничному, принес сыры и бутылку старого сладкого вина. Сыра никто не стал есть, но вино разлили

по рюмкам.

Князь Иван удобно облокотился на спинку стула и вытянул ноги под столом, чувствуя полное довольство после сытного обеда и выпитого вина.

Все шло хорошо до сих пор, и даже Ополчинин, иногда прихвастывавший, правда, в разговоре, не действовал на князя Ивана раздражающе. Косой как бы мысленно даже примирился с ним.

«Ну что же, – думал он, – ну, он тогда сделал глупость, даже гадость, но это оттого, что был не в себе! Ведь они тогда всю ночь пили, вот как мы теперь пьем...»

Разговор мало-помалу наладился на тему о трусости, храбрости и страхе. Кто-то спросил о том, что каждый из них считает самым страшным.

Начали рассказывать различные комбинации. Один сказал, что ни за что не пошел бы на кладбище ночью. Но это нашли вздором и пустяками. Ополчинин рассказал даже – со-врал конечно, – что ему приходилось назначать свидания на кладбищах, и не только он приходил, но и та, которой он назначал сви-

дания, тоже приходила.

– А вот что, должно быть, страшно, – сказал другой, – если вдруг в то время, как вы объясняетесь с любимой женщиной, кожа ее стала бы прозрачной, как стекло, так что вы увидели бы красное мясо, местами кости... Глазные яблоки, должно быть, страшны тут...

– А на вас никогда потолок не валился? – спросил Творожников.

– Как потолок валился?

– А так вот: вы положим, лежите в постели, а он на вас валится, ниже все, ниже опускается, вот, кажется, задавит... Ужасное чувство!..

Левушка сказал, что он больше всего боится увидеть своего двойника.

– Вдруг, – рассказывал он, – сидишь этак в целом у себя за столом, поднимешь голову, а наплотив тебя сидит твой двойник, тоц-тоц такой вот, как ты, сидит и плосто смотрит и не говолит нищего... Я не знаю, сто бы я сделал...

– Ты бы в «молду дал» ему! – усмехнулся Ополчинин.

Остальные улыбнулись только; смешли-

вое настроение уже прошло.

Дошла очередь до князя Ивана.

– По-моему, – сказал он, когда к нему обратились с вопросом, – самое страшное на лошади ехать верхом... В лунную ночь, на лунном свете и вдруг лошадь обернет к вам голову, оскалит зубы и засмеется, так вот, как человек засмеется... и ряд белых зубов покажет... И ничего нельзя сделать с ней!..

Этот образ раньше никогда не приходил в голову князю Ивану. Он почему-то представился ему только вот теперь, когда его спросили и ему нужно было ответить, но представился с поразительной ясностью во всех подробностях.

«Ну, это от вина», – решил он и спросил себе еще воды со льдом.

– Нет, это все – пустяки, – заговорил вдруг Ополчинин, – всякое привидеться может, а я вот что вам расскажу: пусть попробует кто-нибудь в самую полночь выехать в открытое поле, да так, чтобы ему не было видно ни жилья, ни души человеческой, чтобы возле него никого не было. И вот должен он, один-одинешенек, выехать в поле и три раза громко про-

кричать свое имя, отчество и фамилию.

– Ну и что ж тут страшного? – спросили его.

– Ничего особенного, а пусть кто-нибудь поедет и попробует сделать это.

И вдруг князь Иван, словно его толкнул кто-либо, почувствовал непреодолимое желание сделать наперекор Ополчинину, назло ему, что ничего нет страшного в том, что он говорит. Та антипатия к Ополчинину, которая явилась у него при первой встрече с ним и которая как будто смолкла теперь под влиянием выпитого вместе вина, снова проснулась в нем. Ему даже казалось, что Ополчинин делал именно ему вызов. Он поднял голову и проговорил:

– Я готов хоть сейчас ехать!..

– Виват, Косой! – подхватил молодой Творожников. – Мы сейчас пошлем за лошадьми.

– Позвольте, нужно заклад составить, – заговорили кругом. – Так нельзя, Ополчинин, ты что держишь?

– Двадцать золотых.

– Я отвечаю этими деньгами, – сказал Косой.

– Я держу за Косого, – слышались голоса. – Что за вздор! Конечно, он выиграет zakład...

Однако нашлись и такие, что стали держать против князя Ивана. Они говорили, что условие, предложенное Ополчининым, – не новость, это старинное поверье и что до сих пор никто не мог выполнить это условие.

Разговоры еще больше раззадорили Косого.

Для него сегодняшний день начался странностью появления в бильярдном доме, куда его привел не объясненный до сих пор случай с исчезнувшим нищим, и он даже обрадовался, что мог закончить этот день, оставшись победителем суеверного страха, которым пугали его. У него как-то уже неразрывно связалось начало дня с предполагаемым концом его. Ему главным образом хотелось сделать наперекор Ополчнину и доказать самому себе, что ничего сверхъестественного на свете не бывает.

Глава шестая. Шум лесной

Первый предвестник приближающейся осени – еще не холодный, не резкий, но уже упорный, не сдающий ветер – шумел вершинами темных, шуршавших отяжелевшими от сырости листьями деревьев. Они качались где-то высоко наверху, точно в Нежданном переполохе испуга суетилась живая, трепещущая толпа, почуявшая неминуемую гибель от надвигавшегося врага-опустошителя. Вершины качались, и листья шумели, как бы передавая в своем шуме вести, с каждой минутой становившиеся все тревожнее и тревожнее... Иногда тревога смолкала, и только издали доносился серебристый, грозящий упорною борьбою шорох; но он рос в ту же минуту, набегал и бушевал с новою силой...

Внизу, под деревьями, стояли ночная сырость и темь, таинственно смыкавшая действительные абрисы в прихотливые очертания черных, непонятных для глаза пятен. Эти пятна точно так же двигались и ходили, беспокойные и испуганные поднявшейся нечаянной суматохой наверху. Камень, ствол, куст оживали, точно высовывались, простирали руки, искали и вновь цепенели, как только

попадал на них хотя бы слабый отблеск света.

Этот свет шел сверху, из-за качавшихся темных макушек деревьев, сквозь метавшиеся промежутки меж них, где далеко виднелось высокое, бесстрастное, неподвижное звездное небо с серебристо-белой полосой Млечного Пути...

На небе вызвездило так, что оно казалось как бы все сплошь покрытым блестящими по ровной, холодной синеве уколами, лившими такой же ровный и холодный безлунный свет. Светило небо, и так ярко, что было ясно и без месяца...

Князь Иван всегда любил осень и в особенности хорошее, ясное время в начале ее, когда она начинает лишь мало-помалу овладевать всей природой.

Говорят, природа умирает осенью, это – ее смерть. Однако Косой никогда не чувствовал себя так бодро и ничто не действовало на него так живительно, как осень. Осень – не смерть природы, а верное доказательство ее живучести и вечного обновления. Страдный летний жар, измучивший тяжелой работой разогретую им землю, становится невыносим

в конце лета. Неподвижный воздух начинает давить. Огрубевшая, темная, как кожа, крепкая зелень покрывается пылью. Ручьи и речки текут медленнее, мелеют; кажется, продолжись еще немного, и воздух потеряет способность двигаться, земля не вздохнет, деревья заглохнут и реки высохнут. Да разве это – не смерть? И вдруг, откуда ни возьмись, налетает свежий, крепкий ветерок, отряхает, будит все кругом. Начинает лить холодный, но оживляющий, чистый дождь, чтобы омыть природу после труда и работы пред ее отдыхом, напитать реки и ручьи, напоить жаждущую землю, омыть уже ярко позлащенный багровый наряд дерев, словно облаченных в парчовые ризы после своей будничной зеленой одежды. И все грязное, лишнее, дрянное и ненужное в конце концов уничтожится осенним ливнем и ветром, чтобы осталось одно только живое, сильное и крепкое, заслужившее свой зимний покой, когда оно заснет, нежно укутанное ярко-белой, пухлой постелью царственной зимы.

Князь Иван с особенным наслаждением дышал свежим, ночным воздухом леса, казав-

шимся ему еще более чистым после нескольких недель безвыездной городской жизни и после дня, только что проведенного в душевной, прокопченной табачным дымом комнате бильярдного дома.

Он ехал верхом рядом с Ополчининым, который должен был, по поставленным условиям заклада, сопровождать его.

Условились таким образом, что Ополчинин поедет с Косым за город, в лес, начинавшийся почти вплоть за рекою Фонтанкой; затем на опушке, когда они доедут до открытого места, князь отправится один и, выдержав условия заклада, вернется к тому месту, где его будет ждать Ополчинин.

Лошади шли маленькой рысцой по боковой тропинке, протоптанной напрямки в сторону Смольного двора великой княжны Елисаветы. Ополчинин говорил, что эта тропинка знакома ему, и что тут можно будет выехать на широкую поляну.

С тех самых пор, как они въехали в лес, Ополчинин говорил, не переставая, и хотя в обуявшей его говорливости не чувствовалось определенно робости, но князю Ивану все

время хотелось спросить у него: «Да неужели вы боитесь?»

Ополчинин держал себя как человек, на которого действует возбуждающе новая, способная навести неприятный страх, обстановка. Он говорил без умолку и о том, что лес шумит очень неприятно, и о том, что теперь было бы гораздо полезнее выспаться, и о том, что он никогда в жизни ничего не боится, и даже еще ребенком никогда не боялся входить в темную комнату. И вообще как-то он слишком уж много говорил о том, что должно было доказать Косому его, Ополчинина, смелость.

Князь Иван почти не отвечал, делая это разве, когда уж Ополчинин прямо спрашивал что-нибудь, так что нельзя было не ответить.

Косой дал волю лошади и, вдыхая в себя свежесть воздуха, прислушивался, как к песне, к шуму леса, изредка закидывая назад голову, чтобы взглянуть на ясные звезды.

– А вы знаете, – говорил Ополчинин, – ведь вот тут, в лесах под Петербургом, пошаливают, и очень сильно. Уж сколько указов было! Еще покойная императрица обращала на это

сильное внимание, но ничего сделать нельзя... А, что вы говорите?..

– Я ничего не говорю.

– Ну, впрочем, вот здесь неопасно, но дальше, вверх по Фонтанной, в этот час немногие бы поехали так вот, как мы с вами. Вам не холодно?

– Нет.

– Редкий месяц обходится без того, чтобы в этих местах не нашли кого-нибудь ограбленного, а главное – грабители не стесняются ни положением, ни рангом проезжего, а чуть что – сейчас и того... пришибут... Вы слышите?

– Да.

– Я говорю – сейчас пришибут. А мы много пили сегодня. Славный малый этот Торусский; правда, не то чтобы очень умен, но хороший человек!.. А что вы сделали бы, если бы вдруг на нас напали теперь? Пистолеты с вами?

Князь Иван вспомнил, как в момент их отъезда кто-то шутя напомнил им, что лучше взять с собой оружие на случай «лихих людей», и как они шутя же согласились захва-

тить с собой пистолеты. Нападения на проезжих в ночное время под Петербургом случались действительно часто. Косой при словах Ополчинина о пистолетах невольно попробовал рукой, за поясом ли они у него.

– Я спрашиваю, – повторил Ополчинин, – пистолеты у вас?

– Да.

– У меня тоже. А знаете, я люблю проехаться...

Теперь уже выходило, что Ополчинин «любил проехаться». Что касалось Косого, то он смотрел на их поездку именно как на прогулку, и пока был весьма доволен ею.

– Мне на днях рассказывали случай, – начал было снова Ополчинин, но в это время где-то впереди раздался резкий, пронзительный свист.

И Ополчинин, и князь Иван вздрогнули и невольно натянули поводья. Лошади, тоже обеспокоенные, остановились с поднятыми ушами.

Свист повторился еще резче, и через минуту оттуда же, спереди, послышались голоса.

Князь Иван вдруг пригнулся к седлу и,

крепко ударив лошадь, кинулся вперед; Ополчнин же, хотя и видел, что, сделал князь Косой, сам, не отдавая себе отчета в том, что делает, повернул лошадь и, прижав к ней ноги и скрючившись, понесся назад во весь дух по тропинке обратно в город. Ему казалось, что он слышал сначала голоса, потом раскатившиеся по лесу удары выстрелов, а затем он ощущал лишь быстрый бег своей лошади и неровное, прерывающееся биение своего сердца.

II

Для князя Ивана все, что случилось, произошло так быстро, что он потерял сознание последовательности происшедшего. Он думал, что сначала увидел, прежде чем подскакать к ним, нескольких человек, окруживших двух отбивавшихся от них верховых, а потом поскакал, но на самом деле он кинулся бессознательно вперед, ничего еще не видя, чувствуя только, что так следовало сделать, а потом уже наткнулся на этих людей.

Тропинка на этом месте немножко опускалась, проходя через неглубокий, отлогий овражек; деревья здесь расступались шире и

свет неба свободнее проникал сюда. В той быстроте впечатлений, которую пришлось вдруг испытать князю Ивану, он как бы ощутил чувство не действительности, а сновидения, и притом беспорядочного, ошеломляющего, после которого очнешься и долго еще не знаешь, что это случилось с тобой.

Он видел широкую спину в армяке у морды топтавшейся лошади и отчетливо помнил, как, подскакав, взмахнул плеткой и ударил по этой спине, и как по звуку щелкнувшего ремня слышал, что ударил больно, пробрав по коже, несмотря на армяк; на него в ту же минуту обернулось испуганное его ударом лицо мужика с бородою и сверкнули два глаза. Затем рванулась морда шарахнувшейся лошади, и мужик в армяке полетел навзничь, подняв руки и крича что-то. В это время близко, у самого уха князя Ивана, раздался свист рассекаемого чем-то тяжелым воздуха, и слышался удар по крупу его лошади, которая вместе с тем рванулась и поддала задними ногами. Он инстинктивно понял, что хотели ударить по нему, но не попали и что опасность с этой стороны. Он махнул в эту сторо-

ну плетью и попал ею по чьему-то лицу, глупому и бессмысленному, с широко раскрытым ртом. Удар был противный, неприятный, плеть хлестнула по живому месту, по глазам, может быть. Потом уже князь Иван помнил, что у него вместо плети очутился в руках его пистолет, и очутился вовремя, потому что как раз в эту минуту слева на него надвинулась поднятая рука с длинным ножом. Только и можно было выстрелить, и князь Иван выстрелил, но пред выстрелом услышал крик и стал работать разряженным пистолетом, не заботясь, удачен был его выстрел или нет. Заряжать снова пистолет было некогда, и он, схватив его за дуло, работал им, как кистенем, работал до тех пор, пока не по ком уже было бить. Что происходило в это время, как отбивались верховые, которых он защищал, он не знал, хотя и видел, что они тоже отбивались и стреляли...

Пистолетные выстрелы и появление неожиданной помощи в лице князя Ивана решили дело. Бой был неравный и недолгий, и Косой очутился лицом к лицу с первым из верховых, на вид молодым, красивым и жен-

ственно-юным.

Они глянули друг на друга и улыбнулись, как бы поздравив один другого с избавлением от опасности.

Медлить было нельзя. Князь Иван слышал, что его спрашивают, кто он, но не успел он ответить (он тяжело дышал и не мог выговорить слова), как возле, в кустах, послышался шорох, и верховой быстро сунул в руку князя Ивана кольцо, как он увидел потом, и опять сказал что-то, из чего Косой расслышал одно только слово – «Елисавета». В эту минуту всадники повернули и поскакали прочь, назад.

Князь Иван остался один. Он поглядел на кольцо, но не мог разобрать хорошенько его отделку, сунул его в карман и осмотрелся, нагнувшись на седле на одну и другую стороны: на земле лежал темной тушей человек, без движения, с подогнутыми под себя ногами и неловко повернутой под локоть головой. Кругом чернели кусты; выкорчеванный пенек растопырил, как лапы, мохнатые корни; серым расплывавшимся пятном виднелся камень, а наверху шумели по-прежнему макушки де-

рев, будто и не случилось ничего, или они и не знали, что случилось.

Князь Иван вспомнил про Ополчинина, вспомнил его разговор про разбойников и тут только сознательно понял, что он сейчас дрался с ними и что темневшая на земле туша – не просто мужик, а один из разбойников, от которых Ополчинин, очевидно, удрал без оглядки.

Косой, не торопясь, зарядил пистолет, осмотрел на нем кремень, а также другой свой пистолет, оставшийся у него за поясом без действия, и поймал себя на смешном соображении о том, что в другой раз он непременно не забудет пустить в ход оба пистолета.

Он повернул лошадь и поехал шагом, не думая, что, может быть, тут же, в двух шагах от него, где-нибудь за кустом, сидит спрятанный человек. Не могли же они в самом деле провалиться сквозь землю или исчезнуть.

Но нападавшие действительно исчезли. По крайней мере Косой ехал тихо, совершенно спокойно удаляясь от овражка. Он успел уже окончательно оправиться.

Но – странное дело – сама ли лошадь про-

шла вперёд, или князь Иван, сам того не замечая, послал её, однако она пошла сначала неспешною, но с каждым шагом увеличиваемую рысцой. И вот тут, при том, как лошадь подкидывала на рыси ногами, князь Иван стал чувствовать неприятное ощущение в спине, точно за ним кто-то гнался, и боязнь оглянуться, даже не только оглянуться, но и посмотреть в сторону.

«Что за глупости! – остановил себя князь Иван. – Вздор!» – и он, сделав над собой усилие, придержал лошадь и оглянулся.

Сзади никого не было, никто не гнался.

Но Косой, несмотря на то, что заставил себя оглянуться, все-таки снова пустил лошадь рысью.

III

Князь успокоился вполне лишь тогда, когда выехал совсем из леса. По счастью, тропинка была одна, без своротов, и сбиться было нельзя. Большая проезжая дорога пролегла недалеко от леса.

Глаза князя Ивана настолько уже привыкли к освещению, что он теперь отлично различал местность и, выехав на опушку, легко

нашел дорогу.

И только тут, попав на эту хотя и пустынную, но все-таки проезжую дорогу, он почувствовал себя совсем хорошо. Эта дорога была та самая, по которой он около месяца тому назад подъезжал к Петербургу.

Нужно было дать немного вздохнуть лошади, да и сам Косой чувствовал сильное утомление, и он решил, что остановится у Митрича, хотя бы для этого пришлось разбудить весь дом. Но еще издали, приближаясь к гербергу, князь Иван заметил там свет в окошке, а подъехав, увидел лошадь Ополчинина, которую вываживал пред домом работник Митрича. Косой соскочил с седла, отдал ему и свою лошадь и пошел, разминая ноги, на крыльцо, очень довольный, что может выпить стакан вина, и не один, а все-таки с кем-нибудь. Он чувствовал теперь голод, и ему хотелось пить.

Ополчинин успел уже устроиться очень хорошо, совсем по-барски. Он сидел за накрытым чистою скатертью столом; пред ним стояли на деревянном блюде куски холодной жареной птицы, бутылка вина, сыр, свежее мас-

ло, широкий ломоть хлеба, огурцы, водка, яйца и глиняная чашка с куском сотового меда.

– А вот и вы! – встретил он князя Ивана, как ни в чем не бывало. – А я тут устроился.. Хотите водки?..

Князь Иван сказал, что хочет. Ему в первую минуту как будто было совестно смотреть в глаза Ополчинину, не за себя, конечно, но за него самого. Но тот, нисколько не стесняясь, налил в шкалик водки, придвинул тарелку с яйцами князю Ивану и стал говорить Косому совершенно просто:

– А уж я думал, что вы не вернетесь. Чего вы замешкались там? Разве на вас успели напасть?

– Как напасть? Я сам напал, кажется...

– Ну, это было неосторожно! Почему вы знали, сколько их там человек? И вообще гораздо лучше было поскорее скрыться. Проще!

Косой пожал плечами, выпил водку и стал закусывать. Ясность, с которою говорил Ополчинин, почти даже смутила его самого, и он одну минуту, кажется, подумал: а не прав ли в самом деле Ополчинин? Но затем он, повеселев от водки и принимаясь за отличного гу-

ся, сказал:

– Это не проще было. Не подоспей я – там грех случился бы... Они напали на двух верховых, те отбивались, и мне удалось помочь вовремя.

– На двух верховых? – наморщив брови, строго повторил Ополчинин.

– Ну да! Нам стрелять пришлось.

– Я слышал выстрелы, – сказал Ополчинин. – Ну и кто же эти верховые?

– А вот сейчас узнаем! – и князь Иван достал из кармана полученное им кольцо и, показав его Ополчинину, сообщил, как он получил это кольцо.

Тот долго рассматривал его, несколько раз взглядывая на князя Ивана, и потом вдруг проговорил:

– А ведь это – она... великая княжна Елисавета! Она сама, сомнения нет.

– Неужели? – вырвалось у князя Ивана, и он невольно протянул руку, чтобы взять кольцо обратно.

– Да, это – она, – сказал опять Ополчинин. – Дело в том, что она превосходно ездит верхом, и очень любит ездить по-мужски. Еще в

Москве, говорят, при императоре Петре Втором, она иначе не езжала. Ну а теперь ей это сподручно, потому что нужно иногда выбираться тайно из города, чтобы никто не знал. Она к себе на Смольный двор ездит; там и собираются все. Это – ее кольцо. И нужно же мне было повернуть лошадь!.. Жаль, что меня не было с вами!

Это восклицание вышло у Ополчинина до того чистосердечно и наивно, что князь Иван не мог не рассмеяться. Рассмеялся он и потому еще, что почувствовал веселость, понятную после каждой удачи, а тут для него была удача несомненная. В случае чего – кольцо могло ему сослужить огромную пользу.

– Недурно! – сказал опять Ополчинин. – Да разве вы не узнали ее?

– Но как же мне было узнать? Во-первых, я ее никогда не видал, а знаю только по портрету, и то скверному, а во-вторых, все это произошло так быстро и было так темно, что почти нельзя было разглядеть ничего.

– Значит, и она вас не видала?

– Лицо, вероятно, не могла разглядеть.

– Ну, спросила она что-нибудь? Спросила,

кто вы?

– И ответить я ничего не успел. Я вам говорю, что мешкать тут было нельзя. Им оставалось только повернуть как можно скорее и уехать...

– Да, – сообразил Ополчинин, – до Смольного двора гораздо ближе, чем до Петербурга; конечно, им не оставалось ничего больше делать. Но отчего же вы не поехали за ними?

– Так ведь почему я знал, куда ехать и что там впереди? Вы уехали. Я только и мог вернуться назад...

– Ну, во всяком случае, все это очень счастливо для вас, – заключил Ополчинин и разлил по стаканам остатки вина из бутылки.

Они замолчали, и каждый задумался о своем.

– Ну, едемте, – решил Ополчинин, вставая, – у меня есть пропуск на заставу для двух.

Князь Иван тоже встал.

Они позвали Дмитрича, расплатились, сунули медную монету возившемуся с их лошадьми работнику и, сев в седла, поехали молча в город. Так молча миновали они заставу, проехали предместье и, свернув по

нескольким пустынным закоулкам, выехали на Невскую перспективу.

– Вы куда? – спросил Ополчинин.

Князь Иван чувствовал во всем теле страшную усталость и от утомления, пережитого сегодня, и от непривычки не спать так долго. Он просто падал на седле.

– Я домой! – ответил он.

– А я – в бильярдный дом; там ведь ждут нас. Так что же сказать им?

– Конечно, ничего особенного не нужно рассказывать, – вдруг серьезно заговорил князь Косой. – Раз тут замешана великая княжна, нужно, чтобы весь этот случай остался в тайне.

– Ну, это, конечно, само собой разумеется, в этом можете быть совершенно уверены. Нет, я не про то спрашиваю.

– Так про что же?

– А про заклад. Ведь вы его проиграли.

Тут только князь Иван действительно вспомнил, что проиграл заклад. Проиграл он не по своей вине, но все-таки условия заклада не были исполнены им.

– Хорошо, завтра я пришлю вам двадцать

золотых, – сказал он и простился с Ополчинным.

IV

На другой день Косой без всякого сожаления послал Ополчинину деньги и, не повидавшись с Левушкой, который был занят у себя в кабинете и заперся там, вышел из дома в самом блаженном состоянии.

Князь Иван вышел, собственно, без всякой определенной цели, но уже на улице решил, что поедет к Соголевым. После своего первого посещения здесь, в Петербурге, он был у них еще несколько раз, и с каждым разом все больше и больше тянуло его к ним. И теперь он ехал в надежде провести с ними время – продолжить навеянное на него вчера поездкой в лес хорошее, радостное настроение.

Всю прелесть Соголевых составляла, конечно, не Вера Андреевна, не «китайский божок» Дашенька, но милая, тихая, вкрадчивая Сонюшка, как мысленно уже называл князь Иван старшую сестру Соголеву.

«Лишь бы она была только дома!» – думал Косой, входя по знакомой уже лестнице к Соголевым.

Оказалось, что Соня не только была дома, но даже одна: ее мать и младшая сестра уехали в город.

В первую минуту у князя Ивана мелькнуло, прилично ли ему, молодому человеку, входить к молоденькой девушке, когда она одна в доме, но древний лакей, сидевший с вязаньем чулка в передней, так просто сказал ему «пожалуйста», что он вошел.

Соня точно немножко застыдилась, что принимает гостя одна, но через эту ее стыдливость все-таки видно было, как просвечивало довольство тем, что он приехал и что они могут говорить один на один. И она, не умевшая ни лгать, ни притворяться, сразу заговорила о том, что думала в эту минуту:

– Как странно! – сказала она, когда они сели: она – на маленький диванчик у стола, а он – против нее на низком кресле. – Маменька, конечно, этого уже не испытала, ее воспитывали совсем по-новому француженки-гувернантки, но наши бабушки ни за что не посмели бы принять так одни гостя-мужчину... А теперь вот вы у меня...

Хотя она и старалась говорить спокойно и

просто, но в голосе ее чувствовалось, что она сомневается, хорошо ли все-таки они делают теперь, оставаясь одни.

– Да, – заговорил Косой, – время наших бабушек мне кажется таким далеким, что трудно даже представить себе, что оно было недавно. Тогда это считалось преступлением, ну а теперь, помните, – в деревне у вас мы бывали одни, и никому в голову не приходило мешать нам...

Это было в первый раз, что он заговорил при Соне о деревне.

И она, столько раз вспоминая его там и всегда чувствовавшая с ним, что и он помнит ее в деревне, и желавшая много раз, чтобы он заговорил с ней как-нибудь об этом, теперь, когда он заговорил, точно нарочно выбрав время, когда они одни, испуганно глянула на него и опустила глаза. Ей показалось, что точно она идет в эту минуту по краю бесконечной пропасти, и сердце так бьется у нее от страха, что ее гость должен непременно слышать это ее биение.

А князь Иван сидел, нагнувшись прямо вперед, и, положив локти на колени, смотрел

прямо на Соню, и этот его взгляд говорил ей, что напрасно пугается она, что они не на краю пропасти, а на той высоте, на которой бывает человек в самые лучшие мгновения своего счастья.

Между тем князь Иван смотрел на нее и думал в это время о том, зачем он медлил так долго, зачем гораздо раньше не сказал ей того, что мучительно и радостно захватывало его теперь, приподымало, и о чем он хотел выговорить наконец и не мог. Он жалел, что не говорил раньше, теперь же не мог говорить: его голова кружилась и точно шум леса, слышанный им вчера, обуял все его существо, обуял, вдохнул новую жизнь; но в этой жизни ни слов, ни разговоров, ни речей не было, было одно мучение, одна радость, и он не мог понять, была ли эта радость мучительна, или, напротив, радостно было его мучение. Он закрыл рукою лицо.

Сонюшка низко нагнула голову над столом, следя за своим ногтем, которым бессознательно вела по узору скатерти. Она затаила дыхание, предчувствуя, что то, о чем князь будет говорить теперь, решит для нее все, и

если не скажет он теперь, то не скажет уже никогда.

– Да, я помню нашу встречу в деревне, в аллее, – медленно заговорил Косой, – знаете, с тех пор со мною точно случилось что... с тех пор...

Он вдруг остановился. Его слова и то, что он хотел сказать сейчас, показались ему безумием. Разве могла она, эта радость, это счастье, эта Сонюшка Соголева, с ее улыбкой, нездешней, особенной, обратить на него внимание и слушать то, что он говорит?

Он остановился, умоляюще глядя на девушку, и, придвинувшись к столу, схватился за его край руками.

Соня подняла голову. Личико ее разгорелось, и глаза блеснули из-под напудренных локонов.

Тогда, не помня себя, точно обожженный этим блеском, князь Иван заговорил опять бессвязными, но полными значения для него и для нее словами:

– Ну, я не знаю, с тех ли пор, или раньше, кажется, всегда, как я себя знаю... вы одна, одна, вы для меня в жизни – все... Я только... –

но тут он снова как бы спохватился. – Простите, я, может быть, сказал то, что не следовало говорить... то есть не смел я говорить, но я не мог, не могу иначе... Вчера весь вечер я думал... этот шум лесной...

Он стал просить простить его, потому что снова ему показалось, что он делает святотатство, но вместе с тем он вполне верил в эту минуту себе, что не только вчера весь вечер, под тот лесной шум, но и раньше, и всю жизнь он только и думал о Соне одной, и других дум и помышлений никогда не было у него.

Его лицо выражало такое отчаяние, мольбу и страх за свое святотатство, что болезненная, щемящая, но вместе с тем сладкая жалость наполнили душу девушки, и она, повинаясь не себе, а ему скорее, и даже не ему, а сама, не зная как, – протянула к нему руку и положила ее на сложенные на краю стола его руки. Князь также бессознательно нагнулся и припал губами к ее руке.

V

Как сумасшедший, вернулся домой князь Иван.

Он и Соня не успели хорошенько ни о чем переговорить, но главное и самое существенное было сказано между ними. Она знала, что он любит ее, и ответила ему тем доверием и лаской, которыми единственно девушка выражает свою любовь.

Сватов князь не мог еще прислать за нею, но надеялся, как только устроится получить службу, просить руки своей Сонюшки.

Конечно, сватом должен был быть не кто иной, как Левушка, которого, чем больше знал, тем больше любил князь Иван. И теперь ему хотелось рассказать Левушке о своем счастье, поделиться с ним этим счастьем.

Левушка сидел все время, как уехал Косой из дома в своем кабинете, не выходя. Только пред обедом явился он наконец к князю Ивану, сияющий и довольный.

– Вы знаете, сто я делал все утло? – спросил он, не давая говорить Косому.

– Нет? – пожал тот плечами.

– Не угадаете. Ну, отгадайте, пожалуйста! Отчего у вас вид такого победителя? – вдруг, не меняя тона, спросил Левушка. – Ну, впрочем, это потом. А скажите, сто я делал?

Князь положительно не мог догадаться, что было делать Левушке у себя в кабинете в продолжение целого утра.

– Я стихи писал! – отрезал Левушка. – Да, стихи... вам плочту их. Тепель мы поедем обе-
дать, а после обеда, сейчас я плочту вам свои
стихи...

– Стихи? – переспросил Косой. – Разве вы
занимаетесь этим делом?

– Боже сохлани – никогда не занимался, но
тепель я влюблен. Я ведь вам давно говолил,
сто влюблен, и вот пишу стихи Сонюске Сого-
левой...

Князь Иван встал с места.

– Как Сонюшке Соголевой? Что же, вы го-
ворили с нею? Вы писали ей стихи?..

– До сих пол ничего не мог сказать, и сти-
хов не писал, но тепель хочу именно стиха-
ми, потому сто у меня в лазгоvole ничего не
выходит и класнолечия нет. А она – такая
плелесть...

– Прелесть! Еще бы не прелесть! – подхва-
тил Косой, делая над собой усилие, чтобы не
рассмеяться.

Конечно, после этого уже нельзя было с Ле-

вушкой говорить о Соне Соголевой.

«Оно и лучше, оно и лучше! – повторил себе князь Иван. – Пусть об этом никто-никто не знает до поры до времени!..»

После обеда Левушка отправился к себе в кабинет за стихами, чтобы прочесть их Косому.

Князь, воображая уже заранее, что это за стихи, долго ждал возвращения Левушки и наконец сам пошел к нему. Торусский из сил выбился, перешарил и перерыл весь свой кабинет, но стихи найти не мог.

– Я же знаю, – говорил он, размахивая руками, – сто я их сюда положил, сюда вот, на это место, – и он стучал почти в отчаянии рукою посредине стола, – а тепель их нет. Целое утло писал, а тепель нет!

Наконец был призван Антипка, и дело объяснилось.

Сначала Антипка клялся и божился, что никаких «стихов» не брал, не видел, и никаких стихов даже в кабинете не было. Но, когда ему только сказали, что вот на столе лежала исписанная бумажка, а теперь ее нет, он сейчас же объяснил, что исписанная бумажка

действительно лежала, но что он, пока господа кушали, убирал в кабинете и эту исписанную бумажку разорвал и выбросил.

– Как, лазолвал и выблосил? – разозлился Левушка. – Да я тебя выполоть велю! Как ты смел тлогать?..

Но Антипка никак не мог понять, за что его бранят, и что он сделал дурного: ведь бумажка была исписана, – значит, грязная и ненужная. Он ее и выбросил для порядка. Почему он знал, что барину нужно было беречь исписанные бумажки?

Левушка был очень огорчен, но вот что особенно понравилось в нем князю Ивану: как ни взбесил его Антипка своею глупостью, он его только разбранил на чем свет стоит, но пальцем не тронул и угрозы своей велеть его выпороть не исполнил.

– Нет, наизусть ничего не помню и тепель длугих даже написать не могу. Уж у меня всегда так: лаз сто не удастся, значит – плопало! – сказал, вздохнув Левушка.

Глава седьмая. Слоны персидского шаха

С тех пор, как произошло объяснение Сони с князем Иваном, она значительно изменилась, не внешним, конечно, образом, но в глазах ее теперь так и светилося внутреннее, душевное равновесие. Точно ей открылся смысл ее жизни, и она нашла свое полное спокойствие в этом.

Такие, как Соня Соголева, не побегут, не будут болтать всем о своей радости, не будут неистовствовать по поводу этой радости, но, полюбив, сосредоточатся, и сосредоточатся как бы навсегда, на всю жизнь. Они умеют полюбить один только раз в жизни, но уже зато всецело, не подчиняясь ни расчету, ни влиянию жизненных обстоятельств, ни даже качествам или недостаткам любимого человека. Иногда, чем хуже, то есть чем несчастнее, оказывается он, тем больше они любят его, значит, жалеют. Бог знает, в силу каких причин пробуждается в их нетронутой, чистой, непорочной душе чувство к милому, избранному и суженому, и каким образом выбирают они этого милого, если могут радоваться с ним, и терпят, если приходится терпеть.

Избранник Сонюшки был Косой, и она ве-

рила ему; она верила, что он придет за нею, чтобы взять ее женой, как только обстоятельства позволят ему сделать это. Она готова была ждать месяцы и годы теперь, после того как между ними было сказано заветное слово.

И виделись они мало, то есть наедине им не удавалось больше оставаться подолгу. Косой часто приезжал к Соголевым, и иногда урывками им удавалось сказать, поглядеть друг на друга так, что другие не замечали этого, и этого Соне было довольно.

В этих коротких, отрывочных переговорах было между ними выяснено все. Они решили пока никому не говорить ни о чем и держать свою тайну крепко и свято. Но они забыли, что они оба были молоды, что не они первые полюбили друг друга на земле и что люди, пережившие то, что они переживают теперь, знают по себе их тайну, которую они хотят сохранить крепко и свято.

Вера Андреевна, не прилагая даже никаких особенных усилий, сразу, по вдруг ставшему задумчивым, светящемуся внутренней радостью взгляду Сони и по восторжен-

но-счастливному лицу князя Косого, особенно внимательного к ней, поняла, в чем дело.

Из-за этого лишний раз и дольше обыкновенного продолжалось ночью ее хождение со стуком каблуков, не дававшее заснуть Соне, и затем последовал сдержанный прием князю Косому.

Какой он был жених для ее дочери, да еще для такой дочери, как Соня? Оба они привыкли к широкой богатой жизни в детстве.

«Дашенька, та – Божье дитя: она всем будет довольна, – думала Вера Андреевна, – а Сонюшка понимает и будет страдать и мучиться. Боже мой, за что же другие живут же хорошо и прилично и не знают нужды, не знают, что значат недостатки, а мои страдают? Вот и у меня нет новой верхней накидки, а надо будет сделать; как только Сонюшка сдаст работу в магазин – сделаю себе новую накидку».

С Соней она ни разу не говорила о Косом прямо. Она пробовала иногда бранить князя при ней, но Соня всегда слушала ее с улыбкой недоверия и с опущенными глазами. Вера Андреевна отлично знала, что это значит и зачем опускаются глаза: чтобы скрыть затаен-

ную насмешку над якобы несуразностью того, что говорит она.

Так прошло около месяца.

В начале октября предстояло для петербуржцев довольно занимательное зрелище: персидский шах Надир прислал многочисленное посольство, богатые подарки и четырнадцать слонов в русскую столицу. Эти слоны стояли уже на подъездном стане у Александро-Невской лавры и должны были быть торжественно ведены по городу во время въезда посольства.

Наденька Рябчич со своей компаньонкой-француженкой предполагала ехать на Дворцовую площадь смотреть въезд и уговорила Веру Андреевну отпустить с ее мадамой и своих дочерей, потому что они поедут в четырехместной карете. Вера Андреевна согласилась, но в день въезда оказалось, что Дашенька, простудившись накануне, кашляла так, что и думать было нечего пустить ее из дома. Ночью ей мазали грудь свечным салом и давали пить липовый цвет. Вера Андреевна ходила и прислушивалась к кашлю Дашеньки, раздававшемуся по временам из спальни,

и сказала ей:

– Нет, положительно тебе нельзя ехать! Опасного ничего нет, но ехать тебе нельзя.

– Ах, маменька, я и сама знаю, что нельзя, ведь я не пристаю, ну и оставьте меня в покое! – отрывисто ответила наконец Дашенька и снова закашлялась.

Вера Андреевна быстро повернулась и широкими шагами направилась в комнату к старшей. Соня сама в это время чистила шубку, готовясь ехать с Рябчич, которая должна была заехать к ним.

– Нечего тут пыль подымать, – остановила ее Вера Андреевна, – вам нельзя сегодня ехать.

Соня никак не ожидала, что невозможность для Дашеньки ехать смотреть слонов способна привести мать в то состояние раздражения, в котором она находилась теперь.

– Отчего же мне нельзя ехать? – спросила она.

– Дашенька больна.

– Да, но я могу... – начала было Соня, однако Вера Андреевна не дала договорить ей.

– Знаете, я удивляюсь вам, – перебила

она, – я не знаю, есть ли на свете дочь, которая осмелилась бы так говорить с матерью, как вы разговариваете со мною. За одно это вас следовало бы оставить дома. Я вижу, что я слишком слаба с вами, слишком слаба. Вы позволяете себе такие вещи, моя милая... вы думаете, что я ничего не вижу?

– Что же вы видите, маменька? – подняла вдруг Соня голову.

– То, что вы кружите голову молодому человеку.

Вера Андреевна для обиды Сони хотела добавить: «молодому человеку, который и не заметил бы вас, если бы вы не завлекли его», но не добавила этого, потому что инстинктом чувствовала, что это – неправда, а раз Соня увидит в ее словах неправду, слова эти не окажут должного действия. К тому же она видела, что и того, что она сказала, было довольно.

Густой румянец покрыл щеки Сони, и ротик ее слегка дернулся. Это ее движение ртом всегда раздражало Веру Андреевну, как и многое другое. Соня уже как-то слишком восприимчиво давала себя мучить, и Вера Андре-

евна, раздраженная этой восприимчивостью, знала иногда границы.

– Если вы думаете, – продолжала она, – что, победив князя, у которого нет ничего, вы мир победили и можете к матери относиться свысока, то ошибаетесь. Слышите? Вы ошибаетесь... Да отвечайте же, когда я с вами разговариваю!..

– Я, маменька, ничего не думаю, – ответила Соня, – и не знаю, отчего вы говорите все это.

– Оттого, что я уже после первого визита князя говорила вам, что не велю принимать его, и не велю. Теперь это – мое последнее слово... Что там еще?

В соседней комнате послышался шум заде-той платьем мебели, и в комнату влетела Рябчич, розовая с холода, здоровая и стремительная.

– Вы простите, я без доклада, как всегда, – заговорила она, здороваясь с Верой Андреев-ной. – Погода чудесная! Ну что же, мы едем? – и она, размахнув юбками, повернулась посре-ди комнаты.

– Дашенька больна, – строго сказала Вера Андреевна.

– Ах, как жаль! – подхватила Рябчич. – Что-нибудь серьезное? Нет, не серьезное?.. Ну, тогда ничего! Но все-таки очень жаль: говорят, преинтересно будет. Ну а Сонюшка? Она ведь здорова, что же она не одета? Где ваша шубка?.. едемте... скорее едемте... мадам в карете ждет...

И не успела Вера Андреевна опомниться, как Рябчич укутала Сонюшку в шубку, надела ей капор и увлекла ее вон из комнаты.

Когда они уже спустились с лестницы, дверь за ними вдруг отворилась, и голос выснувшейся Веры Андреевны прокричал по-французски:

– Идите, идите, хоть ко всем чертям!

Соня с Рябчич переглянулись только. Они обе привыкли к подобным выходкам Веры Андреевны.

II

День был действительно чудесный. Легкий морозец сковал петербургскую грязь, и тонкий слой чистого, только что выпавшего снега покрыл крыши домов и улицы.

В сторону Невской перспективы валил народ толпами. Кареты Рябчич не пропустили

туда и повернули окольным путем. Пришлось поворачивать по каким-то неведомым закоулкам, так что совершенно потерялось сознание местности, и вдруг, в ту минуту, когда менее всего ожидали этого, выехали на знакомую Дворцовую площадь. Карета сделала полукруг и остановилась. Кучер обернулся к переднему окну и спрашивал что-то, но что именно – нельзя было разобрать.

Наденька Рябчич сунулась направо, сунулась налево, не зная, что следовало им предпринять. За окном кареты виднелись толпа двигавшегося народа и войска, стоявшие шпалерами.

– Ах, вот они, идут! – обрадовалась Наденька, показывая кивком на приближавшихся от толпы к их карете двух молодых людей.

Это были Творожников и Сысоев, двоюродный брат Рябчич. Узнав карету и убедившись, что это именно та, которую они ждали (Наденька велела им на всякий случай быть на площади и встретить карету), они бежали теперь, издали кланяясь. Поравнявшись с каретой, Творожников распахнул дверцу и откинул подножку.

– Выходите. День чудесный! – сказал он. – И все видно; мы нашли отличное место. Оттуда гораздо будет виднее, чем из кареты.

Наденька кинулась вон, за нею выплыла неподвижно прямо державшаяся компаньонка, и наконец вышла Сонюшка, держа свою головку в капоре вперед и подхватив края шубки. Ее, как перышко, сияли с подножки. Она вышла, улыбнулась и огляделась, радостная и милая, улыбнулась светившему солнцу и всем окружающим, и всем стало весело.

Пошли на выбранное Творожниковым место, откуда действительно был очень хорошо виден в пролет между войсками расчищенный для шествия слонов путь. Народ тут толкался меньше, потому что здесь собралась публика получше, и тесноты не было.

Они огляделись, нет ли знакомых кого, но таких не нашлось.

Странное дело, площадь была, конечно, та же самая, что и в обыкновенные дни, народ – тоже и солдаты, но только потому, что сегодня все сошлись сюда, убежденные, что проезд на слонах персидского посольства – событие праздничное и веселое, все, сошедшиеся

сюда, были веселы и настроены празднично. Кругом слышались веселый говор и шутки.

Даже двоюродный брат Рябчич, обыкновенно стойко молчавший с дамами с таким предательским видом, точно он им только что рассказал что-то очень длинное и ждал теперь, что они ему скажут, обрел дар слова и силился рассказать Сонюшке весьма знаменательный факт из жизни слонов, которые «у себя», в Индии, на восходе солнца, собираются в кучу и поднимают хоботы все в одну сторону. Об этом ему рассказывал кто-то, и он сам хотел рассказать, но Сонюшка слушала невнимательно и смотрела по сторонам.

– Ах, поглядите – бедный, – сказала она, – нужно ему дать что-нибудь! – и она, быстро сунув руку в карман шубки, стала искать мелочь и звать замеченного ею в толпе старика нищего в картузе, с седыми волосами и с одной ногой на деревяшке.

Но старик или был глух, или не хотел слышать то, что ему кричали; он быстро зашагал в противоположную сторону и скрылся, точно торопясь куда-то.

– Ушел! – сказала Сонюшка.

– Так я вам рассказывал... – начал было снова Сысоев свою историю про слонов.

– Погодите! Видите? – остановила его опять Сонюшка. – Это – князь Косой. Вы знаете его?..

Она показала на князя Косого, но тот уже сам в это время увидел их и шел к ним.

Все ему очень обрадовались.

– Вот как! И вы пришли слонов смотреть? – сказала ему Наденька.

Все заговорили. Сысоев так и не досказал Сонюшке о том, зачем слоны поднимают хоботы.

– Идут, идут! – слышалось в толпе, и говор стал стихать.

В войсках раздалась команда, они стали выравниваться и замерли.

Издали, на краю площади, показалась поворачивавшая с Невской перспективы процессия. Все глаза уставились туда.

Но Сонюшка знала, что именно в эту минуту, когда менее всего можно было обратиться на себя внимание, князь Косой непременно будет сзади нее, так что им можно будет свободно разговаривать. Она слегка обернулась назад. Князь Иван стоял сзади нее. Наденька,

ее компаньонка, Творожников и в особенности Сысоев, вытянув шеи и выдвинувшись вперед, казались все уже поглощенными приближавшимся зрелищем.

– Вы знали, что мы будем тут? – спросила Сонюшка тихо, не поворачивая головы, но если бы она еще вдвое тише спросила – князь Иван все-таки услышал бы ее.

– Я пришел сюда случайно, но, наверно, предчувствовал, что вы будете, – ответил Косой.

Она спрашивала словами, знал ли он, что она будет здесь, но ее голос и выражение спрашивали еще о многом: о том, что все ли по-прежнему она мила ему, что вспоминал ли он о ней и думал ли так, как она думает, и рад ли он встрече так же, как и она рада? И князь, ответив словами, ответил тоже выражением на все ее вопросы. Да, лучше, дороже и милее ее никого не было для него. Это было главное!

– Да, а сегодня мы опять ссорились, – сказала Соня.

– Как ссорились? С маменькой?

– Опять. Целая история была. Кричали на

меня.

– Из-за чего же?

– Из-за того, что любимчики не могли ехать с нами. Они больны. И меня не хотели пускать...

Процессия в это время уже приблизилась. Впереди ехали наши конные солдаты, затем шел, переваливаясь, слон под дороною попоной с бахромой; на лбу у него сидел проводник в пестром восточном одеянии, с крюком в руках, которым он долбил по голове, когда считал это нужным. Сзади шел огромного роста перс в высокой шапке и с длинной палкой, вроде древка знамени. Он тоже погонял слона этой палкой.

– Как же вас все-таки отпустили? – спросил князь Иван Сою.

– С очень милым напутствием, но сегодня сцена еще не разыгралась до конца: Рябич помешала.

– То есть как помешала? Чего же еще, если бранили и кричали?..

– Бывает иногда, что ведь и кинут чем попало...

Для князя Ивана это было открытием, ко-

торое превосходило для него всякое разумное понимание. О том, что Вера Андреевна была несправедлива к старшей дочери, что она придиралась, бранила ее, мучила даже, он уже знал и из собственных наблюдений, и отчасти из намеков Сони и рассказов посторонних, но, чтобы доходило до того, что Соголева кидала в нее вещи, – это для него было новостью, и притом такой, которая так и сжала ему сердце. Неужели можно было обходиться так с его кроткою, тихою Сонюшкой?

Он смотрел бессмысленно на огромную, закрытую сплошь цветной материей массу двигавшегося мимо него, вслед за первым, другого слона с каким-то высоким, ярким шатром на спине, из-за занавесок которого виднелся человек в блестящих золотом одеждах, и ничего не понимал, что происходило пред его глазами.

За слоном зарябили персидские всадники, ехавшие в два ряда, но князь Иван не видел и всадников; все для него заключалось теперь в одной мысли – вырвать как можно скорее свою милую на свободу, к себе.

– Сонюшка, милая!.. – чуть слышно про-

шептал он, не зная сам, что делает, и желая и вместе с тем не желая, чтобы она услышала его слова.

Девушка услышала их. Это он увидел по движению ее руки, видимо, искавшей его руку.

Но в это время двоюродный брат Рябчич обернулся к ним и, весь поглощенный слонами, с восторгом стал делиться своим впечатлением.

– Батюшки, да сколько их! – чуть не кричал он. – Смотрите, и навьючены, право, навьючены!

Все видели и без него, что слоны, шедшие за всадниками попарно – их было шесть пар, – навьючены красиво увязанными тюками с привезенными подарками. Но он так вдруг обрадовался и тормозил Творожникова и обращался к Соне, точно эти подарки предназначались ему, двоюродному брату Наденьки Рябчич.

Шествие закончилось опять рядами русских конных солдат.

– Поедемте все к нам обедать, – стала приглашать Наденька, когда прошли слоны и

площадь быстро стала пустеть.

– Нет, нет, мне домой нужно, отвезите меня домой, – испугалась Сонюшка.

Она боялась, что Вера Андреевна пуще рассердится на нее.

Сысоев пошел отыскивать карету.

Творожников заговорил с Наденькой, а ее компаньонка, неизвестно чем заинтересовавшись, уставилась по тому направлению, куда прошли слоны.

В это время Соня успела шепнуть Косому:

– Там, кажется, знают, чем досадить мне, и тебя собираются не принимать...

III

Персидское посольство, торжественно проехавшее на слонах, на удивление всему столичному населению, было принято в блестящей аудиенции правительницей в Зимнем дворце. На этой аудиенции принимала послов Анна Леопольдовна одна, от имени своего сына, императора. Затем посольство представлялось в отдельной аудиенции мужу правительницы, генералиссимусу принцу Антону.

Персидским шахом, пославшим дары в Пе-

тербург, был шах Надир, гроза и могущественный государь Востока. Он прослышал от заезжих русских купцов о несказанной красоте дочери Белого Царя, Великого Петра, Елисаветы Петровны, и в числе посланных им подарков было много ценных вещей, материй и шалей, предназначенных для нее.

Могущество Надира на Востоке было таково, что искать ему союза с иноземцами для поддержки в силах не понадобилось. Цель посольства была, напротив, поразить щедростью и роскошью подарков владельцев и народ великого и обширного государства русского, которое единственно, по мнению шаха, могло равняться могуществу и величию подвластной ему Персии. И вот в этом-то государстве, как знал шах, живет дочь великого царя, красавица собою. Очевидно, она одна – подходящая невеста его сыну, будущему брату солнца, первому владыке в подлунной. Он поразит, ослепит своим посольством петербургский двор, и, наверно, там сочтут за честь породниться с распорядителем персидских судеб.

Это был третий уже высокопоставленный

жених, мечтавший о руке принцессы Елисаветы. Официально, при дворе, хотели выдать ее за брата принца Антона, герцога Люнебургского, метившего попасть в герцоги Курляндские. Но Елисавета Петровна прямо отклонила этот брак. Жена придворного живописца, француженка Каравак, сватала ее за французского принца Конти. Французский посол Шетарди, под видом доброжелательства к цесаревне Елисавете, хотел впутаться во внутренние русские дела. У него можно было взять займы денег, но допускать его участие в делах, конечно, было нельзя. Шведы, объявившие войну России и разбитые уже нашими войсками под Вильманстрандом, прямо объявляли в особо изданном манифесте, что идут на защиту (?) потомства Петра Великого, то есть великой княжны Елисаветы.

И все заботились о ней, всем мешала она. Мешала она, конечно, распоряжаться вполне иноземным людям, захватившим правление в государстве, созданном и возвеличенном ее отцом.

Здесь, в построенной им столице, во дворце, где, как чувствовала Елисавета, было ее

место, полными хозяевами были заика-принц Антон, его жена, слабохарактерная женщина, ее любимица фрейлина Менгден, саксонец граф Линар, Остерман, Левенвольд – чужие, не русские люди, пришлые, не знавшие и не любившие ни России, ни русского народа.

Каково было ей видеть и чувствовать, что ей, русской великой княжне, в своем русском царстве не только приходится зависеть от всех этих чужих людей, не только чуть ли не вымаливать у них себе пропитание и кров, но быть унижаемой ими и сносить их оскорбительно-покровительственный тон?

При Бироне Елисавете жилось лучше. Тот понимал, что нельзя относиться свысока к дочери Петра Великого, что нельзя лишать ее того, что подобает ей, как русской великой княжне. При нем при дворе с Елисаветой обходились с должным почетом и аккуратно выплачивали положенное ей содержание.

А теперь? Теперь она окружена шпионами и соглядатаями, живет у себя в дому, точно в темнице; только слава почти одна, что не заточена она, а на самом деле ее жизнь, пожа-

луй, хуже заточения. Денег не дают. Мало того, до того уже осмелились, что открыто позволяют себе унижать ее. Вот пример этого: за обедом при дворе по случаю дня рождения императора принц Антон и его брат были посажены за стол обер-гофмаршалом, а она – простым гофмаршалом. Пожалуй, придет время, что ее станут сажать ниже фрейлины Юлианы, когда та выйдет замуж за графа Линара.

И кто же, кто против нее? Остерман, всем обязанный ее отцу, поднятый им из ничего, из простых писцов. Он, этот хитрый старик, думает, что хорошо рассчитал свои силы, что принц Антон, который на все смотрит его глазами и все слушает его ушами, – надежная защита ему! Он думает, что Елисавета, тихо и скромно живущая в своем тереме, на милости чужеземного двора, так навсегда и останется покорной своему положению и помирится с ним! Или он затеял окончательно разделаться с нею, устранить ее совсем, смести и уничтожить?

Вот хоть бы теперь! Персидское посольство принято теперь во дворце правительницей,

представлялось принцу Антону, но персов не допускают представляться ей, Елисавете, несмотря на привезенные для нее подарки. Посланник выразил желание передать великой княжне подарки лично, но ему не позволили сделать это. Подарки привезли к ней гофмаршал Миних, брат фельдмаршала, и генерал Апраксин.

Но тут Елисавета не выдержала.

– Скажите графу Остерману, – произнесла она, обращаясь к ним, – напрасно он мечтает, что всех может обманывать. Я знаю, что он старается унижить меня при всяком удобном случае. По его совету принимают против меня меры, о которых великая княгиня и не подумала бы. Он забывает, кто – я, и кто – он, забывает, чем он обязан моему отцу, который из писцов сделал его тем, что он теперь, но я никогда не забуду, что получила от Бога и на что имею право по своему происхождению.

Это было первый раз, что Елисавета Петровна высказалась весьма резко и определенно, пригрозив самому влиятельному, хитрому старому Остерману!

«Тебя собираются не принимать», – сказала Соня князю Ивану, и у него захватило дух при воспоминании от этих слов. «Тебя!» Соня в первый раз сказала ему «ты», и это казалось таким счастьем и блаженством, что в нем тонуло все нехорошее и досадное.

А нехорошего и досадного было много. Косой видел, что положение Сони дома таково, что жить ей там с каждым днем тяжелее и тяжелее, что необходимо вырвать ее оттуда. Но как? Что мог он сделать?

Жил он у Левушки, милого, доброго человека, но это его житье было, конечно, временное, и не мог же он остаться у Торусского навсегда. Пока еще имелись у него деньги, вырученные им в Москве от продажи отцовских вещей; трат больших не было, но все-таки деньги убывали, и неоткуда было рассчитывать получить новые, когда выйдут эти. Можно было надеяться, что удастся получить службу, но все-таки это казалось гадательным. Да и много ли могла дать эта служба?

Князь Иван ходил по комнате, рассчитывал и раздумывал, но ничего утешительного не выходило у него. Положим даже, ему дадут

место с хорошим жалованьем, на которое можно будет жить даже с семейством; но ведь нужно обзавестись и устроиться прилично, а на это потребна сразу сумма, и не маленькая. Будь он один, еще было бы с полгоря, и, право, он ни минуты не задумался бы, как ему жить; жил бы, как жилось, – вот и все. Но теперь ему приходилось думать за двоих.

И вдруг князь остановился, как бы в недоумении, спрашивая себя, как же это все могло случиться, как, когда и почему?

Он приехал в Петербург, чтобы устроить свои дела, но вместо этого, напротив, только запутал их, и запутал так, что как будто и выхода не было.

Во время своего пребывания в Петербурге он отказался от условий, предложенных ему французским посланником, затем подал прошение Остерману, чтобы его пристроили к иностранным делам. Вот и все. Даже не попытался найти знакомых отца. Вероятно же, кто-нибудь из влиятельных лиц помнил Кирилла Косого!

А между тем он увлекся девушкой, и увлечение было и с ее стороны. Они объяснились,

были несчастливы порознь и считали, что найдут счастье, когда будут вместе. И под влиянием этой мысли князь Иван впервые подумал о том, имел ли он право поступать так, увлечься, необдуманно, точно закрывши глаза, броситься в воду. Но, подумав это, он сейчас же, с улыбкой, нашел себе и ответ, и оправдание: разве он виноват был в этом? Ведь оно все равно случилось бы даже и против его воли, потому что чувству не прикажешь, оно не разбирает того, что рассчитывает разум, и в этом-то вся и прелесть, что оно не разбирает: так вот, возьмет, да и охватит всего, целиком, а потом и разделявайся с ним, а когда именно охватит, когда случится это – и заметить нельзя.

Князь Иван, перебирая в воспоминаниях свои отношения к Сонюшке, не мог найти и определенно сказать, когда именно зародилось его чувство к ней. Как бы то ни было, но отношения создались удивительно теплые, точно они весь свой век знали друг друга и точно с тех самых пор, как князь Иван помнил себя, он помнил и Сонюшку. Образ ее был до того близок ему и до того ясен в его духе,

что как только он подумал о ней, все прояснилось и стало мало-помалу хорошо. Ведь если все это было независимо от его воли, значит, он неизбежно должен был встретиться с нею, и они должны были прийти друг к другу, а раз они сошлись, то нечего беспокоиться за будущее: оно устроится так же легко и просто, как и то, что они сошлись, узнали и полюбили друг друга.

Успокоившись на этом, князь Иван увидел, что само беспокойство его было наносным и внешним, а внутри души он как-то безотчетно верил в то, что все будет хорошо и счастливо, потому что все счастье заключалось в Сонюшке и ее любви к нему, а это у него было – значит, будет и остальное.

Часть вторая

Глава первая. Письма к графу Линару

I

Князь Иван ходил в отчаянии по своей комнате. Он придумать не мог, что ему делать, что начать и как выйти из ужасного положения, в которое попал, благодаря собственной же неосторожности.

И случилось это как раз в то время, когда, казалось, судьба улыбнулась ему. Все могло, может быть, успокоиться, и вдруг тут же, сразу, было испорчено все!

Прошение, поданное им Остерману, не осталось без последствий. В образованных, ловких молодых людях слишком нуждались тогда, чтобы пренебрегать услугами такого человека, как Косой. К тому же он и не особенно напирал на денежное вознаграждение в надежде, что оно придет само собою. Он просил, чтобы ему дали только, для начала, хоть какое-нибудь поручение.

Оказалось, о нем навели справки у нашего посла в Париже Кантемира, который более чем кто-нибудь мог дать сведения о Косых,

живших так долго во Франции. Кантемир прислал вполне благоприятный отзыв. Прекрасный французский язык князя Ивана, его манеры, умение держаться и бархатный лиловый кафтан окончательно решили дело.

Остерман призвал князя к себе и сказал, что попробует дать ему поручение в Саксонию. Это поручение состояло просто в том, чтобы отвезти письма и депеши к находившемуся там в то время графу Линару, уехавшему недавно из Петербурга по делам на родину.

В первую минуту это не понравилось князю Ивану, но потом он, подумав, решил, что это совершенно не то, что служба интересам французского посланника маркиза Шетарди. Тут он был на службе у русского правительства и исполнял его поручение, и только. Пусть это правительство было враждебно великой княжне, за которую он, князь Косой, готов был отдать свою жизнь; но своим отказом он нисколько не мог помочь ей, а только повредить самому себе. К тому же он был слишком незначительный, маленький человек, чтобы раздумывать в данном случае о выс-

шей политике и государственных соображениях, и принял поручение.

Нужно было собраться вдруг, в один вечер, а на завтра ехать на казенных переменных лошадях без устали, вплоть до места назначения. Это, разумеется, не пугало князя Ивана; он не хотел только уехать, не повидавшись с Сонюшкой.

Вечером он улучил минуту и заехал к Соголевым. Не было ли их действительно дома, или не приняли его, но древний лакей с чулком заявил ему, что господа уехали, и князю Ивану не удалось видеть Соню. Он сказал лакею, что заезжал проститься пред отъездом, что уезжает за границу ненадолго, по казенному делу, но этого, конечно, было мало. Нужно было дать знать Соне, именно ей.

На Левушку, писавшего стихи Соголевой, уничтоженные Антипкой, нельзя было рассчитывать, как на лицо, которое могло бы передать Соне письмо. Но князь все-таки написал, не зная хорошенько, каким путем оно будет доставлено к ней. Однако дело устроилось довольно просто. По намеку Косого, крепостной Торусских Степушка, приставленный для

услуг к князю Ивану, взялся доставить письмо и в тот же вечер ухитрился побывать у Соголевых, вернулся оттуда и сказал, что все исполнено при посредстве знакомой ему Дуни. Косой не расспрашивал подробно, кто такая эта Дуня, вероятно, решив, что это – одна из дворовых Соголевых, и подарил Степушке рубль, потребовав от него полнейшего молчания. Степушка, ошарашенный рублем, обещал не выдать.

Все шло хорошо до самого утра, когда Косому нужно было уже выезжать совсем. Самый важный чиновник в канцелярии сказал накануне Косому, что он должен будет, собравшись окончательно в дорогу и сев уже на казенную тройку, заехать на другой день утром в канцелярию за письмами, которые назначено ему везти. Но, когда князь Иван выходил от главного чиновника, его поймал на дороге экзекутор, на обязанности которого была выдача писем Косому, и сказал ему, что завтра хотел бы прийти на службу попозже, что выдача писем сопряжена с длинными формальностями и что не лучше ли будет, если они «негласно» исполнят эти формальности те-

перь, и письма он, экзекутор, выдаст теперь же, чтобы завтра князю Косому быть уже совершенно спокойным и ехать. Экзекутор сказал, кроме того, что это делается почти всегда так, и что про это и начальство знает, но говорит только для формы, чтобы депеши выдавались курьеру в самый день его отъезда. Как бы то ни было, князь Иван получил письма накануне и привез их домой.

Вся беда и произошла от этого.

Князь Иван вышел на минуту только из комнаты, чтобы отнести жене камердинера Петра Ивановича зашить подпоровшуюся замшевую сумку, в которой нужно было везти прямо на груди, под камзолом, письма, надев ее на шею. Когда же он вернулся с заштопанной сумкой к себе в комнату, — руки у него опустились, и он с ужасом остановился у двери.

Казачок Антипка стоял у стола и держал в руках одно из писем, самое, кажется, важное, с подписью адреса рукою правительницы и запечатанное ее перстнем.

— Я, барин, один тут ярлык сломал, — довольно безучастно заявил он Косому.

Князь Иван уже издали видел, что то, что Антипка называл ярлыком, то есть печать, было сломано под его «нежными» пальцами!

Антипка, видимо, сначала мало обеспокоенный тем, что он сделал, заволновался лишь тогда, когда поглядел на полное ужаса, вдруг побледневшее лицо Косого. Должно быть, лицо князя было очень страшно, потому что Антипка вдруг разинул рот, остановился, широко открыл глаза, а потом заговорил прерывающимся голосом:

– Я, ей-Богу, только вот тронул... посмотреть хотел, а он и разломился – чуть-чуть тронул, так вот двумя пальцами. Кабы я знал, что не надо, я бы ни за что... Онадысь барин заругался, что я у него писану бумажку кинул, так теперь я уж ни одной... Все, что есть, подбираю, а тут, думаю, ярлык, дай посмотрю, и совсем легонько тронул, а он, накость, и сломался...

Князю Ивану не было легче оттого, легонько или нет Антипка сломал печать. Но она была сломана, и несчастье казалось ужасным и непоправимым.

В первую минуту князь Иван не мог про-

сто опомниться, не знал, что ему делать; он выгнал Антипку вон, боясь за себя, что не сдержится и сорвет свой гнев на нем, но и потом, когда немножко опомнился, отдышался, намочил голову и попробовал сесть, все-таки ничего не мог сообразить и найти в себе даже признака надежды, что дело можно поправить.

После того, как Антипка вышел из комнаты, Степушка зашел сюда, видимо, уже осведомленный о том, что случилось. Антипка, с воплем прибежав в людскую, покался в своем проступке. Степушка увидел князя Ивана сидевшим беспомощно на стуле с прижатой к голове рукою, посмотрел на него, а затем на письмо, лежавшее со сломанной печатью на столе, и проговорил сквозь зубы:

– Ишь, дела-то! Избаловали мальчишку – удержу на него нет, а дело-то какое!.. – и он покачал головой.

Косой долго глядел на него, как бы с трудом узнавая, потом пригляделся.

– Лев Александрович встали уже? – спросил он.

– Никак нет. Петр Иванович три раза бу-

дить ходили – не просыпаются. Вчера вернулись поздно и приказали беспременно себя разбудить, чтобы к вашему отъезду, только это никак невозможно выходит – и признака жизни не подают.

Князь Иван замотал головою и махнул рукой Степушке. Тот вышел. Помочь он ничем не мог.

Князь Иван заходил по комнате.

Одно оставалось – ехать сейчас хоть к самому Остерману и рассказать, как было дело, вернув ему письма. Пусть будет, что будет, но другого выхода найти нельзя.

Больше всего жаль было Косому не себя в эту минуту, даже не Сонюшки, для которой он, погибший теперь человек, ничего уже не мог ни сделать, ни даже увидеть ее когда-нибудь, если его сошлют, – за распечатанное письмо правительницы весьма легко и просто могли сослать. Нет, больше ему жаль было несчастного чиновника-эзекутора, который, понадеясь на него, дал ему письма. Положим, он даже сам уговорил князя Ивана взять эти письма, но все-таки за что же он будет отвечать?

Мелькнула было у князя Ивана мысль поехать, отыскать чиновника и посоветоваться с ним, но он сейчас же отогнал эту мысль, как невозможную.

И зачем он брал письма в неуказанное время, зачем привез их домой, зачем положил на стол, зачем вышел из комнаты!..

И князь Иван, вспоминая, как он за четверть часа пред тем был счастлив и доволен и как хорошо было тогда, и только растравляя себя этим, ходил по комнате, изредка останавливаясь у стола и, как бы боясь прикоснуться к распечатанному письму, быстро поворачивался и отходил прочь, чтобы снова вернуться.

Ему казалось, что он проходил так очень долго и, наконец, остановился. Остановился он опять у стола, взяв письмо, близко поднес его к лицу и стал рассматривать печать. Слом был непоправим. Ни заклепить, ни соединить разломившийся сургуч нельзя было. Но Косой заинтересовался не этим. Письмо было запечатано не именной печатью правительницы, но перстневой, с изображением государственного двуглавого орла.

Князь Иван долго, пристально всматривался в оттиснутый на сургуче сломанной печати рисунок. Потом он вдруг, как бы спохватившись, кинул письмо на стол, расстегнул обеими руками камзол, достал свою шейную цепочку с крестом, на которой у него тоже висело полученное от великом княжны кольцо, и начал разглядывать его.

Через несколько времени Косой вздохнул свободно. Когда он стал разглядывать сломанную печать, вдруг вспомнил, что где-то видел точь-в-точь такого орла, хотя никогда не держал в руках печати правительницы. Он стал припоминать и почти наудачу, с замиранием сердца достал кольцо великой княжны. На этом кольце был действительно вырезан орел, такой же, какой был на печати.

Князь Иван был спасен. Ему оставалось только вновь запечатать письмо, и никто не мог бы догадаться, что печать на нем когда-нибудь была сломана.

Не было ничего удивительного, что у великой княжны на кольце был вырезан государственный орел. Она имела на это полное пра-

во, но непостижимым казалось князю Ивану стечение обстоятельств, сплетшихся вокруг него.

Нужно же было этому кольцу попасть именно в его руки и сравнительно так незадолго пред тем, как оно ему должно было понадобиться по такому странному поводу, и спасти его от смертельной или почти смертельной опасности! В те минуты, которые переживал теперь князь Иван, ему казалось это чудесным проявлением Промысла. Но причина была бы слишком ничтожна, если бы кольцо пришло в его руки лишь для того, чтобы исправить сделанную Антипкой оплошность и тем вывести из неприятного положения князя Ивана. Косой чувствовал, что он тут – простое орудие судьбы, маленькое звено в большой цепи и что не должен он действовать по своей воле и по своему разуму, а подчиниться воле высшей, чудесно сложившей обстоятельства.

Он держал в руках распечатанное письмо правительницы, письмо, которое он имел полную возможность прочесть, а затем и передать, если это нужно было, великой княжне

то, что касалось ее. О ней должна была идти речь в этих письмах, конечно, только о ней.

Не раздумывая долго, Косой подошел к двери, запер ее на ключ и, вернувшись к столу, смело развернул письмо.

Из него выпала другая, вложенная в него записка.

Письмо было на французском языке, с пометками, сделанными, видимо, постороннею рукой.

«Поздравляю Вас, – читал князь Иван, – с приездом в Лейпциг[1], но я не успокоюсь до тех пор, пока не получу известия, что Вы уже на возвратном пути сюда. Если Вы не получали писем из Петербурга – пеняйте на Пецольда[2], который, значит, отправил их не как следует. Что касается Юлии, то неужели Вы можете хотя минуту сомневаться в ее (моей) любви и в ее (моей) нежности, после всех тех доказательств, которые Вы получили от нее (меня). Если Вы ее (меня) любите, не делайте ей (мне) подобных упреков, хотя бы ради того, насколько дорого Вам ее (мое) здоровье. Персидский посланник со всеми своими слонами получил аудиенцию в том порядке, как

представлялся турецкий. Говорят, одна из главных целей посольства – просить руку принцессы Елисаветы для сына шаха Надира; в случае отказа он нам объявит войну. Терпение! Это будет, однако, третий враг, да сохранит нас Господь от четвертого. Не сочтите за сказку эти происки персов, я не шучу. Тайна узнана через фаворита посланника. У нас будет маскарад 19-го и 20-го этого месяца, но не думаю, чтобы я (без вас, мой дорогой) могла бы принять живое участие в этом увеселении, потому что предвижу, что моя дорогая Жюли, сердце которой и душа не здесь, не слишком-то будет веселиться. Правда, говорится в песне: “На моих глазах нет ничего, что похоже на Вас, а между тем, все мне Вас напоминает”. Дайте знать о времени Вашего возвращения и верьте моей преданности»...

Князь Иван почувствовал, что, несмотря на то, что он был один в комнате, густая краска покрыла его щеки. Он покраснел, потому что простой, задумчивый тон письма, в котором, в сущности, не сообщалось ничего важного, был похож скорее на частную переписку, чем на деловое, политическое письмо. Ему

стало стыдно, зачем он ворвался в чужую тайну, не имевшую никакого значения в том отношении, ради которого он позволил себе прочесть письмо.

Чувство совершенного скверного поступка защемило его сердце, и точно назло себе, назло этому гадкому чувству, он поднял упавшую из письма записку и развернул ее. Все равно уже было теперь.

Однако, пробежав глазами записку, он не пожалел, что сделал это.

В записке неизвестный корреспондент или корреспондентка (записка была без подписи) в коротких словах убеждал Линара повлиять, как можно скорее, на нерешительную Анну Леопольдовну принять меры против П.Е. Сообщалось, что с каждым днем П.Е. становится опаснее и опаснее, что необходимо увести из Петербурга гвардию на театр военных действий, и тогда будут руки развязаны. Лестока арестовать прежде других. Правительница боится больше всего принца Петра Гольштинского (сына Анны Петровны, дочери Петра Великого), но что главная опасность здесь, в самом в Петербурге, в лице П.Е.

Князь Косой отлично понял, что под буквами «П.Е.» подразумевается «Принцесса Елисавета» и что против нее и против лиц, близких ей, направлена просьба к Линару убедить правительницу.

План был составлен довольно хитро. Пока преданная великой княжне гвардия была в Петербурге – нечего было и думать о какой-либо попытке действовать против нее. Но раз гвардия удалена на войну против шведов, которая еще продолжалась, великая княжна оставалась вполне беззащитною. Найдись возможность привести этот план в исполнение, и великая княжна погибла.

III

Косой, как умел быстро, на всякий случай, чтобы не выдавать своего почерка, переписал записку левой рукой, сложил, как была она, вложил в письмо и запечатал его снова. Он догадался, что письмо написано от имени Юлианы Менгден, помолвленной уже за графа Линара. Вероятно, она и запечатывала письмо правительницы и вложила в него свою записку или такую, которой сочувствовала.

Справив все, князь Иван бережно уложил порученные ему письма в замшевую сумку, надел ее под камзол и позвал к себе Степушку.

– Вот что, Степан, – начал он, когда тот явился, – помнишь ты, когда умер у нас этот старик-нищий, я велел отпарить его одежду и парик себе заказал?

Степушка сказал, что помнит и что все было сделано тогда именно так, как было приказано.

– Ну, так вот, – продолжал Косой, – эти вещи спрятаны у тебя?

Смышленное лицо Степушки выразило усилие мысли. Он соображал в эту минуту, что, должно быть, князь Иван Кириллович придумал что-то для поправления беды, в которой он и себя считал как бы участником, как член торуссовской дворни, к которой принадлежал главный виновник всего – Антипка, выдраный уже за вихры в людской Петром Ивановичем, с одобрения кучера Ипата.

– Вещи все у меня спрятаны – и костыль, и деревяшка, – весело и услужливо ответил он.

– Ну, так вот мне их сейчас нужно будет

надеть...

– Надеть? – переспросил Степушка. – А как же лошади, что за вами приехали?

– А разве приехали уже? Ну, скажи ямщику, чтоб пока на двор завернул. Заплачу за простой. Я поеду часа через два, а пока мне нужно одно дело справиться.

Степушка, вопрос которого относительно лошадей главным образом клонился к тому, чтобы узнать, поедет ли князь Иван вообще или нет, то есть надеется ли он поправить все, успокоился теперь окончательно, узнав, что Косой все-таки намеревается ехать.

– Так что же прикажете о вещах? – спросил он.

– А вот, видишь ли, мне нужно надеть их и выйти из дома так, чтобы никто не увидел этого и не знал об этом – ни даже Лев Александрович. Ты смолчать сумеешь?

– Зачем не смолчать? Значит, вам так, чтобы ни синь-пороха заметно не было? Это можно. Банька у нас, как изволите знать, на самых задах, за огородом. Ее вчера с вечера топили – Петр Иваныч распорядился, на случай, если вам пред отъездом помыться взду-

малось бы, а если нет, так он сам располагал попариться. Так вот вещи эти самые я в баньку отнесу, а вы извольте прийти туда, как бы по своему делу, будто мыться пошли, оденетесь, я вас и выпущу задним ходом к забору; он в одном месте разбирается и на самый пустынный проулок выходит – куда угодно идите, а там назад – тем же путем. Как вернетесь, я водой оболью, чтобы вид сделать, будто вы мыться изволили. Никому и невдомек будет. А уж в баньке-то я вас подожду.

Лучше, чем придумал Степушка, и найти ничего нельзя было. Князь Иван велел ему только одно – поскорее нести одежду в баньку.

Левушку все еще не могли добудиться, и Косой ушел, не повидавшись с ним. Уходя, он сказал мимоходом Петру Ивановичу:

– Пойду вымоюсь пред отъездом, а вы не беспокойте Льва Александровича; мне только стгоряча показалось, что Антипка сломал печать, на самом же деле оно и незаметно совсем, так что нечего и говорить об этом.

– Ну и слава Богу! – обрадовался Петр Иванович.

Косой в бане переоделся с помощью Степушки и, переодетый, стал совершенно неузнаваем. Он выбрался незамеченный и неловко заковылял на деревяшке, стараясь выбрать самый ближний путь ко дворцу великой княжны. Он решительно не знал, как он проберется туда и пустят ли его, и кому отдаст снятую им с вложенной в письмо записки копию. Он только чувствовал, что, во что бы то ни стало, ему нужно передать эту копию великой княжне, и шел, веря в то, что это удастся ему сделать так же, как удалось ему совершенно неожиданно для себя снять эту копию.

Прежде всего нужно было дойти до дворца. И князь Иван спешил, боясь встретить кого-нибудь из знакомых, чтобы те не узнали его как-нибудь. Однако переодевание его, по видимому, было выполнено с долей искусства. Он в этом мог убедиться хотя бы по тому, что встретившаяся ему старушка запустила руку в глубокий карман своей кацавейки и, достав грошик, подала ему.

Странно было князю Косому, Рюриковичу родом, протягивать руку за подающим на

улице, но это было необходимо, чтобы не выдать себя, и он протянул руку, невольно вспомнив, как пригодилась ему тут предосторожность Степушки, посоветовавшего ему вытереть землюю руки, чтобы загрязнить их.

Час был довольно ранний. На улицах прохожих попадалось мало, все больше простой народ, из благородных же – никого.

«Может быть, рано еще. Там, пожалуй, спят все, – соображал князь Иван, осторожно ступая деревяшкой по дощатым мосткам тротуара, чтобы не упасть. – Ах, поскорее бы, поскорее!» – повторял он себе.

Сердце его билось все сильнее и сильнее, по мере того, как он приближался к цели. Вот наконец и Греческая улица, виден уже и Пад-Кале. Вот и дом великой княжны. Отсюда, с улицы, кажется, что он погружен в полную тишину. Ставни нижнего этажа плотно заперты, в окнах верхнего – спущены занавесы. Кругом ни души; только у ворот сидит закутанный в овчину сторож, по-видимому, только что сменивший ночного. Спит он или нет, и как пройти мимо него? А вдруг он остановит?

Один миг у князя Ивана даже мелькнуло – не вернуться ли ему назад, но это только мелькнуло, и как раз именно в этот миг он решил войти в ворота. Сторож не шелохнулся, как будто ему и дела не было, что проходят мимо него.

Косой вошел на широкий, окруженный службами двор. Тут не спали; по движению на дворе, по хлопавшим половинкам выходящих на двор дверей видно было, что в дворце Елисаветы давно уже проснулись. Мимо переодетого князя Ивана пробежали две дворовые бабы, затем видел ливрейного лакея, выбегавшего на крыльцо с трубкой – покурить. В окнах нижнего этажа, где, вероятно, помещалась кухня, заметно было движение. Князь Иван стоял, озираясь.

Вдруг в одном из этих окон поднялась половинка и высунувшийся поваренок крикнул:

– Дяденька, коли есть хочешь – иди: у нас есть чем покормить тебя!

Князь Иван, еще идя сюда, решил подчиниться тому, что будет с ним. Зов поваренка относился, по всей видимости, к нему.

Он оглянулся опять кругом – нет ли кого-либо еще тут, кого могли бы позвать, и пошел наугад к двери, ближайшей к тому окну, из которого прокричал поваренок.

Дверь как бы сама собою растворилась перед ним, и лакей точь-в-точь в такой же ливрее, как тот, что выбегал покурить, только постарше, встретил Косого за дверью. Он именно встретил его и, ни слова не говоря, повернулся и стал подниматься по лестнице, словно и не сомневаясь, что за ним будут следовать.

Князь Иван с замиранием сердца, неловко стуча своей деревяшкой по ступеням, начал тоже подниматься. Он хотел бы объяснить лакею, что ему нужно видеть кого-нибудь из доверенных лиц великой княжны, хотя Лестока, но тот пока не спрашивал никаких объяснений, и князь Иван шел.

Лестница кончилась входом в полутемный коридор.

«Ну, здесь он меня спросит наконец, что мне нужно, – подумал князь Иван, – и я объясню ему, да, конечно, я скажу прямо, что хочу видеть Лестока! А на всякий случай у меня

кольцо с собою, “кольцо великой княжны”!» – вспомнил вдруг он и улыбнулся тому, как он раньше не подумал об этом и волновался, когда у него был такой верный пропуск хоть к самой великой княжне!

Однако ни кольца, ни каких бы то ни было переговоров не требовалось. Лакей уверенно провел князя Ивана по коридору и, дойдя до одной из дверей, все так же молча растворил ее и остановился, как бы пропуская князя.

Косой поглядел на него. Лакей относился к нему так, как, по всем вероятностям, не относился бы к простому нищему.

Что же это было? Обыкновение ли здесь такое или, может быть, ко всем нищим относились здесь так? По лицу лакея нельзя было догадаться ни о чем. Он отворил дверь и спокойно ждал, пока князь пройдет в нее, едва же тот переступил порог, дверь за ним затворилась без шума.

Князь очутился в полутемной проходной комнатке, куда проходил слабый свет из оконца над дверями, и где стояли сундуки и шкаф с платьем. Князь Иван невольно подошел к двери, не к той, в которую впустили

его, а к противоположной, над которой было оконце. Дверь оказалась запертою.

Комната, в которой стоял князь Иван, как видно было и по вещам, находившимся в ней, и по запаху камфары, смешанной с табаком, была шкафною, где хранились платья. Но чьи? – для гардероба великой княжны тут было слишком мало места.

Но не успел еще князь Иван оглядеться хорошенько, как щелкнул замок, комната на мгновение осветилась, и Косой увидел перед собою незнакомого, видного человека с приятным и симпатичным лицом. Он вошел и остановился вполоборота к князю Ивану, придерживая припертую дверь правою рукою, а левую протянул к Косому. Это был не Лесток.

– Бумаги есть? – отрывисто спросил он. – Скорее, разговаривать некогда.

«Какие бумаги?» – хотел было спросить Косой, удивленный и прежде уже, когда его вели сюда, а теперь вполне пораженный сделанным ему вопросом.

Но протянутая к нему рука, поспешная настойчивость вопроса и необычайность поло-

жения до того смутили его, что он, ничего не раздумывая и не спрашивая, послушно сунул в эту руку свою копию записки.

– Спасибо! – услышал он.

Полумрак шкафной снова осветился, дверь быстро захлопнулась, замок опять щелкнул, и князь Иван снов остался один. Он невольно попробовал свою голову, как бы желая удостовериться, что не спит.

За дверью слышались голоса, но слова нельзя было разобрать. Потом, почти сейчас же, все смолкло.

Князю Ивану оставалось только развести руками и постараться уйти. Главное, зачем он приходил сюда, был сделано: записка передана. Князь был бы спокойнее, если бы удалось передать ее Лестоку, но ведь ему даже опомниться не дали. Привели, провели, поставили в темную комнату и просто спросили: «Бумаги?» – а записка была уже в руке у него. Он ее и отдал.

Лишь тогда, когда он, выйдя в коридор, где лакей ждал его и снова провел к лестнице, уже стал спускаться по ней, он вдруг схватился за лоб и провел по нем рукою. Он понял,

как ему показалось, все, что случилось с ним, вспомнил о виденном им вблизи дворца великой княжны нищем старике в таком же точно одеянии, какое было у него. Вероятно, это был тоже переодетый, но привычный гость дворца великой княжны, который приносил сюда откуда-нибудь нужные сведения, и сегодня его, князя Косого, приняли здесь за этого своего, привычного человека. Успокоившись на этом, князь свободнее зашагал, следуя за ливрейным лакеем.

Теперь он уже не боялся того, что его записка попала не туда, куда следует; ошибки уже быть не могло... А что касается того, что не знали, кто принес ее, то это князю Ивану было решительно безразлично. Он сделал по совести то, что считал полезным для великой княжны, вовсе не из-за награды и не из расчета выслужиться пред ней. Так не все ли равно, будет ли она знать, что это он принес или кто-нибудь другой?

Князь Иван благополучно вернулся домой, переоделся в бане, вымылся и вошел в дом как ни в чем не бывало.

Левушка уже встал. Они напились вместе

чая, поговорили, простились, и князь Иван уехал, совершенно довольный и счастливый, обещал не засиживаться за границей и вернуться как можно скорее.

– А от вас Сонюшке Соголевой кланяться буду! – прокричал ему вслед Левушка с крыльца, но ветер отнес его слова, и князь Иван, не расслышав их, помахал рукой и еще раз приподнял свою шляпу.

Глава вторая. 25 ноября

I

Двадцать пятого ноября, рано утром, Сонюшка была разбужена раньше обыкновенного каким-то необычайным движением во всем доме. Двери хлопали, по комнатам бегали, стуча сапогами. Слышался крикливый голос ее матери, имевшей привычку вставать гораздо позднее. Борясь еще со слипавшим ей глаза сном, Сонюшка напрасно силилась понять, что, собственно, происходило.

У ее двери слышались шаги, и Вера Андреевна просунула голову к ней в комнату и резко прокричала: «А, вы еще спите! Отлично! Можно бы и встать было!» – и снова побежала к себе.

Сонюшка решительно не могла понять, зачем поднялся этот переполох и отчего не пришла няня разбудить ее. Уж не с Дашенькой ли что-нибудь случилось? Но через несколько минут сама Дашенька пришла к ней:

– Ты ничего не знаешь?

Сонюшка, начавшая уже одеваться, успела только вопросительно взглянуть на нее, как та снова подхватила:

– Великая княжна Елисавета Петровна не великая княжна больше...

– Как, не великая княжна, что же с ней?..

– Она – императрица. Сегодня вошла на престол...

Первым движением Сонюшки было перекреститься и сказать: «Слава Богу!» Она сделала это так же невольно, как крестились и говорили «слава Богу!» все русские люди, узнавая о совершившемся в ночь на 25 ноября событии. И тут только, в этом невольном выражении искреннего чувства, сказывалось то, что этого события все давно ждали и как-то даже были уверены в нем – уверены, что оно должно было случиться.

– Но только правда ли это? – спросила Со-

нюшка.

– Ну вот еще – не правда! Ты на улицу по-смотри...

Сонюшка успела уже надеть чулки и, на-кинув халатик и сунув свои маленькие нож-ки в старенькие ночные туфли, подбежала к окну, а потом заглянула за край занавески.

По улице, слабо еще освещенной утренни-ми сумерками, шел прямо посреди народ, раз-махивая руками и разговаривая, сторонясь от торопившихся, редких, впрочем, экипажей. Соголевы жили на одной из небойких улиц, но и она сегодня отличалась заметным ожив-лением.

– Сегодня всю ночь люди говорили, весь го-род не спит, – начала опять Дашенька. – Я проснулась сегодня – точно меня толкнуло что. Слышу, у нас ходят. Все уже встали, но со-всем темно еще и лампадка горит. Я посмот-рела на часы у маменьки – семь часов толь-ко... Попробовала заснуть – не могу. Как рас-светло наконец, я подошла к окошку, вижу – народ на улице, как в тот день, когда Бирона арестовали, только теперь больше. Я мамень-ку разбудила. Тут пришла няня и сказала, что

случилось. Тебе не страшно?

– Нет, чего тут страшного? – улыбнулась Сонюшка.

– Ну, я пойду! – и Дашенька, не рассказав ничего толком, убежала.

Соня поспешно оделась и вышла в комнаты. Они были не убраны со вчерашнего дня, и Сонюшке сейчас же нашлось дело. Слуги все были разосланы в лавочку, на Невский, на перекресток для собирания новостей. Няня пошла в церковь узнать, нет ли там каких-нибудь известий.

Мать заставила Сонюшку вытирать пыль и сама было принялась поправлять мебель, но только сердилась и мешала.

Пришла няня. Она рассказывала, что толком добиться ничего нельзя. Знают только, что Елисавета Петровна сама провела солдат в Зимний дворец, что все немцы арестованы. У дворца, на Царицыном лугу, стоят войска, которые всю ночь там были и костры раскладывали, но что порядка от них никакого. Все толкуются там. Кабаки заперты. Государыня, говорят, выходила на балкон, а потом к солдатам на площадь, и все ко двору едут кареты,

кареты и всю ночь ехали. Купцам, говорят, выйдет преимущество, чтоб одни только русские торговали. Немецкие церкви закроют и на каждого иностранца штраф наложат. На улице ни одного немца – все попрятались. Сапожник Карл Богданович, что через три дома от них торгует, на погребке сидит – спрятался.

Вообще сведения, принесенные няней, а затем и другими слугами, были до того сбивчивы и столько в них казалось несуразного, что трудно было отличить в них правду от выдумок улицы.

Вера Андреевна сердилась, кричала на них и ходила, выказывая непомерную деятельность и торопливость, как будто, кроме нее, решительно никто ничего не понимал, а она одна уже знала все и прямо решала, что правда и что неправда. Она бегала из комнаты в комнату, совалась к окнам, шумела платьем и откидывала юбки ногой, поворачиваясь на ходу, но из ее суетни, разумеется, ничего не выходило.

– Нет, так невозможно, – решила наконец она. – Нужно пойти узнать – у нас никогда ничего не добьешься, пока другие люди не на-

учат. – Сказала она это так, словно виновата была в том, что «у нас ничего не добьешься», не кто другой, как Сонюшка, и она строго добавила ей: – Мы с Дашенькой отправимся, а если приедет кто, вы можете принять, сказав, что я вернусь...

И она заторопилась одеваться. Дашенька давно уже порывалась побежать из дома на люди, чтобы узнать все поподробнее, и не заставила себя ждать. Соня должна была помочь им одеться.

Они ушли в двенадцатом часу. Соня осталась одна. Она пошла к себе в комнату, не торопясь, причесалась; надела то самое платье, в котором была, когда приехал к ней Косой (это платье было всегда ее любимым) и прошлась по затихшим теперь и опустевшим комнатам.

Дворовые девушки, пользуясь необычностью дня, все разбежались, даже няня ушла опять куда-то. Только старик-лакей Матвей, неизменный старым преданиям бабушкина дома, оказался на своем посту в прихожей с чулком в руках.

Хотя Сонюшке, которой не взяли с собой, и

нечего было делать, как сидеть дома, но это вполне соответствовало ее настроению. Ей хотелось остаться одной.

Более месяца тому, как князь Иван заезжал к ним вечером накануне своего отъезда. Его не приняли, потому что так пожелала Вера Андреевна. Он прислал Соне милое, хорошее письмо, в котором писал, что будет помнить ее, будет думать о ней и постарается как можно скорее вернуться назад, чтобы снова увидеть ее. Целый месяц она терпеливо ждала его, последние же дни начала понемногу волноваться. По ее расчетам, князь должен был приехать со дня на день.

Соне казалось почему-то, что он должен вернуться именно сегодня. На самом же деле ей казалось это уже каждый день, и каждый день она уверяла себя, что сегодня это будет наверное, и нарочно старалась оставаться дома. Она подходила к окну, прислушивалась, не входит ли кто-нибудь с лестницы в прихожую, вздрагивала и ходила сосредоточенная и молчаливая, а когда садилась за пяльцы, то дольше обыкновенного засиживалась за работой.

Может быть, князя не приняли бы опять? Сонюшка не знала, отдала ли Вера Андреевна приказ навсегда или на один только раз, и боялась спросить об этом у угрюмого и необщительного Матвея. Но если бы даже Косого и не приняли, ей довольно было бы знать лишь то, что он приехал. Ей хотелось видеть его, говорить, остаться с ним, хотелось, чтобы кончились для нее эта жизнь, лишения и бедность, к которым она не привыкла и для которых ее вовсе не воспитывали.

Лишения и бедность еще ничего – она терпеливо, как теперь, и безропотно готова была бы вынести их; не в этом дело! лишь бы был возле нее любящий, ласковый человек. Ей хотелось ласки, любви, хотелось, чтобы ее приласкали и чтобы самой приласкаться и приглубиться, так крепко-накрепко прижаться, чтобы, как ребенка, приласкали ее. И вот был на свете человек, которого она любит и который любит ее. Но они не могут быть счастливы. Нужно ждать, нужно устроиться, а когда и как все это будет? А вдруг он изменит? Она-то уж не разлюбит его, а он? что он теперь делает? где он – здоров ли, помнит ли о ней и

думает ли, как обещал?

Сонюшка долго-долго сидела одна. Наступил час обеда, накрыли стол, но Вера Андреевна не возвращалась.

Сонюшка, прождав полчаса лишних, не смела одна сесть за стол, несмотря на то, что было очевидно, что мать и сестра остались где-нибудь у знакомых обедать. Она спросила себе бульону и кусок говядины из супа, поела на краю стола, вернулась в гостиную, заглянула на улицу, где движение уже давно стихло, и села на диван, раскинув руки и откинув голову назад, на диванную спинку.

Вдруг в передней послышалось движение, мужское покашливание с холода. Сонюшка привстала: неужели это был князь Иван?..

II

– Сто ж это вы дома и одни? – заговорил Левушка Торусский, входя и потирая руки. – Ну, уж и денек сегодня! Вы кого-нибудь видели, вы подлжности знаете?

Сонюшка ответила, что маменька с сестрой поехали по городу разузнавать эти подробности, а она ничего не видала и ничего не знает.

– Ну, так я вам ласскажу, – обрадовался Левушка, что он первый может передать Соголевой интересные вещи.

Из всех посторонних она скорее других была готова перенести именно Левушку в эту минуту. Она и раньше всегда чувствовала симпатию к нему, а после того, как он оказался близким человеком Косому, он ей стал симпатичнее вдвое.

«Спросить или не спросить?» – думала она, пока Торусский, чувствуя себя хозяином положения, распространялся о том, как он избегался сегодня, везде был, где только могли знать что-нибудь, и даже поймал Ополчинина, который был участником самого «действия» и видел все своими глазами.

Но для Сони Торусский был интересен в другом отношении: он мог знать то, что для нее было важнее всего, важнее всех самых интересных подробностей «действия»: он мог иметь известия от князя Ивана.

Однако спросить прямо она не решалась – Левушка мог заметить. А между тем спросить надо было, потому что с минуты на минуту могла вернуться Вера Андреевна, а при ней

уж и заикнуться даже нельзя было о Косом.

– Ополчинина я знаю, – сказала она, – он недавно поступил в Преображенские. Я с ним у Творожниковых нынче на вечере познакомилась. Он был несколько раз у нас. Вы – приятели, кажется?

– Да, приятели, – подтвердил Левушка.

– А что ваш другой приятель, Косой? – спросила, как бы к слову, Сонюшка, сама себе удивляясь, как просто у нее это вышло (она и об Ополчинине заговорила нарочно, чтобы легче было спросить о князе Иване).

– Никаких известий от него не получаю, жду его со дня на день... Он, как уехал, ничего не писал! Велно, не с кем было письмо отплавить. Ему уже влемя плиехать...

– Ну, так что же вы рассказывали? – спросила Сонюшка: теперь, когда она знала самое для себя главное, она могла слушать Торусского, которому, видимо, чрезвычайно хотелось рассказать поскорее.

– Ну, вот я буду говолить по полядку, – начал он. – Тлетьего дня – сегодня у нас следа? – ну, да, в понедельник, тлетьего дня на култаге во дволце у бывсей плавительницы был

крупный лазговол с госудалыней Елисаветой Петловной.

Видно было, что Левушка не в первый раз сегодня передает свой рассказ, потому что заметно уже понаторел в произношении имени Елисаветы Петровны с названием ее «государыней». Он подчеркивал это название, а также значительно произносил слова «бывшая плавительница».

– Крупный лазговол, – повторил Левушка, – бывшая плавительница прямо сказала, сто ей писут из Блеславля, будто бы Елисавета Петловна имеет сношения с неплятельской сведской алмией, и доктол ее Лесток ездит к фланцузскому посланнику и с ним факции в той же силе делает, и сто в письме из Блеславля советуют алестовать Лестока, так сто Елисавета Петловна не седдилась, если Лесток окажется виновным и его алестуют... Вы знаете, сто ответила госудалыня? Она ответила, сто с влагами отечества никаких аллянцев и коллеспонденций не имеет, а если ее доктол ездит до посланника фланцузского, то она сплосит его об этом...

– Кто же все это слышал? – спросила Со-

Нюшка.

– Сто слышал?

– Да вот этот весь разговор. Неужели правительница и государыня вели его при ком-нибудь?..

Левушка действительно в течение сегодняшнего дня рассказывал уже многим этот разговор, о котором при нем сегодня утром у Творожниковых говорил сенатор Шаховской, но никому и в голову не приходило предложить вопрос, который теперь поставила Сонюшка.

– Кто слышал? Лазумеется, никто, но, вероятно, государыня ласказывала Лестоку! – ответил Торусский и, успокоившись на этом соображении, продолжал, торопясь, чтобы его опять не перебили: – Вчела мы должны были обедать вместе с Ополчининым и еще кое с кем, но вдлуг плед самым обедом заезжает Ополчинин и говолит, сто только сто высел пликаз, стобы все гвалдейские полки выступили к Выболгу в алмию плотив сведов, и сто Ополчинину нужно поэтому ехать сейчас в казалмы. Он заезжал на минутку и добавил только, махнув луками: «Сто тут будет – ум-

лем за правду!»

Дальше оказалось, что Левушка, кроме Ополчинина, махнувшего руками и обещавшего «умереть за правду», никого и ничего не видел. После обеда они сидели недолго и разошлись по домам. Левушка лег, заснул и проспал беспробудно вплоть до утра. Когда же он сегодня рано утром узнал, что случилось, то сейчас же вскочил, оделся и поехал, и ездил по городу до тех пор, пока не узнал всего, чтобы приехать и рассказать ей, Сонюшке.

Как только вчера во дворце Елисаветы Петровны стало известно, что гвардию посылают из Петербурга, от нее явился гонец к гренадерам и потребовал их к ней. Выборные от гренадер явились в двенадцатом часу ночи. Она спросила, может ли она положиться на них; они ответили ей, что будут служить, пока только в силах, но что время терять уже нельзя, потому что объявлен приказ о выступлении в поход. Елисавета Петровна ушла и, говорят, долго молилась пред образом; потом вынесла к гренадерам крест, привела их к присяге и велела им вернуться в казармы, потихоньку собрать роту и ждать, пока она

сама приедет к ним. Она приехала в санях около двух часов ночи. С нею были Воронцов, Лесток и Шварц, ее старый учитель музыки.

Ополчинин рассказывал, что на цесаревне была кираса, и что она, всегда казавшаяся очень красивою, была на этот раз поистине прекрасна.

Придя к собранным гренадерам, она сказала им: «Ребята, вы знаете, чья я дочь; ступайте за мною». Нужно было видеть и слышать, что сделалось с гренадерами. Подъем духа был такой и увлечение так сильно, что если бы не сама же Елисавета Петровна, старавшаяся укротить их, может быть, было бы сделано что-нибудь и безрассудное, в чем впоследствии пришлось бы раскаиваться. Елисавета сказала гренадерам: «Клянусь умереть за вас, клянетесь ли умереть за меня?» Гренадеры ответили ей, что клянутся и готовы костью лечь за нее. «Ну, так идемте!» – сказала цесаревна и, выйдя из казарм, села в сани, а затем, окруженная всей гренадерской ротой Преображенского полка, направилась ко дворцу по Невской перспективе. По дороге послали арестовать Миниха, Остермана, Мен-

гдена и Лопухина.

– Неужели Остерман и Миних арестованы? – спросила Сонюшка. – Я думала, что и само действо при их участии устроено. Как же без них?

Собственно говоря, она раньше ничего не думала ни об Остермане, ни о Минихе, но в продолжение того, как рассказывал Левушка, она все ждала, что в его рассказе появится, наконец, какой-нибудь человек, на которого может опереться, как на помощника, Елисавета Петровна, и что этим человеком будет кто-нибудь из государственных людей.

– Не только они, но и Головкин, и Левенвольд алестованы. Их будут судить, – подтвердил Левушка. – Но это сествие по Невской было выше всякого описания, – продолжал он с таким видом, точно сам присутствовал при этом шествии. – Впеледи всех госудалыня в киласе, в санях, на запятках саней Лесток и Волонцов, а клутом гленаделы!.. И все в полной тисине. Все балабаны были еще в казалмах сломаны, стобы нельзя было плоизвести тлевогу. На самом конце Невской госудалыня вышла из саней, стобы как можно тисе по-

дойти ко дволцу, но она не могла идти сколо. Тогда гленаделы взяли ее на луки и понесли на луках, понимаете ли – на луках понесли ее!

Левушка увлекся и расчувствовался, голос его дрогнул, а блестящие глаза подернулись влагой.

«Какой он милый!» – невольно подумала Сонюшка, глядя на его восторженное, покрасневшее лицо.

– Да, на луках, – повторил Левушка. – Это было ужасно тлогательно. Госудалыня вошла в калаульню. Там встлетили ее востолженно, и она пошла алестовать плавительницу. Алестованных отвезли в дом Елисаветы Петловны. Тут уже в голоде стало известно все, и все стали собилаться во дволец, и войска, за которыми были посланы гленаделы. И все, как один человек, соблались. Сенатолов собилал экзекутол. К утлу все было готово и плочли манифест.

– А кто писал его? – спросила Сонюшка.

– Говолят, Бестужев.

– Как Бестужев? Ведь он же был арестован вместе с Бироном.

– Нет, его велнули уже. Импелатлица сегодня в восемь часов утра надела андлеевскую ленту и объявила себя полковником четьлех гвалдейских полков и плинимала плисягу и поздвления. Она сама выходила на балкон к солдатам...

– Значит, это – правда? – вырвалось у Сонюшки.

– Совелшенная плавда, – подтвердил Левушка. – А отчего вы это сплашиваете?..

III

Сонюшка давно уже, слушая рассказ Левушки, чувствовала в себе смутное представление, как ни было это странно, о некотором сходстве судьбы Елисаветы Петровны, пока она была великой княжной, и своей собственной. Она сколько раз утешала себя, когда ей приходилось подчас очень круто, что вот живет же великая княжна, и кто же – дочь самого Петра Великого, – и жизнь ее далеко-далеко не так хороша, как должна была бы быть; так что же после этого ей-то, Сонюшке, думать о себе? Рассказы, и даже преувеличенные, как всегда, ходили по городу о невозможно тяжелом положении принцессы Ели-

советы при дворе, о тех неприятностях, даже унижениях, которым она подвергалась там. И – как ни странно было – Сонюшка при всем своем сочувствии к Елисавете Петровне находила себе некоторое успокоение в этих рассказах. Терпела принцесса, даже материальные недостатки терпела (и это знали в Петербурге), так что же после этого другим-то оставалось уже делать!

– Да, тепель все те, кто осколблял великую княжну, сильно ласкаются, – проговорил Левушка, как бы отвечая мыслям Сонюшки.

Да уж будто ей так плохо жилось?

– Ей-то? Да как же не плохо. Вы знаете, до того досло, сто ее сажали пли дволе наляду с плоскими дамами, – понимаете? – с пливолными. Вот до чего досло! А вы говолите – неужели плохо!..

– Да, как странно! – протянула Сонюшка. – Подумаешь, еще вчера была она в таком положении, и вдруг сегодня, – самодержавная императрица, почти всемогущая в России, да и не в одной России! Как иногда судьба меняется.

– Сто-с тут стланного? – спросил Левушка. –

Это почти всегда так. Вы читали книгу Иова?

– А вы читали ее? – удивилась Сонюшка.

Она уже давно составила себе представление о Левушке, как об очень милом, но, судя по его же рассказам, по которым он то ужинал, то обедал с кем-нибудь, очень легкомысленном человеке, способном проводить все время весело, но отнюдь не читать Библию.

– Отчего же вы сплассываете так меня? – сконфузился Левушка. – Вы думаете, сто я шушу только – так и не могу Библию читать? А ведь это – мое любимое чтение... Лазве вы не читаете?

Сонюшка учила священную историю по-французски, и именно учила ее. Потом был у ней преподавателем и русский священник, но те отрывки, какие она знала из Библии и Евангелия, она знала по-французски.

– То есть я читала, в свое время, – в свою очередь сконфузилась Сонюшка.

– Ну, так помните истолию Иова? Это – одна из самых тлогательных и самых таинственных. Каждый человек пележивает в своей жизни эту истолию. Лавновесие необходимо, иначе не может быть цельности.

И Левушка, который был настроен сегодня совершенно особенно восторженно, потому что все, кого он видел сегодня, были по поводу случившегося в редко сходящем на человека приподнятом настроении, заговорил особенно задумчиво. Он был взволнован и торжеством русской великой княжны, и тем, что сидит один на один с хорошенькой, давно нравившейся ему девушкой.

Он заговорил, что каждый человек, подобно Иову, испытывается судьбою и что это испытание иногда посылается в начале, в конце или середине жизни, но непременно посылается, и что нет таких, про которых можно было бы сказать, что вот они безусловно счастливы тем счастьем, которое разумеет себе человек. Да и что такое это счастье, то есть в человеческом его смысле? Почему мы знаем, что хорошо для нас, что дурно? Мы иногда слишком ценим то, что на самом деле не имеет никакой цены, а действительно важное — упускаем. И, может быть, именно в тот момент, когда мы скорбим и просим Бога удалить так называемое земное несчастье, лишение, что ли, мы должны были бы именно ли-

шить себя даже и того немногого, что у нас есть.

Никогда еще Сонюшке не случилось говорить так и никак не ожидала она, что именно шепелявый Левушка затеет с нею подобный разговор. Она слушала и смотрела на его как бы освещенное вдохновением лицо, и оно ей вовсе не казалось таким некрасивым и смешным, как прежде; и веснушки как бы сгладились, да и камзол, и шелковый коричневый кафтан, и чулки, казалось, сидели на нем лучше, и сам он преобразился.

– Вы не слухаете? – остановился вдруг Левушка. – Я, может быть, надоел вам?..

Сонюшка подняла наполовину опустившиеся веки. Ей так было удобнее рассматривать Левушку.

– Ах, нет, – сказала она, – продолжайте, пожалуйста!.. мне хорошо слушать вас. Я сама часто думаю об этом. Вы думаете, моя жизнь легка?

Этот вопрос вырвался у нее неволью. Подговор Левушки и, главное, вследствие задушевности его тона, ей стало крайне жаль самое себя, так жаль, что чуть-чуть не захоте-

лось плакать. Правда, это длилось только минуту, и вот тут-то у нее и вырвался ее вопрос.

– Васа жизнь? – переспросил Торусский. – А сто ж, васа жизнь? Вам-то на сто жаловаться?..

Сонюшка уже жалела, зачем проговори-лась при постороннем, чужом ей человеке, но, несмотря на это, ей все-таки не было неловко продолжать говорить – таким простым и, главное, опять-таки задушевым казался ей этот молодой человек.

– Ах, всякое бывает! – вздохнула она.

– Послушайте, – вдруг придвинулся к ней Левушка, – неужели вы... я не хочу сказать – несчастливы, но недовольны своею жизнью? Сто, сто такое?

– Ничего! Тяжело только бывает, и очень тяжело, – ответила Соня и задумалась.

Она думала о том, с каким удовольствием рассказала бы она теперь все-все, что у нее на сердце; но это было так сложно, как ей казалось, что все нельзя было рассказать.

– Вам бывает тяжело? – начал опять Левушка. – Ну, так вот сто я вам скажу! Я не стану спланивать, сто у вас, но я жизнь свою от-

дал бы, стоб вам было легче. Как только я узнал вас – я узнал себя. Нет, это не то я говорю! Одно только – правда, сто я все готов сделать для вас. Если б вы только захотели, я бы вам сказал один секрет, Софья Александровна! Я, плаво же, – недульной человек; позвольте мне... я не говорю, любить вас на всю жизнь, но боготворить, все, все отдать вам... Я вам лучаюсь за ваше счастье... У меня всего довольно есть, и если вы...

Сонюшка, точно разбуженная, взглянула на Торусского, как бы не понимая слов, которые он говорит, но вдруг восприняв смысл их. И снова лицо Левушки покрылось для нее веснушками, стал заметен его курносый нос, маленький, в виде пуговки, и она услышала в говоре его смешную шепелявость, и весь он явился таким, каким она на него не могла, бывало, смотреть без улыбки.

– Нет, ради Бога, не надо этого! – как бы с испугом перебила она.

– Не надо? Отчего не надо?

– Нет, будемте лучше друзьями; вы милый, хороший, славный, но останемтеь друзьями только, не надо портить... Я вас люблю, и все

больше, чем больше узнаю, но никогда не говорите так со мной... не надо этого...

Левушка опустил голову и несколько времени сидел молча.

– Вот это всегда так, – грустно-грустно заговорил он наконец. – Все, кажется, очень любят меня и ласположены ко мне, а говорят, стоб оставаться длузьями... Да я не длужества хочу, я хочу, стоб меня тоже совсем полюбили...

Внутренне Сонюшке было смешно то, что говорил Торусский, и, в особенности, смешно потому, что, как нарочно, они сидели совершенно так же и на тех же местах, как сидела она с князем Иваном. И это сходство, и вместе с тем огромная разница положения не могли не казаться ей забавными. Но ни взглядом, ни улыбкою она не выказала этого Левушке. Ей было жаль его, а она не могла ничего сделать иного, как предложить ему свою дружбу.

– Вплочем, плостите меня: я слишком много захотел, – сказал опять Левушка. – Но если уж вы хотите, стоб я был длугом вам, то вот клянусь вам всем святым, сто буду им. И не думайте, сто я стану помнить зло на вас. Нет,

я не могу этого.

– И не помните, Левушка, – проговорила Соня голосом, в котором слышалось что-то искреннее и родственное, – не помните... у меня так мало таких людей, как вы, так мало друзей!..

– Ну, вот за это, за ваше слово, за одно это слово я готов все сделать. Ну да, будемте длузьями!

Однако несмотря на то, что оба они хотели между собою полного мира и дружеского, искреннего согласия, они сидели молча, и все, что ни придумывали сказать, представлялось им как будто не тем, что следовало бы, и казалось, что вовсе и не нужно говорить.

И Торусский, и Соня одинаково чувствовали неловкость этого молчания, но выйти из него не хотели или не умели. Он не уезжал, продолжая сидеть и не решаясь так вдруг подняться, она не заговаривала, потому что не знала, о чем заговорить ей.

– Да, вот тепель Ополчинин, велно, получит больсие наглады и может в голу пойти – он участвовал вчела! – произнес, наконец, Левушка, по-видимому, совершенно как бы

некстати, но тем не менее дойдя до этого соображения совершенно последовательным путем.

Он думал сначала о себе, о том, что ему не везет в объяснении с девушками, из которых ни одна так не нравилась ему, как Сонюшка, потом естественно его мысли перенеслись на других молодых людей, более счастливых, по его мнению, и среди этих других он вспомнил про Ополчинина и сказал про него вслух.

– Да, теперь многие снова в гору пойдут и многие потеряют, – ответила Сонюшка, благодарно взглянув на Торусского за то, что он прервал наконец молчание. – Вот опять книга Иова! – добавила она, как бы пораженная этим.

После этих слов говорить стало легче, так что явившаяся наконец домой Вера Андреевна с дочерью застала их мирно разговаривавшими о падении Остермана и Миниха.

Хотя Вере Андреевне хотелось самой поскорее рассказать все, что она узнала в этот день, но, рассказывая сама, она все-таки заставила повторить Левушку все, что он знал о вчерашнем, беспрестанно перебивая, поправ-

для его и спор с ним.

Существенное разногласие у нее с ним вышло относительно времени, когда государыня вернулась к себе во дворец из Зимнего, – вместе или отдельно от арестованных? Затем Вера Андреевна очень настаивала на том, что Воронцов, Лесток и Шварц сами отправились в санях с гренадерами, чтобы приглашать во дворец духовных и светских знатных особ.

Когда Левушка, согласившись с этим, уехал, Вера Андреевна не могла не обернуться к Сонюшке и сказать ей с упреком:

– А вы, моя милая, вечно одни с кавалерами беседуете!..

Глава третья. Награжденные и наказанные

I

Анна Леопольдовна пала жертвой русского народного недовольства и была свержена Елисаветой Петровной, не имевшей определенной партии и не составившей какого-нибудь хитро обдуманного заранее плана. За Елисавету было народное чувство, и ее внезапный поступок как бы явился результатом суммы отдельных желаний, которые одина-

ково чувствовались как генералом, так и солдатом в гвардии, и как первым вельможей, так и простым мужиком среди вольных людей. Но, главное, за Елисавету было поведение самой правительницы, весьма понятно пристрастной к иностранцам, а к одному из них, графу Линару, в особенности.

И граф Линар, благодаря которому в свое время спасся от падения Остерман, теперь послужил именно одною из причин того, что Остерман лишился всего, потому что он скомпрометировал правительницу, ибо недовольство ею во многом зависело от пребывания Линара в Петербурге.

Над Остерманом, Минихом и над другими, арестованными вместе с ними, был назначен суд.

Но, наряду с судьбою пострадавших, еще более интересовались теми, кто всплывал наверх. На первом же торжестве нового царствования, 30 ноября, по поводу орденского праздника Андрея Первозванного, были розданы щедрые награды. Затем каждый день молва приносила вести о тех или других милостях новой императрицы. Рассказывали,

что особенно будут отличены Преображенские и их гренадерская рота, конвоировавшая Елисавету Петровну во время переворота. Впрочем, слово «переворот» вовсе не употреблялось, а говорилось «благополучное восшествие на престол ее императорского величества Елисаветы Петровны».

Все эти слухи, предположения и рассказы волновали общество, и страсти разыгрывались, потому что каждый весьма естественно воспринимал события постольку, поскольку они могли касаться его самого, и каждому, от мала до велика, так или иначе хотелось урвать что-нибудь.

Один Левушка, живший как-то без особенных планов и мечтаний, принимавший жизнь просто так, как она слагалась для него, не желал ничего себе особенного, но все-таки суетился и вертелся, как волчок, целый день рыская по знакомым и проводя время с товарищами, молодыми людьми. В этой суете время проходило так быстро, что он почти не замечал его.

Объяснение с Сонюшкой не оставило в нем никакого следа горечи. Оно случилось

неожиданно для него и потому казалось несерьезно. Напротив, Соня была так мила в этом объяснении, что он вполне успокоился обещанной ею дружбой. Так даже выходило как будто лучше.

Одно лишь беспокоило Левушку, а именно, неимение никаких известий от князя Косого, который все еще не возвращался и не давал ничего знать о себе.

Для Левушки время после отъезда Косого, в особенности последние недели, прошло очень скоро и, главное, совсем вне дома. Он как-то не то что не имел времени, а просто не хотел теперь, привыкнув к совместной жизни с хорошим человеком, оставаться один. Он не обедал дома, не сидел, не читал, приезжал только ночевать, со дня на день ожидая, что вот-вот приедет Косой и они снова заживут с ним по-прежнему.

Однако Косой не возвращался так долго, что, несомненно, с ним что-нибудь случилось в дороге. По самым тщательным расчетам, он мог по крайней мере уже два раза съездить к месту своего назначения и обратно, а не только вернуться в Петербург.

Левушка соображал, уж не решил ли князь Иван остаться за границей, но тотчас успокаивал себя соображением, что в этом случае тот дал бы знать.

Наконец Левушка решил серьезно обдумать и сообразить, нельзя ли как-нибудь выяснить, что сделалось с Косым. Он долго ходил по своему кабинету и сначала перебирал на разные лады все обстоятельства, которые, возможно, случились с Косым, но ничего определенного не мог придумать. Тогда он начал изыскивать средства, чтобы навести о князе Иване справки. Первым делом он решил съездить в иностранную канцелярию – не было ли там каких-нибудь известий, затем побывать в немецком посольстве. Там могли навести справки и в Дрездене, и в Бреславле, и в Лейпциге.

Пока Левушка ходил у себя в кабинете, его поразил непривычный шум шагов в верхнем этаже. Тогда он призвал Петра Ивановича:

– Слысись?

Петр Иванович посмотрел на потолок и спокойно ответил:

– Так точно. Это вещи переносят.

– Какие вещи? – удивился Левушка.

– А нового жильца-с. Так как я докладывал вам, что барыня писала, чтобы верхний этаж для доходности сдать под жилье смирным людям, и вы мне тогда приказали поступить сообразно приказу барыни, то я и сдал верхний этаж, о чем тоже докладывал вам. А сегодня туда переезжают. Возы привезли и, говорят, сам барин со дня на день приедет.

Левушка так давно не был дома и так мало интересовался тем, что тут происходило, что совершенно забыл, что действительно Петр Иванович докладывал ему обо всем этом, но он пропустил как-то это мимо ушей. Ему стало стыдно пред Петром Ивановичем за такое невнимание.

– Кто же этот балин? – спросил он.

– Из именья, из-под Москвы, помещик, сказывают. Для него помещение-то купец наш сымал, он ему письмо писал об этом. Знакомы они по Москве. Говорит, что богатый. Цену дали хорошую. Я барыне отписал. Они изволили согласье дать.

– Ну и отлично, – подтвердил Левушка, – лишь бы спокойный человек был.

– Купец его очень хорошо аттестовал! Один барин всего и есть, а целый этаж занял; должно быть, и правду богатый...

II

В тот же день, когда Торусский сидел за послеобеденным чаем, приехал с дороги новый жилец. Левушка узнал это по прозвеневшим под самыми окнами бубенцам тройки, стихшим у ворот и зазвучавшим снова через некоторое время уже на дворе.

«Что ж это он на двор въезжает, а не к парадному крыльцу?» – подумал Левушка и, чтобы посмотреть на вновь прибывшего, пошел к себе в спальню, выходящую окнами на двор.

Сквозь замерзшее стекло он увидел в сумерках зимнего дня тройку с потными лошадами и огромный с важами возок. Приехавшие ранее дворовые увидели сверху барский возок и кинулись по стеклянной галерее, примыкавшей к дому со стороны двора в верхнем этаже, вниз, навстречу барину.

Окно возка раскрылось, оттуда высунулась рука, долго повозилась с ручкой дверцы, и наконец дверца эта отхлопнулась. Соскочив-

ший с козел гайдук засунул обе руки в возок и бережно вытащил довольно больших размеров кованый сундук, а вслед за сундуком вылез укутанный с головой в шубу маленький человечек, лицо которого и разобрать нельзя было.

Все это имело такой вид, будто не барин приехал, а привезли в возке главным образом сундук, а при нем уже состоял маленький человек в шубе.

«Надо будет его хотя к чаю пригласить, а то ведь с дороги у него нет ничего», – решил Левушка и послал мимоходом сказать встречавшему на дворе жильца Петру Ивановичу, чтобы тот пригласил его вниз к барину чай пить.

Через несколько времени Петр Иванович явился несколько недовольный и нахмуренный и доложил, что «жилец» просил благодарить и что-де придет непременно, как только устроится немножко.

– Только это – не настоящий барин, – заявил Петр Иванович. – Кажется, мы маленькую промашку сделали, связавшись с ним. Не настоящий барин совсем. Одно – если деньги

платить будет, да смирный. Вот что семьи нет у него и собак – это хорошо. А деньги, верно, есть – сундучище во какой вынесли, и он все носит с ним: под кровать сундук не подлезал, так он чурки велел под ножки кровати-то поставить и все-таки сундук под нее спрятал. Ключи от всех дверей потребовал и все замки осмотрел.

Слова Петра Ивановича, что это – не «настоящий барин», безусловно подтвердились, когда к Левушке явился новый жилец их дома. Это был маленький, худенький человечек с беспокойно бегавшими глазками, нервный, казавшийся на вид лет пятидесяти.

Левушка, как увидал его, так и убедился сейчас же, что никогда уже звать его к себе не будет и сам к нему не пойдет. Несмотря на то, что гость, видимо, принарядился, чтобы сойти вниз, он все-таки казался очень плох в своем деревенского покроя суконном кафтане и плохо натянутых шерстяных чулках.

Он вошел, потирая руки, и на вежливый поклон Левушки расшаркался как-то особенно антипатично. Он не кланялся, а изгибался всем корпусом.

– Позвольте познакомиться, – заговорил он, сильно двигая губами и показывая из-за них один-единственный большой плоский желто-белый передний зуб, – зовут-с меня Игнат Степанович Чиликин...

– Чиликин? – переспросил Левушка, сделав шаг назад.

– Да-с, Чиликин, Игнат Степаныч... Может быть, изволили слышать фамилию?

– Нет! Вы к какому дворянству, собственно, принадлежите? к московскому?

Левушке было важно не столько знать, к какому именно дворянству принадлежал Чиликин, сколько выяснить, дворянин он вообще или нет, а спросить прямо об этом он считал неудобным.

Но Чиликин ответил уклончиво:

– Я из-под Москвы. А вы будете господин Торусский, племянник владетельницы настоящего дома?

Левушка в свою очередь не ответил, кто «он будет», и просил гостя сесть, предложив ему чая.

У Левушки была одна особенность: с антипатичным ему человеком ему становилось

тяжело, невыносимо, и он в таких случаях обыкновенно сидел насупившись и молчал, под конец же у него всегда разбалчивалась голова. Он и теперь сел глубоко в свое кресло у камина, вытянул вперед ноги и уставился на красневшие в камине уголья.

Однако Чиликин не смутился этим. Он преспокойно взял поданный ему стакан чая, захватил большую порцию меда на ложку и, облизав ее, стал запивать неспешными глотками.

– Хотите рома? – спросил Левушка.

Чиликин с охотой попросил рома и начал рассказывать, что никогда не бывал в Петербурге и что теперь приехал по важному для себя делу.

Левушка слушал и старался разобраться, что это за человек пред ним. Неужели все жители провинции теперь таковы? Но нет, он помнил провинцию по своим сравнительно еще недавним воспоминаниям и никогда не знал таких людей, как вот этот Чиликин.

А тот в это время приставал к нему с разными мелочными просьбами – переделать замки у дверей, повесить новый замок, по-

больше, у входной двери, не надбавлять платы за лишнее стойло, принять водовоза на свой счет, словом – нашел целый ряд совершенно не интересовавших Левушку вещей, благодаря которым мог сделать себе грошовую выгоду.

– Это – не мое дело, – не выдержал наконец Торусский, – это – дело нашего человека Петра, вот что встретил вас. Ему поручено заведование домом.

– Ах, нет, что вы! Как же я могу разговаривать о таких вещах со слугою? Он просто – хам и больше ничего. А вот прикажете вы – это другое дело будет. И не посмеет ослушаться-с... Нет-с, уж вы насчет замочков-то распоряжение отдайте!.. – заключил Чиликин, принимаясь за третий стакан чая с ромом.

Ром ли действовал на него или последорожное состояние, но только он становился все разговорчивее и разговорчивее, по мере того как Левушка делался угрюмее. Тот даже почти перестал отвечать, а говорил только «да» и «нет».

А Чиликин, как бы не желая замечать, что давно надоед, расспрашивал Торусского о его

связях и положении общества, причем, спрашивая Левушку, знает ли он того или другого, выказал довольно основательное знакомство с именами высокопоставленных лиц, а также и тех, через которых к ним была дорога.

После такого подробного опроса Чиликин, улыбаясь, приступил к Левушке с новою просьбой.

– Вот что-с, Лев Александрович, – начал он таинственно, – я вижу-с, что вы – человек просвещенный и знакомства такие имеете и, насколько могу судить, не пустослов-с. Ну, так вот что: могу я у вас совета спросить по моему делу, по которому я приехал сюда, в Петербург?

Левушка пожал только плечами.

– Да-с, дело у меня крайне важное. Вот видите ли, вы меня изволили спросить, к какому дворянству принадлежу я, и я уклонился от ответа тогда. Ну а теперь скажу, что в том-то и беда моя, что я не принадлежу еще к дворянскому сословию и не имею права владеть населенными имениями. Чувства и все прочее имею совершенно дворянские, а населенным имением владеть не могу. Вот я и прие-

хал похлопотать, нельзя ли при новых веяниях, с восшествием на престол всепресветлейшей государыни Елисаветы Петровны, получить нужное мне звание.

– За какие же заслуги, за сто же вам могут дать дворянство? – почти со злобой спросил Левушка.

– Мало ли какие заслуги! Я денег больших не имею, но из тех крох, что есть у меня, готов уделить на дела благотворения, сделать пожертвования; вообще, я думаю, с деньгами можно-с сделать многое, лишь бы они были.

Теперь Чиликин становился совершенно ясен. Он явился в Петербург, чтобы при помощи денег (которых, вероятно, у него были «не крохи», как он говорил, а гораздо больше) получить себе дворянство ради выгоды владеть населенным имением и покупать людей.

Левушке это было противно. Он с наслаждением сказал бы этому господину с плохим зубом, чтобы он не верил так слепо в силу своих денег, но, к сожалению, должен был сознаться, что знал несколько фактов, которые заставляли молчать его.

Когда Чиликин простился наконец и ушел,

Левушка вздохнул, точно с плеч у него сняли непомерную, давившую его тяжесть.



Торусский на другой же день отправился в канцелярию иностранных дел и в немецкое посольство, но ни тут, ни там не было и признака известий о князе Косом. Делать было нечего, Левушке оставалось после этого одно только – ждать.

Прошло еще около месяца, наступили рождественские праздники, а Косой не возвращался. Накануне Нового года вышел именной указ с наградами преображенцам. Гренадерская рота получила название Лейб-кампании, капитаном которой была сама императрица. Унтер-офицеры и все рядовые не из дворян были пожалованы в потомственные дворяне и получили именья. Остальным ротам Преображенского полка и другим гвардейским полкам были пожалованы денежные награды.

Сонюшка заждалась и истомилась. Сначала она придумывала разные комбинации, в силу которых мог задержаться князь Иван за границей. Но мало-помалу изобретательность ее истощилась, и все чаще и чаще при-

ходило ей на ум, что, может быть, Косой просто встретился с кем-нибудь, кто заставил его забыть о ней. В такие минуты она старалась вспомнить его лицо, правдивые, честные глаза и успокаивала себя тем, что это невозможно. Она опять перестала спать по ночам, сидела, поджав ноги, на постели и все думала об одном и том же.

Она ходила, пила, ела, садилась за работу, но точно это не она была, а кто-нибудь другой, посторонний, сама же она ничего не могла делать – только думать и думать. Выходки Веры Андреевны даже не волновали ее; она ко всему как-то была равнодушна и безучастна.

Вывозили ее на вечера вместе с Дашенькой. Она ехала туда и проводила время покорно, но совершенно апатично. И вот что она начала замечать с каждым днем за собой: с каждым днем ей становилось все труднее и труднее думать, и все большее и большее усилие требовалось ей для этого. Иногда, чтобы связать последовательно несколько мыслей, ей требовалась такая работа, что после нее она ощущала как бы физическую усталость.

Один раз только Соне было весело, но каким-то ненормальным, почти сумасшедшим образом.

Это было на праздниках, на катке, устроенном на Па-де-Кале. Было ясное, морозное утро. Почти все молодое общество Петербурга собралось тут.

Такие праздники на катке вошли в моду еще при царе Петре, по образцу Голландии. Довольно значительное пространство гладкого, вычищенного льда обсаживалось елками, увешанными венками из бумажных цветов и флагами. Между елок шли гирлянды разноцветных фонарей, зажигавшихся вечером. Молодые люди на коньках бежали за санками, красиво и причудливо устроенными в виде какой-нибудь пестро раскрашенной лодки, птицы или зверя, обитыми бархатом и убранными кисточками, ленточками, колокольчиками и бубенчиками. Барышни со своими мадами сидели на особо устроенном помосте, возле обставленных елками хоров, где играли рожечники. Мужчины со своими санками с размаха подбегали к какой-нибудь, заранее избранной, как в танцах, приглашали ее

сесть в свои санки и во весь дух мчали, наперегонки с другими по льду, один круг, два, три, подвозили к прежнему ее месту, высаживали и подъезжали к другой. Дамы постоянно менялись, менялись и кавалеры, и это было очень весело. Главное, тут не требовалось ни знакомства, ни официальных представлений. Молодой человек, выбрав первое хорошенькое личико, лихо подкатывал свои санки. Отказа не могло быть. Всякая, явившаяся на каток, обязана была сесть и позволить провезти себя один полный круг, затем сказать, если желала этого, чтобы ее везли на место. Все это делалось быстро, под неумолкаемые звуки роговой музыки, звон бубенцов, колокольчиков и крики и смех.

У Соголевых не было мадамы, и потому их привезла на каток сама Вера Андреевна. Она была в новой, сшитой на заработанные Сонюшкой деньги, шубке, Дашенька тоже была одета в новое; одна Сонюшка, точно ей было безразлично, сидела, кутаясь в старенькую бархатную шубку. Правда, эта шубка темно-гранатового бархата была лучше многих и, была ли сшита лучше других, или Сонюшка

умела ее носить, но казалась гораздо лучше, чем новые вещи на Дашеньке и на Вере Андреевне.

Сонюшка сидела возле Дашеньки и Рябчичи, как-то целиком уйдя в себя, словно прислушивалась и приглядывалась не к тому веселью и шуму, которые были кругом нее, но к тому, что происходило внутри у нее.

Да, кругом веселились, радовались и смеялись, а ее сжимала жгучая, щемящая сердце тоска.

Сегодня ей было как-то особенно не по себе. Она слишком часто привыкла в толпе молодых людей искать и находить знакомое уже ей до мельчайших оттенков выражения лицо Косого. И сегодня она несколько раз углядела всех, но князя Ивана не было. Она знала это раньше. Будь он тут, она бы почувствовала это, не глядя.

Однако невольно Соне пришло в голову, как было бы хорошо, если бы он, ее милый, был тут! Она среди окружавшей ее толпы видела некоторых, которые с особенным, понятным ей счастьем садились в известные санки. С каким счастьем села бы она тоже в сани Ко-

сого, будь он тут!

И вот Сонюшка, закрыв глаза, стала вообразать себе, что он тут, ищет ее, ждет и беспокоится, наконец вдруг увидел ее, улыбнулся одними глазами только, так, как он делает это всегда, когда видит ее, и бежит к ней так, что никто не может догнать его. Вот он впереди всех и, круто сделав заворот, останавливается вдруг пред нею...

В это время Сонюшка слышит, что действительно раскатившиеся сани, дрогнув бубенчиками и резнув лед, остановились. Она открывает глаза. Пред ней двоюродный брат Рябчич, ухмыляющийся и вежливо ожидающий, чтобы она села в его сани. Делать нечего – надо было садиться.

Сысоев отлично умел кататься на коньках и добросовестно сделал два круга с Сонюшкой. Когда он подвез ее на место, рванулась было Дашенька, думая, что Сысоев выберет и ее, но тот преспокойно повернул сани и отъехал в сторону. Наденька Рябчич крикнула ему, чтобы он вернулся, но он не слышал.

Почти вслед за Сысоевым подъехал Левушка.

– Софья Александровна, пожалуйста!..

Сонюшка ехала уже второй раз, а Дашенька еще не каталась ни разу. Вера Андреевна недовольно поморщилась.

Подъехал молодой Творожников и увез Рябчич. Вера Андреевна кусала губы.

Сонюшка отлично видела ее недовольство и сейчас же поняла причину его.

– Вот что, – сказала она Левушке, когда они отъехали, – провезите, пожалуйста, также и мою сестру...

– Васу сестлу? зачем? – спросил Левушка. – Здесь ведь полная свобода выбола. Таково плавило...

Когда они вернулись, Вера Андреевна сидела мрачнее тучи. Она готова была подняться и уехать, если бы это не было сочтено за постыдное бегство. Дашенька делала вид, что ей вовсе не хочется кататься.

Левушка отъехал к группе молодых людей, отдохавших и оправлявших коньки. Среди них был и молодой Творожников, только что прокативший Рябчич.

– Знаете, планиметрия злится, зачем ее «китайский божок» сидит, а ездит сталшая, –

сказал ему Левушка.

У них в тесном кружке уже давно почему-то Вере Андреевне было присвоено, хотя, правда, совершенно нелепое, но почему-то нравившееся название «планиметрия» – кажется, потому, что она при ком-то стала рассуждать об этой науке. Что же касается «китайского божка», то это название, данное Дашеньке Косым, так и осталось за нею.

– Да ну? – сказал Творожников. – Сейчас поеду бесить планиметрию.

И он отправился к Сонюшке.

Это слышали другие, стали спрашивать, в чем дело, и, узнав, летели тоже к старшей Соголевой.

Из этого вышло то, что Сонюшка не только не сидела ни минуты, но, напротив, ее даже ждали, так что ей приходилось переходить из одних саней прямо в другие, и едва она успевала опуститься на сиденье, как ее подхватывали во весь дух, и она неслась со страшной быстротою по гладкому льду, точно убегая от всяких неприятностей, так что тяжелые мысли не могли догнать ее. Эта быстрая-быстрая, сумасшедшая езда захватила ее, заставила

рассеяться и не то, что забыться, а мешала ей сосредоточиться. И ей было хорошо.

– Вы не боитесь? – спрашивали ее.

– Нет, пожалуйста, – отвечала она.

И сани неслись, перегоняя остальные.

Вера Андреевна выходила из себя, совершенно не подозревая, что дает этим спектакль молодым людям, которые находят его очень забавным. Она несколько раз пробовала указывать знакомым на младшую дочь, но те, как бы не понимая ее намеков, все-таки обращалась к Сонюшке.

Наконец уже и Рябчич не вытерпела:

– Что это меня никто не катает? – сказала она. – Все только Сонюшку!

IV

Есть что-то захватывающее, увлекательное в быстрой езде, и эта езда именно таким образом влияла на Сонюшку. Она не имела времени дух перевести. Подъезжали к ней и незнакомые, и всем одинаково отвечала она и благодарила.

Позже других на каток явился Ополчинин. Он был награжден деревней и повышен в чине и теперь считался человеком не только со-

стоятельным, но и таким, у которого много еще впереди. Он начинал свою службу при весьма блестящих для себя обстоятельствах. И это он сразу почувствовал после своего удачного участия в действе 25 ноября. Уже тогда к нему стали заметно относиться с большим, чем прежде, дружелюбием, а теперь, после высочайшего указа, по которому Ополчинин получил отличие не наряду с другими, а находился в числе выделенных особо, — к нему относились уже с некоторою долей предупредительности.

И на катке его встретили особенно заметно. Правда, «прежние» его собутыльники, в особенности Левушка и Творожников, как будто держались немножко в стороне, но вместо них нашлись десять других, которые очень любезно заездили вокруг Ополчинина, чуть не готовые сами подвязать коньки ему; когда же он подвязал их, то в его руках очутились уже санки, услужливо уступленные ему одним из «начинавших» молодых людей.

Санки были очень красивые, в виде белого лебедя, горделиво выгнувшего свою длинную шею. Ополчинин взялся за ручки и оглядел

нарядные скамейки, где сидело дамское общество. Он чувствовал, что не одно сердце дрогнуло при этом. Так или иначе, он сегодня на катке был одним из тех, на которых смотрят, спрашивают, где они, и показывают на них, и, разумеется, каждому женскому самолюбию было бы в высшей степени лестно, если бы он подъехал.

Ополчинин понимал это и, испытывая удовольствие польщенного самолюбия, нарочно медленно передвигая ногами, поехал с санками, как бы не смотря на барышень. Были между ними разные, многих он знал. Иные смотрели на него и улыбались ему, как бы подзывая его, другие, напротив, усиленно старались разговаривать с соседками, но Ополчинин знал, что они только и думали о том, чтобы он подъехал к ним.

И вдруг он увидел рядом с не спускавшей с него глаз Рябчич хорошенькое, раскрасневшееся личико Сонюшки. Ее только что привезли на место, и она села, не обращая ни на кого внимания и не делая даже усилий смотреть на кого-либо.

Ополчинину показалось, что она потому

не смотрит на него, что «не смеет» смотреть, не смеет думать, чтобы он обратил внимание на нее, когда тут есть девушки и более богатые, и видные по положению своих родителей.

Так вообразил себе Ополчинин, и вот именно потому, что он вообразил так себе, он подъехал не к кому другому, а к Сонюшке, искренно думая, что осчастливит ее. Она послушно встала и села в его санки.

Ополчинин особенно отчетливо и красиво оттолкнулся коньками и, мерно раскачиваясь, погнал санки, ловко лавируя между другими, которые он обгонял.

С тех пор как Ополчинин протанцевал с Сонюшкой у Творожниковых, он был у Соголевых, говорил с нею, сидел и должен был сознаваться, что и она разговаривала, и держала себя так же мило, как и танцевала, и с нею так же было ловко вообще, как и во время танцев. Теперь, когда она сидела в его санках, и он, то замедляя, то ускоряя по своему произволу ход, легко и скоро скользил, зная, что она должна сидеть так, пока ему не надоест, он чувствовал ее в своей власти. И это созна-

ние власти над нею мало-помалу переходило у него в ряд очень приятных и последовательных мыслей.

– Вы устали? – обернулась к нему Соня. – Довольно...

– Нет еще! – ответил он и, как бы в доказательство того, что вовсе не устал, настойчивее стал отбивать коньками по льду.

Ему было очень весело и очень приятно сознавать себя счастливым обладателем поместья, заслуженного собственным своим усердием. Прежде он всегда мечтал жениться на богатой и составить себе этим путем карьеру. Но теперь неожиданно судьба так побаловала его, и начало его службы принесло ему такую легкую и быструю удачу, что он в самолюбивых грезах мог уже рассчитывать на собственные свои силы. Для своих лет он был достаточно богат и занимал достаточно видное положение, сравнительно с другими. Теперь он мог быть вполне самостоятелен. Как бы там ни было, а богатая невеста все-таки «осчастливила» его, однако этого он не хотел. Он хотел именно сам осчастливить. Добро бы еще он полюбил кого-нибудь из бога-

тых! Но в том-то и дело, что он чувствовал, что никто из всех девушек ему не нравится так, как Сонюшка Соголева.

Женись он на ней (ведь то, что он думал так, ни к чему его не обязывало), и она была бы вполне в его власти. Он знал, что Соголевы бедны. И вот он из бедности берет Соню и вышывает, делает ее своею женой. И она уже из одной благодарности должна терпеть все. Захочет он – приласкает ее, захочет – огорчит и заставит, даже нарочно заставит, претерпеть, чтобы тут же и помиловать и по щеке погладить. Она же такая смиренная, робкая, покорная... И с нею не стыдно показаться куда угодно, воспитана она превосходно. Ему не было дела, как относилась к нему сама Сонюшка. Он слишком любил сам себя, чтобы допустить, что его нельзя было бы полюбить, если он этого захочет.

«Вот если она обернется сейчас на меня, то все это случится», – подумал он, не замечая, что задевает санками за чужие.

– Тише! – испугалась Сонюшка. – Мы чуть было не опрокинулись, – сказала она, когда он сумел справиться, свернув вовремя, и

обернулась.

Что-то странное, настаивающее и заставившее ее насторожиться, увидела она в глазах Ополчинина, когда обернулась.

Когда Сонюшка вернулась с ним, Вера Андреевна не выдержала больше: она больно щипнула дочь за руку и велела собираться домой.

Дашенька все время просидела на месте. Только двоюродный брат Рябчич, не могший дождаться своей очереди, чтобы провезти вторично Сонюшку, один раз посадил ее в сани.

V

Игнат Степанович Чиликин, произведший на Левушку своим появлением крайне неприятное впечатление, оказался все-таки очень мирным и тихим жильцом, отнюдь не беспокоившим Левушки: тот и не слышал его совсем. Чиликин даже как будто и не ходил наверху. Из дома он отлучался тоже как-то незаметно. Гостей у него не бывало, а приходили к нему, и то крадучись, точно потихоньку, какие-то монахи, чиновники, подьячие, очевидно, по делу, оставались недолго и так же, кра-

дучись, уходили.

Раз только утром случилось Левушке самому открыть форточку у себя в спальне. Его поразил при этом донесшийся со стороны конюшни страшный не то вопль, не то крик, такой жалобно-протяжный, какого Торусскому никогда не приходилось слышать.

– Сто это такое? – спросил он, призвав Петра Ивановича.

Тот недовольно проворчал, показав на потолок:

– «Верхний» своего лакея дерет!..

В этом названии «верхний» сказала вся сила презрения Петра Ивановича к Чиликину.

– Как делет? Сам делет? – спросил Левушка.

– Сам-то присутствует, а дерет кучер.

Левушка захлопнул форточку и ушел в кабинет, чтоб не слышать этих криков. Он прошелся несколько раз по кабинету и снова призвал Петра Ивановича.

– И давно он это?

– Да-с, начал давно, кажется.

– И все еще не пелестал?

– Нет-с, теперь затихло.

– За сто ж он его?

– Мы не знаем. Один раз уже драл, в прошлом месяце, так за то, что чашку разбил, а теперь – неизвестно.

– Сто ж это – его люди, сто ли? Как же он может, если он не имеет права владеть людьми? Ведь он – не дволянин? – удивился Левушка, вспомнив цель приезда Чиликина в Петербург.

Петр Иванович опять отвернулся, что служило у него признаком недовольства обстоятельствами.

– Да он и не имеет права, собственно, – сказал он, – но так подведено, что он все равно, как барин. Он в своем имении как бы управитель, а именье-то на чужое имя. Подставное то есть лицо. Так что он вполне хозяйствует.

– Где же у него именье?

– Люди, что сюда привезены, не сказывают; говорят, сами не знают. Их на Москве он купил и прямо сюда привез.

– В молду ему дать, и только! – решил Левушка и на целый день уехал из дома.

В половине января экзекуция повторилась, и опять были слышны крики на конюшне.

– Нет, я так не могу! – сказал Левушка, он послал к Чиликину предупредить, что желает видеть его, и пошел к нему.

– Что же-с, Лев Александрович, разве я не могу учить людей, вверенных моему попечению? – заговорил Чиликин, выслушав Левушку. – Это – уж последние времена-с, если те, кто обязан поддерживать власть над подлым народом, будут колебать ее...

– Как колебать? Я колебать ничего не хочу, я плюсу только не длать людей на конюснях так, стоб они вопили на весь двол.

– А, это – другое дело, – подхватил Чиликин, – и в следующий раз я этому мерзавцу рот завяжу...

Левушка видел, что напрасно пришел и что ему не стовориться с этим человеком.

«Господи, и зачем надо было пускать его сюда жить к нам?» – мелькнуло у него.

– Да лазве вы не можете без лозог? – все-таки попытался он сказать. – Отчего же у меня никогда не делут, а люди служат отлично?

– Все зависит от того, какой народ, – вздохнул Чиликин, – мне попался такой, что иначе никак нельзя. Вот народ! Только страхом на-

казания и живет. Да и вообще-с без наказания нельзя. Возьмите вы хотя бы государство – разве оно не наказывает? Изволили слышать, сегодня барабаны били? Читали объявление о завтрашней казни? Завтра-с всенародно будут казнены первейшие персоны: Остерман, Миних-фельдмаршал, Головкин-граф, Левенвольд! Вельможи! Так что же после этого холопская-то спина значит!..

Левушка и без Чиликина знал, что на завтра тут, у них, на Васильевском острове, против здания двенадцати коллегий, назначена смертная казнь осужденным верховным судом, но совершенно не мог согласиться, чтобы это могло иметь какое-нибудь отношение к расправам Чиликина на конюшне.

А тот, заговорив о предстоящей казни, видимо, попал на весьма интересовавший его предмет.

– Вот что, сударь мой: не имеете ли вы какой-нибудь лазеечки в здании двенадцати коллегий, чтобы посмотреть на производство самой казни? Очень любопытно. Мне хотелось бы устроиться поудобнее, очень хотелось бы – так, если можно, из окошечка.

– Неужели вы пойдете смотлеть? – спросил Левушка, не скрывая своей гадливости к этому человеку.

– А как же-с не идти? – подхватил Чиликин. – Это-с весьма поучительно и притом очень лестно. Первейшие министры, персоны, пред которыми трепетали не только такие черви, как аз недостойный, но даже и те, пред холопом которых, может быть, мне-то трепетать приходилось, и вдруг они предо мной во прахе и унижении. Так это сидишь у окошечка, что ли, и даже развалишься – тебе и горюшка мало, а они там где-то внизу, что ли, страдают и последние свои минуточки переживают, дрожат, робеют, а ты это сидишь, и даже как можно удобнее, и смотришь... И вдруг эту самую первейшую персону, пред тобой ставят на колена и этак голову ему долой, или там четвертовать станут. Как же не лестно? Вы не знаете, четвертовать будут кого-нибудь из них?..

– Я бы вас самих четвелтовал, вот сто! – заявил вдруг, не выдержав, Левушка.

– Зачем же меня-то-с четвертовать, – засмеялся Чиликин, приняв это в шутку, – зачем

меня четвертовать? Я – человек маленький... А вы слышали, что сказал про Остермана и Миниха Кирилл Флоринский? Мне из Москвы вот пишут: «Яко же бо Дии и Ермии во языцах, так Остерман и Миних были кумиры златые, им же совести не устыдешася, яко болваном, и жрати, своя совести воли их заклающе, в жертву; но уже сокрушишася о камень Петров!..» – Игнат Степанович поднял палец и, встав со своего места, закончил нараспев: – «Жертвенники, образы и жрецы Вааловы Остерман, Миних и снузники тех, их же и кроме нас, яко скудельнии идола, сам сокрушит Господь».

Левушка, злясь на себя, зачем полез к Чиликину, поднялся, чтобы уйти.

– Так как же насчет окошечка? Порадейте, благодетель! – остановил его Игнат Степанович.

– Ах, оставьте меня с вашим окошечком!

– Ну, так делать нечего, я уж на площадь, просто в народ пойду, – заключил Чиликин, но таким тоном, точно его очень обидел Левушка тем, что не захотел «порадеть» об окошечке.

VI

На другой день, восемнадцатого января, с утра стал собираться на площадь пред зданием двенадцати коллегий народ.

Высокий черный помост эшафота был устроен еще ночью. Вокруг него стояли солдаты. Человек в нагольном тулупе, накинутом на красную рубаху, сидел наверху эшафота, на обрубке дерева, и спокойно позевывал в кулак, как бы томясь ожиданием. Это был главный деятель готовившейся драмы – палач. Два его помощника были тут же. Возле них в холщовых мешках лежали топоры.

Очевидно, все было готово, ждали только назначенного часа, чтобы вывезли осужденных. Они уже были переведены из крепости в здание двенадцати коллегий на рассвете.

Игнат Степанович, не имевший возможности устроиться у окна, явился на площадь в сопровождении своего кучера, который должен был находиться пред ним, чтобы прокладывать дорогу.

Народ собирался со всех концов. Запасливые шли с табуретками, лестницами, скамейками и бочками, чтобы увидеть лучше дру-

гих. Вместе с простым народом приезжали и люди в каретах – все больше военные, многие с дамами. Их пропускали за ряды солдат, и Чиликин с завистью видел, как они проходили туда. Игнат Степанович сунулся было за ними между солдат, но его не пустили. Впрочем, разметавшаяся по площади толпа была настолько редка, что можно было двигаться. Но чем более приближалось время к десяти часам, тем сильнее и сильнее становился наплыв народа. Гул и говор усиливались кругом, и толкотня переходила в давку. Кучер, охранявший Чиликина, работал что было сил, но и то едва-едва спасал Игната Степановича. Мало-помалу их оттирали все дальше и дальше, и наконец Чиликин с ужасом увидел, что они так далеко от солдат, что ему ничего не видать; даже плаху он мог рассмотреть лишь едва-едва из-за спин толпы. А палач уже снял полушубок и стоял в одной рубашке. Видно, у него было что-нибудь под нею, потому что день стоял морозный.

Вдруг гул толпы стих, и возле эшафота произошло движение. Это солдаты, вышедшие впереди осужденных, окружили эшафот. Би-

ли барабаны. Остермана вывезли в извозчи-
чьих санях в одну лошадь; за ним шли Ми-
них, Головкин, Менгден, Левенвольд и Тими-
ряев. Но ничего этого не мог видеть Чили-
кин. Он с отчаянием порывался вперед, ста-
новился на цыпочки, все его усилия оказыва-
лись, однако, напрасны. Он начал огляды-
ваться по сторонам и вдруг затолкал своего
кучера.

– Туда, туда, направо, работай! Видишь, са-
ни и на них господин стоит? Вот туда... туда...

Кучер заработал локтями и всем корпусом
в направлении, указанном ему, и они быстро
достигли саней.

– Батюшка, Иван Кириллыч? Князинька! –
заговорил Чиликин. – Позвольте к вам в сани
стать!..

Неприятно было для князя Ивана его воз-
вращение в Петербург. Он попал сюда как раз
в день, назначенный для казни. Однако он не
знал этого и, только въехав на Васильевский
остров, заметил необычное движение здесь и
узнал, что на площади двенадцати коллегий
построен эшафот для казни «злодеев» и что
этими злодеями были приверженцы павшего

регентства.

Князь Иван никогда еще не видал такой толпы, в какую ему пришлось попасть при въезде на площадь. Косой думал пробраться в санях через толпу, чтобы скорей проехать к дому, и дал рублевик полицейскому. Его пропустили в санях, но, попав в толпу, выбраться из нее оказалось невозможно. Лошади стали, ни вперед, ни назад нельзя было двинуться. Князь Иван волей-неволей должен был подняться, чтобы осмотреться кругом – нельзя ли как-нибудь проехать.

Тут как раз стихла толпа, и забил барабанный бой, а над самым ухом Косого раздалось:

– Князинька, позвольте к вам в сани стать.

Он узнал бывшего управляющего своего отца – Чиликина, лезшего к нему в сани.

– Как же, приехал в Питер, – заговорил тот, – и стою в одном доме с вами-с. Верхний этаж занимаю. Знакомый мне купец подыскал. Я его о вас спрашивал...

Но в это время кучера Игната Степановича, помогавшего ему карабкаться на сани, отпихнули, и Чиликин отклонился назад, поскользнулся; его толкнули, народ выдвинулся

вперед, и Игната Степановича оттерли, отда-
вали куда-то в сторону.

А там, на помосте эшафота, почти на руках
внесли солдаты больного старика в коротень-
ком парике и поношенной лисьей шубейке и
опустили его на стул. Он сел так, как его поса-
дили, и закачал головою в разные стороны,
точно осматриваясь, но по слишком равно-
мерным поворотам этой головы и, главное, по
неподвижно, как-то чересчур уже прямо уста-
вившимся глазам видно было, что он едва ли
различал происходившее вокруг него. Голова
его, ноги и руки тряслись, и он не хотел или
не мог сделать усилия остановить их. По из-
менившемуся, потерявшему осмысленность,
бледному лицу князь Иван все-таки узнал
Остермана, и узнал его лисью шубку, в кото-
рой тот обыкновенно сиживал дома и в кото-
рой принял от него прошение.

С таким же, как у старика Остермана, блед-
ным лицом стал пред ним высокий видный
чиновник в мундире сенатского секретаря и
начал читать. Он, очевидно, читал приговор,
но расслышать слова князю Ивану не уда-
лось. Он видел только, что бумага в руках се-

натского секретаря дрожала, и он несколько раз порывисто поправлял воротник своего мундира.

Чтение кончилось. Солдаты взяли опять Остермана. Он покорно отдался им и к одному протянул даже руку кистью, чтобы удобнее было взять за нее. Его положили лицом вниз. Палач, двинув плечами и расправив руки, нагнулся над ним. Лежавшее ничком, точно уже безжизненное тело Остермана двинулось неправильно вперед, как будто его притянули за голову. И действительно, его на плаху притянули. Помощник палача вынимал из мешка топор.

Барабаны перестали бить. Мертвая тишина застыла в морозном воздухе. Толпа притаилась и остановилась, не дыша.

И у князя Ивана захватило дыхание.

«Господи, не надо, не надо! – молился он про себя. – Зачем они это делают?.. зачем?»

Сенатский секретарь сделал знак палачу.

– Бог... государыня... тебе жизнь... – донеслось до князя Ивана.

Те же солдаты как-то дружнее и спорее подхватили Остермана и снесли его вниз.

«Помилован!» – вздохнул князь Иван, точно все время его рот был закрыт чем-то, не дававшим воздуха, и теперь его отпустили.

По толпе пробежал сдержанный гул.

Князь Иван не мог смотреть дальше. Он чувствовал головокружение, кровь стучала в виски. Он опустилсЯ в сани. Он не слышал и не видел, как читали приговоры остальным, как их тоже помиловали; он очнулся лишь тогда, когда весь этот ужас был уже позади, и сани его, выбравшись с площади, подъехали к дому.

– Князь Иван, вы ли это? Откуда, как, сто... Голубчик, в молду вам мало дать... Как же это не писать и не известить?.. – горячился Левушка, встречая Косого, обнимая его и радуясь чуть не до слез.

Оказалось, князь Иван писал несколько писем, но из маленького немецкого городка, где он заболел и пролежал все время до своего выздоровления, приходилось отправлять письма с оказией, а верных оказий в Россию не было.

– Ну а тепель вы здолковы? – спросил Левушка.

– Теперь, кажется, совсем здоров. Только и попал же я прямо в Петербург на зрелище! – и князь Иван рассказал про казнь и про свою встречу с Чиликиным.

– Так это вас бывсий уплавляющий еще! – сказал Левушка. – Так я ему неплеменно в молду дам!

Глава четвертая. Проигранная ставка

Опять каток. Опять переливается роговая музыка, и коньки вместе с полозьями санок режут с визгом лед.

На этот раз Сонюшка знает, что князь Иван будет здесь. Он прислал письмецо, что приехал, был болен, но помнит и любит по-прежнему. Затем он был у них, но его не приняли – Вера Андреевна запретила.

Сонюшке стоило невероятных усилий и хлопот, чтобы попасть сегодня на каток. Для этого нужно было придумать целую историю, чтобы именно сегодня поехать к Рябчич. По счастью, Вера Андреевна с Дашенькой собралась делать послепраздничные визиты. Это всегда сопровождалось торжественностью: бралась карета, надевались шелковые платья,

старый Мотька расставался со своим чулком и облакался в ливрею, давно съезжившуюся, точно он вырос из нее. Расфуфыренная Вера Андреевна с Дашенькой садилась в карету, и они отправлялись по знакомым, главным образом к таким, у которых они бывали раза два в год, собственно, сами хорошенько не зная, зачем. Сонюшки никогда не брали во время этих визитов.

На этот раз она не поехала с особенным удовольствием.

Решено было, что, как приедет карета, Сонюшка поедет в ней к Рябчич, пока Вера Андреевна будет одеваться с Дашенькой, а потом карета вернется за ними, и они отправятся. Для этого Сонюшка, у которой были золотые руки на всякую работу, должна была просидеть чуть ли не целую ночь за переделкой панье на новой юбке Дашеньки. Нужно было исправить, а сама Дашенька не умела. Сонюшка сделала все, что от нее требовали, и боялась одного только, чтобы мать не вспомнила, что сегодня воскресенье и что Рябчич, вероятно, поедут на каток, — тогда она не пустила бы ее к ним. Но Вера Андреевна не

вспомнила: она была слишком занята визитами.

Как бы то ни было, Сонюшка сидела теперь на катке вместе с Наденькой Рябчич, под надзором ее мадамы, и была вполне счастлива. Косой должен был быть уже тут.

Вот он. Он увидел ее сейчас же. Он ждал ее и, только что она появилась, направился к ним со своими санками.

Он похудел после болезни, но худоба скорее шла ему. Его лицо было по-прежнему красиво, только его черные глаза казались немного больше и блестели. Он подъехал к Сонюшке.

– Здравствуйте!

«Милый, хороший мой, родной!» – сказала она ему глазами и, вся сияя улыбкою счастья, уселась в его санки.

– Ну вот, не успели мы приехать, у нее уже явились санки! – проговорила вслед Сонюшке Рябчич.

Но и к ней почти сейчас же подъехал Творожников.

Косой был в самом восторженном настроении.

– Ну что, что нового? – спросил он Сонюшку, задыхаясь и от счастья, и от быстрого бега.

– Много, много нового, – ответила Сонюшка, – и смешного, и грустного. Но только теперь все хорошо будет...

– Да, теперь все хорошо будет, – подтвердил Косой.

Ему думалось, что теперь, с восшествием на престол императрицы Елисаветы, взойдет и его звезда, и что он имеет право надеяться на это. А много ли было ему нужно? Лишь устроиться настолько, чтобы можно было жить семейным домом.

– А у вас что? – спросил он опять.

– У меня что? У меня? Ополчинин мне сделал декларацию.

Сонюшка почувствовала, как дрогнули санки под рукою князя Ивана.

– Как декларацию? Он? Почему он?

– Да, еще на праздниках мы были на катке. Он повез меня в своих санках, и тогда уже мне показалось в нем что-то... а потом...

– А потом? – переспросил Косой, замедляя ход.

– Потом он был раза два у нас. Маменька

пригласила его вечером, и тут как-то так случилось, что он очутился возле меня в углу и сказал так, что я могла понять...

Сонюшка оглянулась и сама испугалась того, что она сделала. Князь Иван был сам не похож на себя; он сжал губы и, сдвинув брови, смотрел на нее.

Она была, конечно, не виновата в том, что Ополчинин, думавший, что его мысли относительно ее на катке пройдут у него, ошибся в этом и дошел до того, что дал ей почти без обиняка понять у них на вечере, что она ему нравится. Напротив, ей казалось это забавным, и она, начав рассказывать князю Ивану, была вполне уверена, что это также позабавит и его, именно позабавит, потому что он не мог и не должен был сомневаться в ней! Что такое для нее был Ополчинин, да и не один он, а все мужчины, вместе взятые?

Но князь Иван не мог понять это.

– Ну чего вы? Ну что с вами? – заговорила Соня, испуганно глядя на него и обернувшись в сани.

Он нервно, с ожесточением отбивал коньками, как будто весь сосредоточившись на

том, чтобы как можно лучше и быстрее везти свои санки. На самом же деле он не чувствовал того, что делал.

– Что же вы ответили ему? – сквозь зубы произнес он.

Соня рассмеялась, прямо глядя ему в глаза.

– Ну что же я могла ему ответить? Как вы думаете, а?

– Софья Александровна, не мучьте меня!

– Ах, глупый! Неужели я могла сказать ему, что люблю моего милого, что тебя люблю?.. Ну, конечно, я сделала вид, что не поняла, и заговорила о другом! Ну, доволен? Нет? – и она отвернулась.

Князь Иван чувствовал, что он уже доволен.

Сонюшка, начав рассказывать об Ополчине, хотела рассказать также и о Торусском, но, увидев, как это действует на князя Ивана, ни слова не сказала ему про Левушку.

Ополчинин был тоже на катке. Он видел, что князь Косой уже слишком что-то долго ездит с Сонюшкой, но особенного значения этому не придавал. Начав, после своих рассуждений тогда на праздниках на этом катке, ду-

мать о Сонюшке, он все более и более увлекался ею. У него было все, как ему казалось, и все улыбалось ему; недоставало только увлечения. Вот он и увлекся, и решил, что Соня будет его женою. Не захочет – все равно, мать заставит. И это даже больше как-то нравилось Ополчинину – взять себе насильно в неволю маленькую, хорошенькую жену. Сонюшка будет его женою. Он был вполне спокоен за это. Пусть объяснение, которое он начал с нею у них на вечере, вышло неудачным. Да наконец она просто могла слишком застыдиться, вот и все. Разве какой-нибудь полунциций князь Косой мог в самом деле тягаться с ним, с Ополчининим, которому покровительствовала сама судьба.

«Впрочем, вечером мы с ним увидимся», – подумал Ополчинин, которого на сегодняшней вечер звал к себе Левушка, и он знал наверное, что там будет и князь Иван.

II

Левушка был так рад возвращению Косого, что решил отпраздновать это событие непременно у себя особым вечером, пригласив к себе всех знакомых молодых людей.

В назначенный день он с утра хлопотал, вел длинные совещания с поваром относительно ужина, ездил сам за вином и очень радовался, что достал настоящего старого литовского меда. Князь Иван попробовал было сказать, что останется у себя в комнате, но Левушка так искренне огорчился, что Косой поспешил обратить свои слова в шутку.

Гости начали съезжаться рано. Даже прямо к обеду с катка князь Косой привез двоих.

Когда он первый раз сегодня появился в обществе своих молодых знакомых, то был удивлен тою неподдельною искренностью дружелюбия, которую иные из них выказали ему. Молодой Творожников попросту расцеловал его несколько раз, сказав, что он очень, очень рад. Еще кто-то пожал ему руку. Отвечая на любезности и приветствия, князь Иван почувствовал, что его дергают за рукав. Он обернулся. Двоюродный брат Рябчич широко улыбался ему и тоже сказал: «Очень рад!» С ними, то есть с Творожниковым и Сысоевым, он и приехал прямо к обеду.

Пока они сидели за столом, явилось еще несколько человек, так что Левушка не вы-

терпел и, несмотря на то, что было другое вино, велел откупорить бутылочку старого меда.

Князь Иван, вполне примиренный с Со-нюшкой, испытывал большую приятность в обществе людей, бывших вполне ему по сердцу. За обедом они провели время очень весело. Потом перешли в кабинет. Там у Косого потребовали рассказа об его путешествии, о болезни, о всем виденном и слышанном, и он рассказывал с охотою.

Беседа завязалась интересная, но, к сожалению, она быть длительной не могла, потому что подъехали еще молодые люди, разговор сейчас же разбился и измельчал. Всякий интерес пропал; говорили только, чтоб не молчать, поглядывали по сторонам в заметном ожидании.

Оживление пришло лишь тогда, когда стали устраивать стол для карт. Тогда каждый заговорил одушевленнее, стараясь, разумеется, сделать вид, что вовсе не интересуется карточным столом. Но, несмотря на это, все сошлись у стола, как только его поставили. И все были очень любезны и предупредитель-

ны друг к другу.

Уселись. Игра началась как будто в шутку, так, между прочим, для препровождения времени...

Князь Иван, знавший за собой маленький недостаток, или – вернее – способность увлечься, раз начнет играть, воздержался.

– Нет, я посмотрю сначала, – сказал он Левушке.

Принесли чистые стаканы и новые бутылки с вином.

Князь Иван налил себе меда и, отпивая по глоткам, стал следить за игрою.

Сначала играли очень весело и дружно, шутили и смеялись, пили. Через несколько талий определилось, кому везло, кому нет, и начавшие проигрывать вдруг притихли. Те, кто выигрывал, тоже постарались замолкнуть, чтобы не подать вида, что слишком радуются выигрышу.

Мало-помалу за столом стали раздаваться только неожиданно редкие удары рук по столу да отдельные: «восьмерка!», «бита!..», «туз!», «получите!»

Косой смотрел на игру сквозь туман табач-

ного дыма и, главное, сквозь туман, который как бы изнутри застилал ему глаза от выпитого меда и вина. Ему давно уже показалось скучно сидеть так. Он почти бессознательно опустил руку в карман, нащупав там деньги, вынул их.

Метал как раз Ополчинин.

– Атанде, – сказал Косой, – я ставлю.

Ополчинин, точно давно ждал этого момента, посмотрел на него веселыми, ясными, вызывающими глазами.

Этот взгляд Ополчинина решил дело. Вся таившаяся против него злоба поднялась в душе князя Ивана. Он кинул на стол деньги и напряженно начал смотреть на руки Ополчинина, метавшие карты.

– Дана! – сказал Ополчинин и небрежно придвинул к Косому горсть монет, равную его ставке.

Князь поставил опять и опять, но примета игроков, по которой взявший первую ставку непременно должен проиграть в конце, по видимому, начала оправдываться на князе Косом. Ему не то что не везло – были карты, и даже не редкие, которые давались ему, но он

не мог угадать их и выигрывал маленькие ставки, а большие проигрывал. Деньги, бывшие при нем, скоро вышли у него все.

Он взял под руку у Левушки и сейчас же проиграл взятые. Тогда он встал и пошел к себе в комнату. Там он при свете месяца достал все свои деньги, зачем-то, словно прощаясь с ними, пересчитал их у окна и хотел было идти.

Тут только почувствовал он разницу перехода от накуренного, пропитанного запахом вина кабинета со столом и наплывшими восковыми свечами, к свежему воздуху своей тихой, утонувшей в лунном свете комнаты.

Это были последние, совсем последние его деньги.

«Что же это я делаю?» – мелькнуло у него, но только мелькнуло: луна блеснула ему в глаза, и он, как бы махнув рукой на все, точно заранее зная, что все равно пропадать ему, пьяный, пошел с деньгами в кабинет, куда уже тянула его точно змеиная сила.

Никто из игравших не заметил его ухода и возвращения. Кружок у стола давно поредел. Одни кончили играть и успели уже уехать.

Один, проигравшийся, сидел рядом с не принимавшим участия в игре, но способным всю ночь сидеть у карточного стола Сысоевым и завистливо-животными глазами смотрел на переходившие по столу деньги. Двое спали на диване.

Князь Иван, вернувшись, сел к столу и стал снова играть. Он не считал, не соразмерял величины ставок, делал одно безрассудство за другим, глотая вино большими, тяжелыми глотками и даже без ужаса и без волнения уже замечая, как тает кучка денег пред ним. Ему было все равно, когда метали другие. Тут он ставил мелкие суммы и пропустил одну талию, на которой мог бы сразу отыграться, и внутренне взбесился на себя. Но когда доходило до метки Ополчини́на, тогда он прилагал усилия собрать всю свою волю, старался играть обдуманно, взвешивать шансы; но чем обдуманнее действовал он и чем больше взвешивал, тем хуже выходило.

Те самые люди, которые с изысканной вежливостью садились в начале вечера за стол, казались теперь грубыми, с тупым выражением озверевших лиц, не стеснявшихся

выражать свою злобу на несчастье; а те, которые пользовались их несчастьем, старались суеверно скрыть, что им везет, прятали потихоньку, точно крали, свои деньги в карман и корчили невинные лица.

Но всех противнее, всех грубее и всех несноснее был Ополчинин.

Наиболее неприятной и особенно грубой была в нем несокрушимая уверенность в своем счастье. Она выражалась особенно в манере метать и открывать карты. Ополчинин держал колоду, опустив веки, но Косой чувствовал, что он смотрит и видит его из-под этих опущенных век. И, когда выходила его карта, он, не целясь, прямо открыв глаза, уставлялся на князя Ивана и нагло ударял костью кулака с сухим, резким звуком по столу. Если после этого Косой медлил прислать ему деньги, он спокойно сам протягивал к ним руку.

Ополчинин все чаще и чаще ударял по столу, деньги уходили у князя Ивана. Он уже не считал и не жалел их, а только с каким-то точно любопытством смотрел, как это Ополчинин открывает карту за картой, а у него все

бита, бита, бита. Косой ставил теперь и заранее уже знал, что карта будет бита, но все-таки ставил, как будто это иначе и нельзя было. Он ставил, проигрывал и вспоминал, а как хорошо было раньше, прежде, когда он был на катке или даже сидел и рассказывал о своей поездке, как было весело, счастливо и именно хорошо! Это было чувство, точно перед ним стоял кубок тонкого, свежего, чистого напитка, и он не выпил его, а дал испортить и отравить этот напиток сам, по своей воле, и сидел теперь пред ним и смотрел на мутную, скверную жидкость и не мог оторваться от нее.

Но вот он пододвинул на карту последние три монеты, лежавшие пред ним. Неужели их возьмут у него?

Карты быстро мелькают в руках Ополчинина, Косой тупо смотрит на них: он не надеется, он готов даже удивиться, если ему дадут. Ну, конечно, его карта бита!

Он швырнул свои три монеты и быстрым взмахом написал на столе: сто рублей. Ополчинин посмотрел на надпись, взглянул на Косого и спросил:

– А деньги?

Князь в свою очередь взглянул на него.

– Я попрошу вместо мела поставить деньги, – повторил Ополчинин.

Он знал, что их у князя Ивана не было, но, выиграв с него значительную уже сумму, мог бы позволить ему сделать такую ставку.

Косой вдруг пришел в себя. Дерзость банкомета и сознание, что с только что отданными тремя монетами исчезает у него всякая надежда вернуть проигрыш, если Ополчинин не позволит ставить мелом, перевернули все происходившее пред ним. Что сделать ему, что будет он делать завтра, как встанет, как проснется? Где возьмет денег? Левушка... Творожников, – вспомнил он; даже имя Чиликина мелькнуло у него. Он раскрыл давно уже расстегнутый камзол, вытащил висевшее на цепочке кольцо и сказал:

– Вы помните это кольцо, вы знаете ему цену? Ну, так я ставлю это кольцо, если вы ответите против него ста рублями.

Ополчинин взглянул на него. Видно было, что неуверенность овладела им. Но она сейчас же сменилась другим чувством, он вскинул плечами и начал метать.

Косой опять следил за картами, отчетливо и в первый раз весь вечер уверенно, точно уловив темп и попав в такт, с которого его уже не сбить. И он не сбился – карта была дана. Косой пошел тем же кушем, потом опять на квит. Три карты дали ему четыреста рублей. Он был в проигрыше около семисот, теперь оставалось триста.

«Ставь четыреста!» – точно подсказал ему внутренний голос.

«Господи!.. Никогда... больше... никогда не буду играть!» – подумал князь Иван и увидел, что Ополчинин мечет.

Князь Иван не помнил, когда и как, но четыреста рублей, безумно отыгранные им, стояли у него на карте.

Ополчинин метал, и руки у него слегка дрожали; он метал очень скоро, но всем следившим, и в особенности Косому, казалось, что-то очень медленно, точно карты были не карты, а чугунные гири.

«Никогда... никогда... не буду!» – повторял себе князь Иван.

– Дана!.. – проговорил чей-то голос, предудивший Ополчинина.

Косой отыграл свой проигрыш, имел еще лишних сто рублей и, встав, огляделся.

За столом сидело только четверо. Свечи почти совсем догорели, и их пламя покраснело на пробивавшемся сквозь шторы свете за-брезжившего утра, точно застыдилось. Пустые бутылки, наполовину полные стаканы стояли кругом, на полу валялись разодранные карты. Под столом был натоптан кусок мела. Двоюродный брат Рябчич спал на своем стуле. Один из лежавших на диване был Левушка и храпел. Князь Иван встал, дошел до выкаченного на средину комнаты кресла и опустился в него.

III

Когда князь Иван встал, у стола еще продолжалась игра, как бы по инерции. Ополчинин закончил талию и передал следующему; прометал тот. Попробовал еще третий, но дело шло как-то вяло.

После четырехсот рублей, поставленных князем Иваном на карту, ставки, гораздо более мелкие, казались не интересны. Кто-то сказал:

– Не пора ли кончить?

– Ну последнюю! – решил Ополчинин и прометал талию.

После этой еще были прометаны две; тогда один из игроков, точно вспомнив теперь, что завтра ему «надо вставать», поднялся из-за стола и сказал, что больше играть не будет.

Стали прощаться, попробовав разбудить спавших, но это оказалось невозможным. Левушка перевернулся на другой бок, проворчав что-то похожее на «ммолду!..», а двоюродный брат Рябчич не подавал никаких признаков жизни, кроме совершенно бессмысленного сопения. Князь Иван как сел в кресло, так тоже заснул.

– Ну, что же, едемте? – спросил один из бодрствующих.

– Я сейчас, – сказал Ополчинин, считавший выигранные деньги у карточного стола, а затем, сложив их, поднял голову и увидел себя одного среди спящих.

Его не стали ждать и ушли.

Денег у него оставалось еще много. По приблизительному расчету, он, должно быть, один был в большом выигрыше и обобрал всех. Он спрятал деньги, допил остатки вина

из первого попавшегося стакана и грузно поднялся из-за стола.

Привычная обстановка безобразно проведенной ночи за картами не поразила его. Ему знаком был и этот покрасневший огонь догорающих свечек, и дым накуренной комнаты, и свет утра в окна, и наконец спящие фигуры в самых неудобных и непроизвольных положениях, точно тела павших на поле сражения.

Ополчинин хотел было уйти, но остановился у кресла, в котором, вытянув далеко вперед широко расставленные ноги, сползши корпусом на сиденье, спал, раскинув руки, Косой. Он был без кафтана, в одном расстегнутом и распахнувшемся камзоле. Кружевная манишка тоже раскрылась и из-под нее свисла далеко вбок откинувшаяся цепочка с крестом и висевшим на ней кольцом.

Ополчинину так вдруг и вспомнился Косой, как он стоял пред ним за столом, показывая это кольцо, и говорил: «Вы помните это кольцо, вы знаете ему цену?» Ополчинин, разумеется, помнил и знал. Он тогда не хотел давать карту, но желание отнять у князя Ива-

на кольцо взяло верх: он стал метать и проиграл.

Дело было не в этом. Деньги были все-таки не бог знает, какие уж большие, но скверно было, что Ополчинин вспомнил, что у Косого есть это кольцо, могшее принести ему по теперешним временам большие выгоды.

И вот легкое чувство зависти, в связи с воспоминанием виденного на катке, где Косой слишком долго оставался с Сонюшкой, раздражающе подействовало на Ополчинина. Теперь он стоял и серьезно смотрел на спящего Косого. Тут могло что-то быть; неужели между ним и Сонюшкой есть какая-нибудь близость? У Ополчинина еще при объяснении с Сонюшкой у них на вечере явилось сомнение, нет ли у нее кого-нибудь на сердце. Она уже слишком тщательно и ретиво оградила себя от дальнейшего разговора. Точно эта область была занята у нее, и она никого больше не хотела впускать туда.

«Да, несомненно, это так, — сообразил Ополчинин, — и потом сегодня на катке... да, сомнения не может быть... И он вовсе не так мало опасен, пока это кольцо у него, чтобы

пренебрегать им... Но стоит только отнять у него это кольцо, и тогда... он бессилён, бессилён, вполне!»

Ополчинин нагнулся, как ему казалось, чтобы посмотреть, легко ли снимается кольцо с цепочки, и чуть только коснулся его – оно снялось и очутилось, как бы само собою, у него в руках. Он испытывал чувство, как будто делает что-то очень забавное, шуточное, не в самом деле, а будто нарочно. В нём нервно дрожало что-то, похожее на смех, но он не смеялся, он точно говорил себе: «А вот возьму, да и возьму!..» – и взял.

Он зажал кольцо в руке и неестественно неслышными шагами направился к двери. Он боялся оглянуться, а эта боязнь заключалась в том, что князь Косой проснулся, поднял голову и смотрит ему вслед, смотрит, больше ничего, как только смотрит. Но князь Иван не проснулся и не почувствовал, как Ополчинин унес его кольцо.

Глава пятая. Пропавшее кольцо

I

Прошло недели две с тех пор, как Сонюшка увиделась с князем Иваном на катке. Это

было мимолетное баловство судьбы, которая улыбнулась ей словно для того, чтобы почти сейчас же показаться еще суровее, чем прежде.

В эти две недели Сонюшке не удалось ни разу повидаться с князем Косым. С матерью она не заговаривала о нем, заранее зная, что это ни к чему не поведет. У Веры Андреевны были свои причины не допускать Косого. Во-первых, это было по сердцу Сонюшке, а она не хотела потакать ей ни в чем. Во-вторых, что же с Дашенькой будет, за что пренебрегают ею? И в-третьих (и это было главное), – у князя Косого ничего не было за душой. Соголева выдала бы, пожалуй, старшую дочь замуж, но только за богатого, если бы нашелся такой слепец, что предпочел бы ее Дашеньке. Так было лучше (рассуждала Вера Андреевна) и для нее, и для всей семьи. Вот почему она, как только заметила, что начинается что-то между Сонюшкой и князем Косым, постаралась отдалить его и, напротив, стала чаще приглашать к себе других молодых людей и между ними Ополчинина, наиболее нравившегося ей и подававшего наиболее серьезные

надежды. Но она не знала своей Сонюшки, не знала, что нельзя насиловать ее волю, и что эта воля только крепнет под давлением насилия.

Они сидели за вечерним чаем, когда вдруг Митька подал Вере Андреевне письмо, запечатанное красивою, фигурною печатью.

– Прислано с придворным лакеем, – пояснил он.

– С придворным лакеем? – переспросила Вера Андреевна, сначала напрасно старалась не показать радостного, охватившего ее удивления, но сейчас же справилась с собой и спокойно распечатала письмо.

Дашенька, подняв голову, вскинула на мать свой обычно вопросительный взгляд. Сонюшка стала тоже пристально смотреть на Веру Андреевну.

– Лейб-медик императрицы Лесток просит меня сообщить ему, могу ли я принять его завтра между двумя и тремя? – сказала Вера Андреевна, дочитав письмо. – Как же теперь ответить ему?

– Ну что же, ответьте ему, что, конечно, будете ждать! – сказала Дашенька.

– Ах, само собой, разумеется! Дело не в том, но на словах неудобно. Я думаю написать так... – и Вера Андреевна, обратившись к Сонюшке, сказала французский текст письма, которое она полагала послать в ответ.

Ответ был составлен сначала начерно, прочтен Сонюшкой, переписан и передан придворному лакею, дожидавшемуся в передней.

– А меня все-таки интересуется это письмо, – сказала Вера Андреевна, когда они снова уселись за чай и задумались все три об одном и том же.

– Да, странно, – сказала Сонюшка.

– То есть странного тут ничего нет, – подхватила Вера Андреевна. – Отчего же ему и не иметь до меня дела?

Сначала они, в особенности Дашенька и Вера Андреевна, еще старались делать вид, что их не так уже волнует неизвестность, но мало-помалу заговорили и заспорили, напереерыв высказывая догадки о причинах неожиданного визита Лестока, самого Лестока, того самого, который ехал 25 ноября на запятках саней государыни, и который теперь

состоял самым близким, как говорили, и влиятельным человеком при дворе. Но сколько ни старались они, сколько ни думали потом, разойдясь по своим комнатам на ночь, ничего не могли найти верного и, главное, правдоподобного.

На другой день Вера Андреевна поднялась очень рано, надела шелковое платье.

– Я думаю, – сказала она дочерям, – что, во всяком случае, тут не может быть ничего дурного, а, напротив, очень хорошо.

Наиболее вероятным из предположений, высказанных еще вчера, было то, что теперь, как ходили слухи, все пострадавшие в минувшее время награждаются; и, может быть, вспомнили о сосланном когда-то с Девьером муже Веры Андреевны и решили сделать что-нибудь для его семьи.

Час приезда Лестока наконец наступил.

Лесток приехал в придворной карете с выездными лакеями и гусарами, и Вера Андреевна покраснела от удовольствия, увидав эту карету у своего подъезда. Она приняла Лестока одна. Соне было велено сидеть у себя в комнате, а Дашенька была разодета к приему

и ждала в спальне на случай, если удастся представить ее важному посетителю.

Вера Андреевна должна была принять Лестока, разумеется, как можно лучше, радушнее и внимательней, но это ей стоило большого труда после того, как Лесток изъяснил в самой вежливой форме причину своего визита. Оказалось, он приехал сватом.

Этот обычай, состоявший в том, что лица царствующие посылали своих приближенных в дворянские дома сватать невесту за какого-нибудь покровительствуемого ими человека, был по старине укреплен еще Петром Великим, который иногда даже сам лично брал на себя такие дела. Это повторялось очень часто, и удивительного тут не было ничего. Само собой разумеется, подобное сватовство равнялось почти приказанию, и за отказ могло последовать неожиданное возмездие.

Вера Андреевна и не думала отказываться и была бы чрезвычайно рада, польщена и торжествовала, если бы сватали ее меньшую дочь. Но дело шло о Сонюшке.

Лесток был крайне любезен, но этою самою до крайности доведенною любезностью

оттенил официальность своего посещения, изложил дело, а затем, не сомневаясь в дальнейшем, распростился и уехал, блестяще исполнив возложенную на него миссию. Проводив его, Вера Андреевна долго стояла одна, посреди гостиной, недоумевая, как это случилось так, что все занимаются Сонюшкой, когда, по ее мнению, лучше Дашеньки нет никого на свете. Но делать было нечего, она повернулась и пошла к Соне в комнату.

II

– Вы знаете, зачем приезжал Лесток? – спросила она, входя к дочери.

Вопрос был совершенно неуместен, потому что Сонюшке, не бывшей в гостиной, никак не могло быть известно о том, что ее спрашивали.

Должно быть, поняв эту неуместность, Вера Андреевна сейчас же поспешила ответить сама за изменившуюся в лице Сонюшку:

– Лесток приезжал сватать вас, от имени государыни.

– От имени государыни? – переспросила Сонюшка, едва переводя дыхание, так как знала, что теперь решается ее судьба беспово-

ротно.

– Да, от имени государыни. Значит, тут рассуждать не приходится.

– Но... за кого же? – чуть слышно проговорила Сонюшка.

– За Ополчинина, преображенца, молодого человека, награжденного с отличием в числе лейб-кампанцев. Партия завидная!

Вера Андреевна так и впилась глазами в Сонюшку, чтобы по малейшему движению ее лица понять, какое действие произвело на нее это известие. Но, несмотря на свою опытность, она решительно ничего не могла подметить на этот раз. Личико Сонюшки стало вдруг словно выточенное из камня. Ни испуга, ни горя, ни радости, ни даже волнения не отразилось на нем. Она стояла, вытянувшись, опершись обеими руками на стол, и только ее глаза, точно увеличившиеся, блестели и смело, прямо смотрели на Веру Андреевну.

– Во всяком случае, – добавила та, – я желаю вам всего хорошего. Дай Бог вам всякого счастья!.. Да, партия вполне завидная. Вы рады?

– Да, я очень, очень рада! – тихо произнес-

ла Сонюшка.

– А, вы рады! – подхватила Вера Андреевна. – Хотите, я скажу вам, чему вы рады? Вы рады освободиться из нашего дома, вырваться отсюда, думая, что вам будет лучше замужем! Но вы жестоко ошибаетесь, мой друг. Не раз вам придется вспомнить о вашей девичьей жизни, и тогда помянете и меня. С вашим характером вам везде будет дурно! Вы воображаете себе, что к вам несправедливы, что вас тиранят, может быть; ну, вот увидите, что покажет вам жизнь, вот вы увидите!..

– Я ничего не думаю и никогда вам не показывала этого, – ответила Сонюшка, потому что видела, что мать хочет, чтобы она ответила что-нибудь.

– Так вы действительно рады? – протянула Вера Андреевна, сев и облокотившись на стол. – Что же, вы любите его?

Сонюшка тоже опустилась на стул против матери и закрыла лицо руками.

– Ах, маменька, – начала она, – разве можно это спрашивать? Разве девушка скажет, кого она любит... Если бы вы... если бы вы захотели, то сами поняли бы, люблю я или нет.

А так я не могу вам сказать ничего...

Вера Андреевна пожала плечами.

– Вас никогда не поймешь – то я было думала другое... а теперь вы меня с толка сбили. Вы принимаете предложение Ополчинина, как будто и рады этому! То есть, по крайней мере, я ничего не могу понять... Если любят другого, то, по крайней мере, не может быть этого равнодушия, с которым вы относитесь к своей свободе. Вы спокойны, слишком спокойны...

Ответ на простые, задушевные слова Сонюшки Вера Андреевна иначе, то, может быть, она и услышала бы от нее искреннюю, сердечную исповедь, но она произнесла безжалостно сухие слова, и Сонюшка отняла руки от лица, а затем, криво улыбнувшись, сказала:

– Может быть, я не хочу выказывать свою радость?

– Может быть...

– Тогда я, значит, люблю Ополчинина?

«Нет, она выведет меня из терпения!» – решила Вера Андреевна и поднялась, чтобы уйти, но для того, чтобы последнее слово все-та-

ки осталось за нею, она, уходя, внушительно сказала Сонюшке:

– Все-таки знайте, что я вам от души желаю всякого счастья.

Как только мать ушла, Сонюшка заперла дверь на замок и опустилась на колена пред образом. Она молилась тихо, горячо и долго, а потом встала и вышла ровная, на вид спокойная, как всегда, и как всегда ласковая.

Это спокойствие не покидало ее и во все последующие дни. Она так же спокойно, как ходила, занималась работой, вставала в определенный час, обедала и завтракала, приняла Ополчинина, приехавшего уже в качестве жениха. Она притихла вся, как бы совсем вошла в самое себя, и Вера Андреевна, как ни старалась наблюдать ее, должна была сознаться, что не понимает ничего, что происходит в душе тихой Сонюшки.

Дашенька откровенно и искренне завидовала сестре. Однажды, как бы случайно, в разговоре Сонюшка обронила, что на Петербургской стороне, в старом городе, говорят, есть удивительный гадалщик... Она знала слабость матери к ворожеям и гадалщикам. Ве-

ра Андреевна вострепелулась, и Сонюшка видела, что она не пропустила ее слов без внимания.

III

Спустившиеся над Петербургом сумерки ползли в углы и закоулки, когда на извозничьих санях подъехали к низенькому, одноэтажному мазанковому дому, постройки еще начала города, Вера Андреевна с Сонюшкой. На козлах сидела дворовая девка Соголевых, пустившая слух про гадалщика.

Сани остановились у дома, и Вера Андреевна выскочила первая.

– Ну, веди! – сказала она дворовой, велев извозчику дожидаться.

Они должны были войти во двор, подняться по ступенькам покосившегося крыльца и, миновав галерейку, затянутую промасленной бумагой вместо стекол, остановились у обитой рогожей двери.

Привезшая их девушка постучала в эту дверь. Она отворилась не сразу. Сонюшка с Верой Андреевной стояли укутанные в свои шубки, с закрытыми капорами лицами.

Наконец их впустили после таинственных

переговоров дворовой, и они очутились в довольно чистой горенке, ничем особенно не отличавшейся от обыкновенного жилья мещан средней руки. Впечатление, произведенное на Веру Андреевну, было удовлетворительно.

– Как же, мы вместе пойдем? – спросила она.

– Нет-с, вместе никак невозможно, – пояснил принявший их плечистый, с благообразным лицом мальчик, по-видимому, прислуживавший здесь, – нужно в одиночку.

– Ну, так ты иди первая! – сказала Вера Андреевна Сонюшке.

– Как угодно, маменька.

В это время прислуживающий мальчик сказал:

– Пожалуйте!

– Нет, я пойду, – решила Вера Андреевна и двинулась к маленькой дверке, ведущей в соседнюю комнату.

Она оставалась там довольно долго и вышла вся красная и очень взволнованная.

– Это удивительно, – сказала она, – я ничего подобного не слыхивала – такие подробно-

сти из прошлого...

Сонюшка, точно боясь, что ее остановят, скользнула в дверь.

– Только поскорей, слышите!.. – сказала ей вслед по-французски Вера Андреевна.

Но Сонюшка ничего не слыхала.

Она чувствовала только, что дверка за нею захлопнулась, и она очутилась в затянутой сплошь чем-то темным, с закрытыми окнами комнате, слабо освещенной маленькой лампой, поставленной на столе так, что красноватый свет ее падал на сторону двери. Большая книга, развернутая на подставке, бросала тень назад, и в этой тени поднялся навстречу Соне одетый во все черное человек с белой бородой и космами седых волос, ниспадавших из-под черной шапочки.

Сонюшка остановилась в недоумении. Вся эта обстановка, темная комната, лампа, толстая книга, череп, лежавший возле нее, – все это произвело на нее впечатление неожиданного. Она огляделась кругом, как бы ища кого-то другого, и снова заглянула в лицо приближавшемуся к ней гадальщику.

– Не узнала? – сказал он, снимая бороду,

шапочку и парик. – Ну, значит, переодеванье удачно!

В тот же день, когда приезжал к ним Лесток, Сонюшка дала знать князю Ивану посредством установленных уже между ними через людей сношений, что во что бы то ни стало должна как можно скорее видеться с ним. Он посоветовал ей устроить так, чтобы попасть к гадальщику на Петербургской, адрес которого известен одной из их дворовых.

Сонюшка думала, что гадальщик существовал на самом деле, и что князь Иван, подкупив его, просто устроился так, чтобы видеться с нею у него, но никак не ожидала, что он переоденется в гадальщика. Князь Иван, в свою очередь, не ожидал, что Сонюшка придет сюда с матерью и что ему придется разыгрывать комедию пред Верой Андреевной. Он думал, что Соня придет вернее всего с Рябич. Теперь же вышло очень забавно: Соголева сама привезла, не зная того, свою дочь на свидание с человеком, от которого всеми силами желала удалить ее.

Представив себе положение Веры Андреевны, серьезно ожидающей дочь в соседней

комнате, князь Иван не мог удержаться от так и подступавшего к его горлу смеха. Однако Соня не ответила радостью на его радость.

Князь встретил ее с протянутыми руками, она положила ему на плечи свои, коснулась губами его щеки и отстранилась. Он усадил ее на покрытый ковром сундук и, взглядевшись в ее лицо, спросил:

– Что с тобою?

– Что со мною – я сама не знаю; со мною случилось ужасное, самое ужасное, что только могло случиться... Я просватана.

– Просватана... ты? – мог только выговорить князь Иван.

Он был готов к одной лишь радости повидаться с Сонюшкой и не ожидал, что это их свидание принесет ему горе. Теперь, еще не опомнившись, он сказал ей первые попавшиеся ему на язык слова, но не этими словами, а тем как они были произнесены, он требовал, чтобы она скорей рассказала и объяснила все, что случилось.

Сонюшка рассказала все.

– Ну и что же ты ответила? – спросил князь, когда она рассказала, как пришла к

ней мать после отъезда Лестока.

– Я ответила, что очень рада.

«Вот оно!» – как бы ударило что-то князя Ивана, и он широко открытыми, с помутившимся, как у безумного, взглядом, глазами посмотрел на любимую.

– Как же так? Если вы рады, то зачем же вы здесь? – заговорил он. – Вы рады, а приезжаете сюда... Если б в вас была хоть капля любви, о которой вы говорили, даже простой жалости, то вы, по крайней мере, не были бы так жестоки, чтобы самой приехать сюда... самой...

Еще более обидные упреки готовы были сорваться с его языка! Соня видела это, равно как и то, что он не помнит того, что говорит. И, жалея его за охватившее его отчаяние и вместе с тем радуясь той силе любви, сказывавшейся в нем, она, забыв свое волнение, поднялась, обвинила князя руками и прижалась к нему.

– Ах, какой ты глупый, какой глупый! – заговорила она. – Ведь ты сообрази только одно: если бы я не любила – была бы я здесь или нет? Ну, в самом деле, неужели ты думаешь,

что я давала бы тебе знать, рисковала бы явиться сюда, если бы ты был безразличен мне? Но я должна была так ответить маменьке, пойми ты, должна была, иначе было бы хуже. Чего мне стоило выдержать эту пытку, а я ее выдержала. Узнай маменька, что для меня эта свадьба хуже смерти, она сделала бы все, чтобы ускорить ее... и тогда все было бы потеряно – понимаешь, веришь? Только тем, что я буду показывать ей, что рада, или, по крайней мере, только говорить это, я могу продлить время. Словом, я сделаю все, чтобы отдалить, но больше я не в силах ничего. Скоро Великий пост – вот полтора месяца выиграем, а потом, Бог даст, как-нибудь ты устроишь. Ты ведь устроишь? да?..

– Да что ж тут устраивать? – вдруг проговорил князь. – Убить его, вот и все тут.

Под влиянием слов и ласки любимой девушки он уже успел прийти в себя и, слушая, целовал как бы бессознательно ее маленькую ручку, держа ее в своей руке у самого рта.

– Как убить? Это – дуэль? – спросила Соня, отклонившись от него, чтобы заглянуть ему в лицо.

Косой видел, что ее лицо, слабо освещенное красным светом лампы, улыбалось сквозь волнение, отражавшееся на нем.

– Ну, конечно, не из-за угла!

– Ах ты глупый! – снова воскликнула она и снова прижалась к нему. – Да кто же позволит вам драться? Разве я это допущу?

Князь двинул плечами, как бы показывая, что не знает, каким образом она может не допустить его драться.

– Ты думаешь, я не смогу не допустить? – поняла она его движение. – Ну так слушай! Я вот что скажу тебе: во-первых, он может тебя убить, во-вторых, если ты убьешь его, тебя возьмут и посадят, будут судить...

– Мне все равно, пусть меня убьют или посадят...

– А я-то? Что же со мной будет? Если тебе самому все равно, то мне-то каково будет? Ты не один, и наше счастье общее... Что же, и мне тогда в монастырь или в воду... Хорош исход!..

Князь Иван молчал. Он не мог сказать ничего, потому что другого исхода, как ему казалось, не было.

– Ты теперь не можешь еще владеть собою, – нежно, тихо продолжала молодая девушка, – в тебе кипит злоба против него, и для удовлетворения этой злобы тебе хочется во что бы то ни стало «убить его». Да, я верю вполне – мне самой хотелось это в первую минуту! И ради удовольствия удовлетворить этому желанию ты готов пожертвовать теперь всем – и собою, и своим счастьем, и даже моим счастьем. Пойми ты, глупый, что ведь это – непростительное себялюбие.

Косой уже чувствовал, что чем дальше говорит она, тем меньше остается у него, что отвечать ей.

– Нет, милый, – не переставала она, – убить всякий сумеет. Это нетрудно. И на большой дороге, и в лесу под Петербургом, говорят, это сплошь да рядом случается!.. Это дело нехитрое, а главное – оно не поможет нам. Нет, я знаю, что не таков ты. Это может сделать слабый человек, но ты... ты должен быть сильнее. Я хочу этого, слышишь ли? Ты должен сделать так, чтобы мы были счастливы, чтобы мы добились своего...

В словах Сони звучали и мольба, и просьба...

ба, и страстное, непобедимое желание быть счастливой, надежда и вера в князя.

Он чувствовал, что точно что-то новое, бодрое вливается в него, и проснувшееся в нем зверское чувство к Ополчнину мало-помалу, как под чарующие звуки музыки, стихло под голос любимой девушки, и всего его охватило одно желание – заслужить во что бы то ни стало, оправдать ее безотчетное доверие к нему и дать ей то счастье, на которое она надеялась, веря в него.

– Да, я все сделаю, все!.. – сказал он.

И ему показалось, что он говорил уже Соне эти слова, но теперь он говорил их с особенным ударением убежденности.

Медлить дольше было опасно. Вера Андреевна давно уже сердилась за то, что «гаданье» Сонюшки тянулось слишком долго.

– Ну, что же он сказал вам? – спросила она, когда та вошла к ней из таинственной комнаты.

– Что я буду счастлива! – ответила Сонюшка, и по улыбке, осветившей ее лицо, Вера Андреевна увидела, что ее дочь верит в то, что будет счастлива.

IV

Легко было князю Ивану, увлеченному словами Сонюшки, обещать ей устройство их счастья, но как было сдержать свое обещание? В полутьме комнаты гадалея и в не снятом еще костюме его Косой, окруженный воздухом, которым дышала Сонюшка, ощущал прилив в себе новых сил и как-то смутно чувствовал по тому избытку энергии, которая зародилась в нем. Но лампа была потушена, занавесы маленьких окон отдернуты, дневной свет преобразил таинственную обстановку в самую обыкновенную, – и князь Иван испугался явившегося у него вместе со светом вопроса: «Но что же делать?» И чем дольше думал он, тем более росло это сомнение.

Единственная надежда на быстрый исход – кольцо Елисаветы Петровны – было у него потеряно.

После ночи, проведенной за картами, он спохватился не сразу – через день только, и когда заметил, что у него на цепочке нет этого кольца, то помнил, что в последний раз держал его в руках, когда показывал Ополчинину за картами, делая последнюю, отчаян-

ную ставку. Когда именно пропало оно, и где он мог потерять его, он даже приблизительно не знал. Он с Левушкой переискал во всем доме, но они ничего не нашли. Кольцо пропало. А как было явиться без него?

«Отчего же, однако, не попробовать счастья? – пришло в голову князю Ивану. – Ну что же, поеду, расскажу все подробности, заставлю верить, что это был я, напомним, что я доставил копию с письма к Линару, и там поверят всему этому, и вспомнят обо мне, и сочтут достойным награды; я-то попрошу одно лишь – чтобы мне вернули Сонюшку».

Князь Иван послал узнать, когда принимает Лесток, через которого решил действовать, потому что Лесток все-таки видел его и говорил с ним, когда приезжал к больному нищему! Оказалось, Лесток принимал только два раза в неделю, в официальном приеме, всех, кому было до него дело, и вне этих назначенных часов его нельзя было видеть, потому что он все остальное время проводил во дворце.

По приемной сановника всегда можно узнать, какова его сила. Это – самый верный масштаб, чтобы определить кредит в отноше-

нии власти. Лесток, видимо, пользовался теперь большим значением. По крайней мере, когда князь Иван вошел в его приемную, она была полна народом, среди которого терялись рассеявшиеся по стенам бедные просительницы с терпеливо-страдающими лицами, державшие обеими руками свои прошения у груди. Чиновные лица в мундирах и орденах расхаживали посредине комнаты, быстро поворачиваясь с таким видом, точно хотели дать понять, что ходят потому, что им вовсе не долго ждать и их сейчас вот примут. Иные стояли у окон и тихо переговаривались, изредка поглядывая на дверь кабинета, в котором принимал Лесток. И каждый раз, как отворялась эта дверь, все вздрагивали, подтягивались и взглядывали вопросительно – не позовут ли? Счастливчик, чья была очередь, срывался с места и стремглав летел на цыпочках, маленькими шажками, в заветную дверь и исчезал за нею.

Лесток принял князя Ивана сейчас же после чиновных лиц.

Косой вошел в кабинет и в сидевшем за круглым письменным столом человеке узнал

и вместе с тем не узнал прежнего Лестока. Тот сидел, положив ногу на ногу, вбок от стола и, не поднявшись навстречу князю, показал рукою на стул против себя.

Той живости, которую подметил в нем при своем первом знакомстве князь Иван, не было и помина теперь. Лесток сидел со скучно и сонно опускавшимися веками, как бы отбывая досадную повинность, утомившую его и надоевшую ему.

Посадив князя Ивана, он поморщился и посмотрел на лежавший пред ним список ожидавших в приемной – много ли еще осталось? Все это он проделал, не показывая князю Косому вида, узнал он его или нет.

Князь Иван напомнил о себе и рассказал, в чем состояло дело, по которому он явился. Лесток слушал все время молча французский рассказ князя Ивана и несколько раз в продолжение его морщился, потирая щеку рукою. Когда Косой кончил, он подождал немного, не скажет ли тот еще чего-нибудь, вынул табакерку, повертел ее в пальцах и вдруг, подняв голову, проговорил:

– Все это прекрасно и хорошо, но только

ваш рассказ несколько странен. При всей своей романтичности он был бы вполне правдоподобен, если бы... – Лесток приостановился, взял указательным и большим пальцами щепотку табаку и, отряхнув ее, продолжал, понюхав: – Если бы государыне лично не было известно подлинное лицо, которое получило перстень ее величества при рассказанных вами обстоятельствах, и если бы также государыне и всем ее приближенным не было известно то же самое лицо, которое под видом старого нищего солдата доставляло к ней в трудное время многие важные бумаги.

Вся кровь прилила князю Ивану в голову.

«Что же, я лгу?» – хотел он спросить, но удержался от вспышки, вовремя сообразив, что горячностью можно лишь испортить дело.

Прежнее предположение о том, что существовал другой кто-нибудь, кто переодевался в нищего, почему его и провели тогда прямо в дом Лестока, подтверждалось теперь, но это и служило, по-видимому, не в пользу Косому.

– Да, но позвольте, – заговорил он, – ведь

это же, может быть, совпадение: переоделся я нищим потому, что у нас в доме умер старик и осталось его платье. Оно цело у меня до сих пор. Я могу показать его. Затем письма к Линару поручено было везти мне...

– Это-то и дурно, что они были поручены вам! – улыбнулся Лесток.

– Но все-таки я просил бы это дело разобрать. Я постараюсь доказать... наконец, хотите, я сейчас опишу подробно, как я был во дворце у Па-де-Кале?

– Нет, пожалуйста! – остановил его Лесток. – Мне решительно некогда – другие там ждут, – он кивнул на дверь. – Если вам угодно, – подайте письменное изложение, и тогда это разберут в надлежащем месте...

По тону, которым говорили с ним, князь Иван видел, что есть еще что-то, кроме утомления просителями, что мешало Лестоку быть внимательным к нему.

– Да разве такое дело можно доказывать в письме, отдав его в руки канцелярий? – вырвалось у князя Ивана. – Тут даже неловко как-то выступать просителем. Ну, еще с бумагами может быть вопрос, могло быть совпа-

дение, но случай в лесу... как же тут может явиться кто-нибудь другой?

– А кольцо у вас есть? – спросил Лесток.

– Нет, я вам сказал, что потерял его.

– Ну, вот видите, разве такие вещи теряют?

«Неужели он не верит мне, неужели он полагает, что я, дворянин, говорю неправду?» –

подумал князь Иван и воскликнул:

– Да разве стал бы я лгать?

– Я этого не сказал, мой князь, – даже как бы ужаснулся Лесток, подняв руки и в первый раз титулуя Косого, – но только, как хотите, я знаю про вас одно: вы отказались служить государыне в трудное время, и это известно лично мне, мне, который сам хотел направить вас тогда. Вы не взяли за предложенное вам тогда дело и поставили меня в очень неловкое положение пред французским посланником.

«Так вот оно что!» – сообразил князь Косой, и ему стало теперь ясно отношение к нему Лестока.

– Да, но ведь я же отказался тогда... – начал было он, однако Лесток перебил его:

– Мне не надо знать, почему вы отказа-

лись, но факт налицо... и в этом все. А теперь позвольте дать мне вам совет – быть осторожным; пока официально вы выказали себя сторонником павшего правительства, и если вас не трогали до сих пор, то потому лишь, что вы – слишком человек молодой и значения иметь не можете.

Лесток проговорил это так, что князю Ивану оставалось только, чтобы не быть невежливым, уйти, не затягивая разговора насильно. Он видел, что с этой стороны ни на какую поддержку рассчитывать было нельзя.

V

Левушка ждал дома возвращения князя Ивана от Лестока и волновался, ходя из угла в угол по кабинету, прислушиваясь к тому, не подъезжает ли на улице к крыльцу карета Косого. Он знал теперь все, до мельчайших подробностей, что случилось с князем: тот рассказал ему все вчера еще вечером, когда они обсуждали вместе, как вести себя Косому с Лестоком. Торусский надеялся, что все устроится; но надежда – он признавал это – была более чем сомнительная.

Левушке пришлось ждать очень долго. Он

пробовал было заняться чем-нибудь, но ни на чем не мог сосредоточиться, бросал начатое дело и принимался ходить из одного угла в другой.

Ему приходило не раз в голову: уж не выкинул ли князь Иван какую-нибудь штуку над собой, получив от Лестока неудовлетворительный ответ. В том же, что этот ответ был неудовлетворителен, Левушка убедился теперь вполне. Ему почему-то казалось, что, будь все хорошо, князь Иван должен был бы вернуться раньше.

«Вот он!» – сказал наконец себе Левушка, заслышав издали скрип каретных колес по снегу, а затем, увидев из окна, как князь Иван вышел из кареты и быстро прыгнул на крыльцо, войдя в дом, побежал ему навстречу.

– Ну, сто, сто, холосо все? – спрашивал он, стараясь разглядеть в темной прихожей лицо князя.

– Сейчас расскажу, – ответил тот.

По его голосу ничего нельзя было узнать: он говорил как будто совсем спокойно.

– Ну, сто же, значит, холосо? – спросил

опять Левушка, когда они через коридор вошли в кабинет.

– Вот что, – начал рассказывать князь Иван. – Это такие обстоятельства, что только руками развести... Представьте себе – оказывается, там воображают, что бумаги принес не я, а другой, и что кольцо не я получил, а тоже другой.

– Как же это так? – разинув рот, удивился Левушка.

– А так, – и князь Иван передал Торусскому слово в слово свой разговор с Лестоком.

– Удивительно, очень удивительно! – заговорил тот, вскочив с дивана, на который было уселся рядом с Косым. – И кто же этот длугой?

– Не знаю наверно.

– Отчего же вы не сплосили, кто он?

– Во-первых, оттого, что это было неловко, а во-вторых, я думаю, что догадался... По всем признакам это – Ополчинин.

– Ополчинин? – переспросил Левушка и, нахмутив брови, остановился.

– Конечно. Он в числе награжденных после двадцать пятого ноября поставлен не за-

уряд, а в число исключительных – значит, оказал особые заслуги. Весьма вероятно, что он был одним из агентов, носивших бумаги во дворец у Па-де-Кале, и переодевался тем самым нищим, которого он видел при нашей первой встрече. Правда, одеяние очень типическое, оно поразило Ополчинина, запомнилось ему, и вот он переоделся в него, в этого нищего...

– Нищего... нищего?.. – про себя повторил несколько раз Левушка. – Да, это стланно, очень стланно!..

– Напротив, мне кажется, очень просто, – начал было Косой.

– Нет, я не пло то, пло длутое совсем – вы этого не знаете, – перебил его Торусский и снова заходил. – Нет, знаете, это все-таки ничего еще не доказывает! Ну, сто ж, сто он наглажден? ну, сто ж, сто он видел нищего? лазве и длугой не мог видеть и одеться? вы же сами одевались...

– Да, но подробности случая в лесу мог знать только Ополчинин, потому что он был тогда со мною. Я никому не говорил, даже вам, тогда...

– Постойте, – остановил Левушка князя Ивана, – значит... ведь это значит, сто кольцо уклал Ополчинин у вас!.. Погодите, давайте лазбелем это по полядку. Это обвинение слишком сельезно.

– Давайте разберем, – согласился князь Иван, – тут разобраться, кажется, не трудно. Предположим, что я это кольцо потерял. Его нашел кто-нибудь другой и мог, пожалуй, оставить его у себя, не возвратить мне; однако, чтобы воспользоваться им, нужно было не только знать его значение, но и подробности, при которых оно получено. А этого никто не знал, кроме Ополчинина, и весьма вероятно, что он взял...

– Но он мог лассказать кому-нибудь, если вы не лассказывали...

– Постойте, я это обдумал по дороге сюда, домой. Дело вот в чем. Мы заметали пропажу кольца после того вечера, который был у вас... Ну вот – за игрою в карты я показывал Ополчинину кольцо, потом заснул. Камзол у меня был расстегнут, а Ополчинин оставался после всех, когда мы спали... Я это знаю от Творожникова; он у меня спрашивал, остался

ли Ополчинин у нас ночевать тогда, потому что они ушли, оставив его одного у нас.

Для правдивого и честного Левушки предполагаемый поступок Ополчинина казался таким ужасным, что он не хотел верить в возможность его. Но теперь, по-видимому, трудно было сомневаться.

– Неужели и правда это он? тепель похоже на то выходит, – сказал он. – Сто же с ним делать?

– Да не только с ним, а вообще я не знаю, что еще делать, – проговорил Косой.

Левушка долго молча ходил по комнате, а потом, вдруг остановившись, точно нашел верный исход, обернулся к князю и воскликнул:

– Знаете сто? Я ему в молду дам!

Косой не мог не улыбнуться, несмотря на то, что ему теперь было не до шуток.

– Нет, я не сучу, – подхватил Левушка, – я плямо поеду и сельезно ему в молду дам... Пусть он меня вызывает. Я не могу иначе.

– Ну и что же из этого выйдет? – спросил Косой.

Левушка долго думал.

– Да, – ответил он, вероятно, наконец убедившись, что действительно из его плана ничего не выйдет, – я лутсе сам поеду к Лестоку и ласскажу ему все, сто знаю...

– Но ведь вы все знаете с моих слов, сами вы ничего не можете засвидетельствовать лично. Вы повторите только мой рассказ.

– Ну, тогда поезжайте к Ополчинину! Какими глазами он будет смотлеть на вас?

– Он может прямо отпереться от всего. Что же, ведь все-таки у нас только предположения, а ничего определенного нет, а чтобы ехать к Ополчинину, нужно иметь в руках прямые улики.

Они оба замолчали и задумались. Левушка опустилсся на стул у стола, а князь Иван сидел на диване, бессознательно крутя попавшуюся ему под руку веревочку.

– Нет, – снова заговорил он, – положитель-но это Ополчинин: это посольство Лестока к Соголевым, как же объяснить иначе? И, Господи, как это все спутано – именно то, что должно было служить к устройству моего счастья, служит на пользу моему сопернику теперь.

– Как сопелнику? – удивился Левушка, не знавший об отношениях князя Ивана к Со-нюшке.

– Ну да! Я люблю старшую Соголеву, объяс-нился с ней, она моя, и я никому не отдам ее.

– Вот оно сто! – протянул Левушка. – Ах, вы, бедный, бедный!.. И она бедная и милая – мне жалко вас... Ну, тепель я еще лутсе буду помогать вам, то есть помогу, вот вы увидите.

Тут только князь Иван вспомнил про сти-хи и постоянное восхищение Левушки Со-нюшкой. И как ни тяжело было у него на сердце, он не мог без некоторой доли умиле-ния смотреть на желавшего им счастья Торус-ского. Левушка был очень мил в эту минуту.

– А как же вы сами-то? – спросил Косой.

– Сто я сам?

– А помните – стихи?

– Ну, это плосло! То есть не плосло, а я все-гда говолил, сто люблю ее, а кто любит, тот желает счастья тому, кого любит... А с вами она будет счастлива. Я и вас тоже люблю... Нет, я должен сделать одну вещь, и я ее сде-лаю.

– Какую вещь?

– Нет, пока это – секлет. Мне очень хотелось бы лассказать вам, но я не могу, не могу, потому сто обещал, да еще как обещал!.. Нет, но я сделаю... только нужно влемя, влемя выиглать... Мне тепель же нужно будет уехать и, может быть, надолго. Но я для вас поеду... я должен поехать для вас. И сто я медлил до сих пол?.. может, уже все было бы холосо, и вы были бы спасены!..

– Спасен! – повторил князь Иван, растянув на пальцах веревку, которую вертел, и смотря на нее. – Знаете, мне еще в детстве, в Париже, знаменитая Ленорман предсказала, что мне веревка принесет благополучие; теперь, пожалуй, и верно – повеситься только остается.

Торусский остановился, как бы пораженный. Последних слов Косого он не слышал.

– Велевка, велевка... – заговорил он. – Ну так тепель я поеду во сто бы то ни стало, так и знайте это. Да, велевка вам плинесет благополучие... вот вы увидите... вы увидите...

Левушка так волновался и говорил, по-видимому, такие несуразные вещи, что князь Иван одну минуту серьезно подумал, не рехнулся ли тот в самом деле?..

Но Торусский не рехнулся. Через несколько дней он после поспешных, но совершенно разумных приготовлений уехал куда-то, сказав, что едет для князя Ивана, и что не следует ждать очень скоро его возвращения, и оставил у себя в доме полным хозяином Косого.

Часть третья

Глава первая. Помощь в помощи

I

Большой, просторный высокий кабинет в четыре окна, задрапированные зелеными шелковыми занавесками. Между двумя средними из них – бюро, а возле – большой круглый стол, весь заваленный книгами, бумагами, ландкартами и чертежами. По стенам – шкафы с книгами. Иные из них в толстых старинных переплетах из пергамента. В промежутках между шкафами и по простенку над бюро висят гравюры в золотых рамах, под стеклом. В дальнем от двери углу – большой стол; на нем – реторты, банки, флаконы, песочные часы. На полках, над столом, опять книги, глобус на треножнике, сухие травы,

череп. В восточном углу – старинный образ в золотой ризе с горящей пред ним лампадкой. По стене, противоположной окнам, топится широкий камин.

Спиною к этому камину, у бюро, сидит хозяин кабинета – Алексей Петрович Бестужев.

Он давно не новичок в иностранных делах, но тяжелая, трудная работа выпала на его долю теперь. Сколько лет привыкли к тому, что эти иностранные дела держал в своих опытных руках сосланный ныне старик Остерман! Теперь канцлером на место его назначен князь Черкасский, но вся работа лежит на Бестужеве, потому что новый канцлер слишком уже стар и мешает только – забирает во что бы то ни стало дела к себе домой и держит целыми неделями, ничего не делая.

Но не в этом, конечно, суть, и не в этом трудность.

Франция нарушила европейское равновесие. Она хочет, пользуясь прекращением мужской линии Габсбургского дома, уничтожить свою давнишнюю соперницу Австрию разделением ее владений. Бавария и Саксония согласны с французскими видами, Фри-

дрих II Прусский тоже желает поживиться на счет Австрии, где бедной Марии Терезии не управиться одной со своими врагами, ей нужна помощь. Кто же должен помочь ей?

Решение всего вопроса зависело от России; от нее зависело – будет ли существовать Австрия как сильное государство или она будет низведена на ступень второстепенной державы. Но тогда что же будет? Хозяином положения европейских дел станет Франция и явится полновластным распорядителем судеб, оставшись почти один на один с Россией, которая никогда не может быть покойна от ее интриг в Швеции, Саксонии, Польше и Турции. Но кроме Франции под боком у России прусский король, энергия и дарования которого делают чудеса. А если он вдруг начнет показывать их над Россией? Нет, во что бы то ни стало нельзя было допускать усиления опасного соседа и предоставить Франции полное господство. А для того интересы России требовали, чтобы была оказана помощь австрийской королеве.

Все это ясно сознавал Алексей Петрович, однако трудно ему было вести дело, потому

что здесь, в России, ему ставили самые сильные, тяжелые препятствия.

Шетарди, ловкий французский посол, сумел войти в доверие императрицы, еще когда она была цесаревной. Он пробовал подходить и к Алексею Петровичу, предлагал ему 15 000 ливров пенсии от Франции.

Пятнадцать тысяч ливров! Неужели они думают, что русский министр, первый русский министр после ряда иностранцев, продаст за деньги свою родину!

Тогда Шетарди пошел иным путем. Он обратился к Лестоку, и тот, веселый, легкомысленный, чуждый как иностранец интересам России, сейчас же стал играть в руку французскому послу. Лестоку нравилось его общество, нравился французский язык, вероятно, и деньги, а до остального ему было все равно. Между тем он имел доступ к государыне как ее медик, мог, когда хотел, оставаться у нее подолгу.

Шетарди и Лесток несомненно стараются уверить государыню, что восшествие ее на престол совершилось благодаря Франции. Так ведь и шведы в начале войны пустили мани-

фест, что идут-де в Петербург восстанавливать права крови Петра Великого. Но эти права были восстановлены без участия иностранцев. Шетарди в свое время, правда, дал займы две тысячи рублей цесаревне, но эти деньги были возвращены ему с лихвой – вот и все.

Однако не ради же этих двух тысяч переходить России на сторону Франции, мириться с ее союзницей – Швецией – и тем самым готовить себе самой, может быть, даже гибель!

Пока Бестужев имеет хоть какую-нибудь власть и значение, этого не случится. Но останется ли он, выдержит ли борьбу и выйдет ли из нее победителем? Относительно этого он не может ничего сказать себе наверное. Он один; большинство придворных думают об одном только – как угодить сильному человеку Лестоку, а этот сильный человек вместе с Шетарди всеми силами хочет уничтожить единственную свою помеху в лице Алексея Петровича.

II

Бестужев держал в руках одно из донесений Кантемира из Парижа. Этот русский посол знает и понимает дело. Почти в каждом

своём письме он пишет, чтобы не доверялись Франции, что вся опасность для нас от нее, что она готовит даже союз против нас...

Алексей Петрович положил бумагу на бюро, встал, прошелся несколько раз по комнате, остановился у камина, поправил дрова щипцами и стал смотреть на вспыхнувший с новою силою огонь.

И вдруг он как бы перенесся от этого камина дальше, в соседние дома, улицы, во верь большой город и еще дальше – в бесконечные поля, где ютились деревеньки и поселки, родные ему с детства. И сердце сжалось у него: неужели все это милое, родное не живуче, а осуждено на вечное прозябание под давлением чужой воли? и неужели оно пострадает из-за того, что какой-нибудь Шетарди с Лестоком возьмут верх над русским вице-канцлером?

Бестужев сам улыбнулся себе. В эту минуту он с каким-то необычайным спокойствием сознавал, что, может быть, и не раз еще подобные Шетарди и Лестоки будут иметь верх, может быть, не раз падет и сам он, Алексей Петрович, но эти поля, деревни и поселки бу-

дут жить и развиваться, пока сохранят в себе ту душевную чистоту и веру, которые жили в них.

«Semper idem»[3], – повторил про себя любимую поговорку Бестужев и, точно успокоенный, стал, ходя по комнате, думать о том, что пока есть в нем силы, он будет бороться, настаивая на своем и ведя дело так, как это нужно.

«Да, нужно, нужно продолжать войну со Швецией, нужно!..» – говорил он себе.

В это время, по-заграничному, раздался троекратный стук в дверь, и, на позволение войти, появился в дверях лакей с подносом в руках, на котором лежала записка.

– Подметное? – спросил только Бестужев, сразу по виду записки догадавшись о ее происхождении.

Лакей сказал, что письмо найдено на крыльце и никто не видел, как его бросили.

Алексей Петрович привык к этим письмам. Не проходило почти дня, чтобы ему не приносили их.

Он взял с подноса записку и отпустил лакея.

«Не бросить ли? – мелькнуло у него при взгляде на камин и на письмо. – Опять, наверно, все то же самое!»

Эти подметные письма или бывали наполнены бранью, грубою и пошлою, или же содержали, под видом доброжелательства, сообщения Бестужеву о пущенных и, следовательно, ходивших о нем сплетнях.

Но странно – он чувствовал некоторую долю необъяснимой приятности читать иногда эти письма. Легко было догадаться, что шли они от его недругов и служили доказательством лишь слабости этих недругов. Они не знали, чем донять его, и думали взбесить своими выходками.

«Ну что же – пусть!» – пожал плечами Алексей Петрович и не бросил в камин письма, а распечатал его.

На этот раз сообщение делал доброжелатель. Но в смысле сплетен явилась новинка.

«Да ведомо вам будет, – писал анонимный корреспондент, – что ее величеству, благоверной государыне достоверно уже стало, что изволите вы получать от посла королевы венгерской генерала Ботты 20 000 целковых в

год, а посему, аки доброжелатель ваш, спешу вам о том сообщении сделать, чтобы вы могли принять свои меры к надлежащему сокрытию тайных сношений своих».

Бестужев не дочитал, он скомкал письмо и кинул его в огонь. До таких размеров клевета еще не доходила.

«А интересно было бы знать, – подумал он, – если бы я согласился взять у Шетарди его луидоры – доводили бы ли они это до сведения государыни?»

До сих пор Алексей Петрович гнушался всеми этими сплетнями, клеветами, советами и сообщениями. Он прочитывал их, слышал о них, но ничего не делал в смысле противодействия. Ему, во-первых, некогда было, а во-вторых, он знал свою правоту и как бы с удивлением прислушивался к окружавшей его лжи, но веря в то, что торжество останется на его стороне. Но теперь выходило уже из ряда вон. Теперь от одной только мысли, что государыня может подумать, что он имеет личный интерес в отношении Венского двора, он способен будет измениться в лице при упоминании на докладе имени Ботты.

Как ни старался успокоить себя Алексей Петрович, он долго, напрасно ходил по своему кабинету и должен был сознаться, что анонимные письма достигли-таки своей цели: это, последнее из них, затронуло его за живое.

«Гадко, мерзко! – повторил себе Бестужев. – Но так оставить это нельзя, нельзя безнаказанно клеветать на себя. Теперь уже всякое молчание будет равносильно подтверждению этой клеветы».

Но в эту минуту, когда он думал так, он чувствовал вместе с тем всю свою беспомощность.

III

Клевета – самое ужасное, хитрое и опасное орудие. Ползет она незаметно и неведомо откуда; нет человека, которому бы прямо можно было сказать в глаза: «Ты лжешь – это неправда!» – потому что он не лжет, он повторяет лишь и даже делает вид, что вовсе не верит, но так сообщает интересное обстоятельство: вот, мол-де, какие злые люди, что рассказывают! А те, которые слушают, качают головами, усмеваются, но сейчас же спешат разнести интересные новости, пятнающие ближ-

него. И выходит в конце концов, что никто не верит, но все знают, что такой-то делает то-то. А потом начинают сомневаться – «нет дыму без огня!..»

«Какая гадость!»

Да, гадость, но что будете делать против этой гадости?

И чем больше думал Алексей Петрович об этом, тем неприятнее и тяжелее становилось у него на душе.

И странно: в свою почти пятидесятилетнюю жизнь много раз случалось ему испытывать разные неприятности, обиды и огорчения, но редко приходилось ему с таким трудом преодолевать их в себе, как в этот раз. Правда, бывали случаи, что рассказывали про него разные нелепости, но до таких размеров клевета еще не доходила никогда.

Попробовал было Бестужев взяться снова за бумаги, но сегодня и работа – давно испытанное им средство от всяких волнений – не помогала. И ему все казалось неприглядным и скучным – и его кабинет со знакомою ему, привычною и любимую обстановкой, каждая вещь которой имела для него свою историю

и значение, и камин, обыкновенно в другое время приветливо согревавший его, и дела... Погода на дворе, как нарочно, была такая, что могла только усилить скверное настроение, а не развлечь его. Серое северное небо низко нависло своими тучами, точно они давили и расплзались по грязным улицам и лезли в окна, пропуская сквозь себя таявший мокрый снег. Холодно должно было быть на дворе!

Алексей Петрович, откинувшись на спинку стула у бюро, сидел, вытянув ноги, и, отстранившись от бумаг, смотрел в окно, невольно жалея о тех, кому приходится теперь идти по улице. А будь ясный и солнечный день – с каким бы удовольствием проехался бы он теперь!..

В дверь опять раздался стук.

– Войдите! – сказал Бестужев.

Появился опять тот же лакей. Алексей Петрович почти с ужасом посмотрел на него – неужели еще письмо? – но лакей был без подноса. Он доложил, что Бестужева спрашивает барышня и просит непременно принять ее.

– Какая там барышня? – поморщился Алексей Петрович. – Я ведь сказал – никого не при-

нимать...

– Очень уж просят, и жалко их – видно, печаль какая, – проговорил лакей таким тоном, каким умеют говорить старые слуги с господами, характер которых хорошо известен им.

– Кто ж она такая?

– Приказали доложить, что Соголева, Софья Александровна... Жаль их – ребенок еще совсем.

– И одна?

– Одни-с.

Бестужев велел просить. Лакей пошел, видимо, с особенным удовольствием.

Дверь отворилась, и в кабинет Бестужева вошла Сонюшка в простеньком, темном платье и темной накидке. Она вошла, не осмотревшись, и остановилась у двери, взглянув своими большими черными глазами на Алексея Петровича. Эти глаза, как поднялись на него, так и остались. Она была очень бледна.

Бестужев сделал несколько шагов ей навстречу.

Казалось, эта хорошенькая, маленькая, милая девушка, придя к нему, не знала теперь, что ей делать, и едва ли ясно сознавала окру-

жающее. Правда, видно было, что ее печаль должна была быть велика, если она решилась прийти так. Но она делала над собой невероятные усилия, чтобы совладать со своим волнением. Алексей Петрович, давно привыкший наблюдать людей и понимать их душевное состояние, видел это, а также и то, как она решилась-таки и, тяжело вздохнув, подошла к нему.

– Простите, – заговорила она, – простите, что я беспокою вас...

Голос девушки, манера и каждое движение ее, дышавшее истинной порядочностью, произвели и на Алексея Петровича то же впечатление, какое производили на всех, видевших Сонюшку и говоривших с нею. Только очень дурной, злой или невнимательный человек мог обойтись с нею неласково, и Бестужев сразу почувствовал это.

– В чем дело, чем я могу служить вам? – спросил он мягко и тихо, придвигая своей госте стул.

Она опустилась на этот стул не потому, что ей придвинули его, и не потому, что хотела сесть, – она точно вдруг после ласкового во-

проса Алексея Петровича лишилась последней опоры своей и обессилела.

Действительно, Сонюшка, не зная, как ее примут, призывала на помощь всю свою самолюбивую гордость, чтобы не выдать своей слабости, но теперь, после вопроса Бестужева, она видела, что гордость не нужна с ним, что это – человек, который не обидит ее, и опоры ей уже было не нужно.

Бестужев сел против нее и ждал, пока она снова справится. Сонюшка еще раз взглянула на него, и ее лицо вдруг все дрогнуло. Она вскинула руки и, спрятав в них лицо, заплакала горько, тяжело, неудержимо, как бы отчаявшись уже преодолеть себя. С самого детства она плакала впервые в своей жизни.

IV

– Ну, полноте, ну, довольно, дитя мое!.. – заговорил Бестужев и протянул девушке руку, но она не видела его движения, не обратила внимания на него.

Тогда Алексей Петрович потихоньку встал, прошел через весь кабинет в угол, к столу, налил там в стакан воды, выбрал один из стоявших здесь флаконов с прозрачною жидко-

стью, накапал в воду и понес к Сонюшке. Все это он делал нарочно медленно, чтобы дать ей время выплакаться. Он уже забыл о своем дурном настроении и нисколько не жалел и не сердился на то, что ему пришлось так неожиданно у себя в кабинете успокаивать бедную, незнакомую ему девушку.

Сонюшка выпила воду, и от этой воды и – главное – от непривычных для нее слез, с которыми она всегда боролась до сих пор, ей стало легче. Она отерла глаза и сквозь еще неосохшую их влагу улыбнулась своею особенною, тихою улыбкой, как бы извиняясь за слезы. От этой горькой улыбки она стала еще милее, и еще жальче стало Бестужеву ее.

– Ну, вот теперь вы расскажите мне все! – сказал он голосом, каким обыкновенно говорят с детьми, когда готовы принять участие в их горе.

– Все рассказать? – повторила Сонюшка. – Все рассказать нельзя – это было бы слишком длинно. Вы должны были знать моего отца...

Бестужев сдвинул брови, как бы стараясь самым добросовестным образом припомнить, кто был ее отец. Сонюшка поняла это его ста-

рание. Он ничего не помнил.

– Мой отец, – пояснила она, – был сослан вместе с Девьером и умер в ссылке. Он, собственно, был хорошо знаком с вашей сестрою, княгиней Волконской...

Бестужев сделал движение и воскликнул:

– Ну, вот видите! Едва ли я мог видеть вашего батюшку, потому что тогда жил за границей и редко приезжал сюда... Так ваш отец умер в ссылке. Ну а матушка ваша?..

– Маменька с нами здесь... мы живем в Петербурге зимой.

– У вас где имение?

– В Тверской. Но оно очень маленькое...

Бестужев своими вопросами наводил девушку на то, чтобы ей легче было сказать, зачем она пришла. Он думал сначала, что она – сирота.

– Ну, так чем же я могу служить вам? – спросил он наконец.

Сонюшка замолчала и задумалась. Она ошиблась в том, что Бестужев знал ее отца. Теперь не было никакой причины рассказывать ему все; но хотя он и не знал ее отца, он в эту минуту казался ей таким добрым, вни-

матерным и ласковым, что она чувствовала полное доверие к нему.

– Меня хотят... – начала она, и голос ее сорвался. – Меня хотят насильно выдать замуж за преображенца, которого через Лестока посватала за меня сама императрица.

Бестужев давно привык к просьбам, с которыми обращаются к сильным людям женщины, непременно желающие, чтобы для них было сделано невозможное. Эти чисто женские просьбы, сопровождающиеся обыкновенно утверждением, что «вашего-де слова достаточно», и наивная уверенность в возможность невозможного всегда сердили его.

И тут, как ни жаль было ему Соголеву, он увидел, что она воображает, что он в состоянии изменить волю государыни и помочь ей в ее маленьком – правда, самом важном для нее – сердечном мирке, где суждено было разыгаться одному из часто повторявшихся на глазах Бестужева романов.

– Я в эти дела не вхожу, – сказал он несколько суше, – и наконец, что же я могу сделать, если на то воля государыни?

– Я не так глупа, – ответила Сонюшка по-

французски, как вели они и весь разговор, – чтобы просить вас об этом. Я знаю, что невозможное сделать нельзя.

Бестужев удивленно посмотрел на нее. Никогда еще не приходилось ему слышать это ни от одной из просительниц, которые обыкновенно ничего не хотят признавать.

– Но тогда?.. – начал было он.

– Я пришла вот о чем просить, – перебила Сонюшка. – Мало того, что я не люблю человека, за которого меня сватают, но есть другой, который любит меня, и я его – тоже...

– А! – произнес Бестужев.

– Вот о нем я и пришла просить вас. Наша свадьба, наша жизнь... это – его дело. Он должен устроить все, на то я и верю ему. Но только нужно дать возможность устроить ему; нужно, чтобы он мог где-нибудь проявить свою деятельность... Вы можете дать ему работу; наконец, он уже имел случай оказать государыне услуги... только это не послужило ему на пользу... Но это он вам расскажет сам, если вы его примете.

– Так вы хотите, чтобы я принял его и дал ему работу? Кто же он? – стал спрашивать Бе-

стужев.

Сонюшка назвала князя Ивана.

– Косой? – повторил Бестужев. – Не знаю. Что же, у него нет средств?

– Отец его прожил все, у него ничего нет.

«Уж не простой ли искатель приключений?» – мелькнуло у Бестужева.

– Хорошо-с, – сказал он, подумав, – я приму его... но только... только странно, отчего же он сам не явился ко мне? Знает он о том, что вы пошли сюда?

– Конечно, нет! – подхватила Сонюшка, и это вышло у ней так искренне, что не только все расположение к ней, родившееся при виде ее, вернулось к Алексею Петровичу, но даже он почувствовал тут долю симпатии и к князю Косому. – Нет, он ничего не знает, что я у вас. И я сама даже не знала, что пойду к вам сегодня, еще утром. Я сегодня вышла с няней к обедне... Я всю ночь не спала, все думала. Утром мы пошли в церковь. Я стала молиться, и так усердно, как только могла... Вдруг под самый конец уже, когда к кресту подходить, слышу – разговаривают двое каких-то, должно быть, чиновников, разговаривают о

том, что теперь, верно, скоро вернут Девьера, потому что всех ссыльных возвращают и им милости. Вместе с Девьером они назвали моего отца. Я остановилась и стала слушать. Один не знал, умер мой отец или нет, а другой сказал, что был знаком с ним и встречал его у княгини Волконской, вашей сестры, и что если бы он был жив, то мог бы через вас хлопотать теперь. Я не знаю, что все показалось мне очень странным, точно мне прямо показывали путь к вам. Я и молилась, чтобы Бог помог мне. И вдруг... тут же в церкви... Меня точно кольнуло что – идти к вам; я так вдруг и решила. Ваш дом мне показывали. Я, когда стали толпиться у выхода, отстала от няни и прошла через боковые двери, она потеряла меня... Вот и все...

Бестужев повторил свое обещание призвать Косого и переговорить с ним и обещал также Сонюшке, что никому, ни даже князю Ивану, не станет рассказывать о ее посещении. Он велел запрячь карету и только в ней отпустил Сонюшку домой.

– Ну, дай Бог вам всего хорошего! – сказал он ей на прощанье. – Трудно сделать что-ни-

будь, но только помните, что судьба все-таки всегда на стороне любящих.

Сонюшка ничего не ответила, но по ее молчанию Бестужев видел, что она надеется на судьбу. Впрочем, ей больше не на что было и надеяться!

Когда она уехала, Алексей Петрович почувствовал, что его тяжелое настроение не только уменьшилось, но прошло совсем, и та беспомощность, которую он испытывал в отношении пущенной про него клеветы, как бы таяла и расплывалась.

«Если ждешь помощи от судьбы сам, – вспомнил Бестужев, – помогай другим, и в этом найдешь свою помощь».

Он подошел к одному из шкафов, отворил его, надавил на пружинку секретного отделения и вынул оттуда одну из маленьких книжек, а затем, развернув ее на пришедшем ему на память, стал читать.

Глава вторая. Несчастные

I

Левушка уехал. Как ни допытывался князь Иван у него, куда он собрался, он твердо стоял на одном, что это необходимо для само-

го князя, и что он «лешился ехать».

Это было похоже на Левушку, насколько успел его узнать Косой. Раз уж он что вбил себе в голову – ничем нельзя было отговорить его.

Князь Иван сидел за обедом, который ему подавал молчаливый и особенно внимательный после отъезда Левушки Петр Иванович.

– Вы бы изволили выкушать, – сказал он, показывая князю на бутылку старого меда.

Косой в несколько дней похудел и сильно изменился. Он почти не ел за обедом и упорно смотрел, не отрываясь, на угол стола, случайно взглянув на него, да так и оставшись. На предложение Петра Ивановича он покачал головою и даже отставил свою рюмку в сторону. Петр Иванович вздохнул и пошел за следующим блюдом.

Рядом в прихожей, где дежурил Антипка, слышались шаги, разговор, и казачок, высунувшись в дверь, произнес:

– Князь, вас верхний барин спрашивают.

– Какой верхний барин?

– А это-с я, я, – слышался голос Чиликина, выглянувшего из-за спины Антипки, – доз-

вольте войти! – и он, как бы боясь, что ему не позволят, поторопился отстранить казачка и вошел.

После первой их встречи в Петербурге на площади, во время приготовлений к казни, князь Иван не видал Чиликина, а в последнее время даже совсем забыл о нем. Чиликин как бы притаился наверху у себя, и его не слышать было и не видеть.

Князь Иван, полагавший, что все его счета с бывшим управляющим покончены, и еще в деревне гадливо отстранившийся от него, никак не мог ожидать, что Чиликин будет иметь настолько наглости, чтобы приставать к нему еще с чем-нибудь.

Теперь он мельком вспомнил, что Игнат Степанович сказал ему при встрече, что нарочно остановился в доме Торусского, узнав от знакомого купца, который и квартиру снимал для него, что князь Косой живет тут. Но до сих пор он не показывался.

Теперь, при одном взгляде на Чиликина, вся прежняя злоба, накопившаяся еще в деревне, когда тянулось их дело, снова проснулась у князя Ивана, и, должно быть, он слыш-

ком уже недружелюбно взглянул на Игната Степановича, потому что тот поспешил заговорить, ухмыляясь, потирая руки и пришептывая:

– Вижу-с, что мое появление-с неприятно вашему сиятельству, вижу-с, потому и меры принял – войдя как бы нахрапом!.. Но вы уж потерпите, князь Иван Кириллович, что же делать? Мне приходится, вот видите ли, переговорить с вами.

– И что вам нужно от меня? кажется, у нас больше никаких разговоров быть не может! – ответил Косой.

– Нет-с, есть-с еще разговорик; так себе, маленький-с, а все-таки, стоя, неудобно-с. Вы меня извините, уж я сяду-с!.. – и Чиликин, опять без церемонии, отодвинул стул у стола и сел. – Вы не извольте отвертываться и делать вид, что я вам очень неприятен, я и сам знаю это, – продолжал он, когда Косой, чувствуя удивительную антипатию к выскакивающему у Чиликина изо рта плоскому зубу, отвел глаза от него. – Я знаю, что неприятен-с вам, и, может быть, это-то мне и доставляет несказанное удовольствие. Вы думаете, вы одни

так ко мне относитесь? Нет-с, многие! А ничего нельзя сделать, потому – должны разговаривать... А мне это забавно-с...

Чиликин опять хихикнул и положил руки на стол.

– В чем же дело? – спросил Косой.

– Понимаю-с и этот вопрос: дескать, говори скорее, прах тебя возьми, чтобы отвязаться от тебя. Хорошо-с! Только напрасно вы пренебрегаете мною. Я не нынче, завтра, стану такой же дворянин, как и вы... получаю дворянство...

– До этого мне дела нет, – сказал князь. – Если вам нужно передать мне что-нибудь, то говорите скорее, потому что мне некогда.

Чиликин распустился в широкую улыбку:

– Позвольте-с, князь Иван Кириллович, разве можно так? Как же вам некогда, когда вы изволите за обедом благодушествовать? Ну-с, да это все равно! А вот что позвольте узнать: когда прикажете получить от вас остальные три тысячи?

– Какие три тысячи?

– По документу, выданному покойным ба-тюшкой вашим.

Эта певучая манера, с которою, сладко растягивая слова, говорил Чиликин, знакомую князю Ивану и надоевшую ему в речи его фразу: «по документу, выданному покойным батюшкой вашим», действовала на Косого всегда особенно раздражающе. Ему в эту минуту так и представилось, что сидят они не в Петербурге, не в доме Левушки Торусского, а в Дубовых Горках, и ведут те разговоры, от которых, князь Иван думал, что убежал уже из деревни. Только этого ему не доставало!

– Какой еще документ? Ведь у нас было все уже кончено, кажется; ведь вы же все там как-то по закону отобрали у меня, – сказал Косой, – ведь все взяли...

– Не могу-с рассуждать – все ли, не все ли: я ваших средств не знаю и входить в них не имею права, а что должно по закону...

– Опять по закону!

– Да-с. Будьте уверены, что все в самом строгом порядке.

– Ну, хорошо, – вырвалось у Косого, – я вам заплачу эти три тысячи, но только с одним условием, что вы больше ко мне ни с какими долгами не придете и дадите мне подписку,

что все счета между нами кончены.

– Да это – счета-с и не между нами вовсе. Я действую по доверенности дворянина Пшелуцкого. Документ выдан вашим покойным батюшкой на его имя...

Опять это, «вашим покойным батюшкой».

Князь Иван начал выходить из себя.

– Оставьте вы отца в покое, – проговорил он. – Я заплачу вам ваши деньги...

– Да, но когда?..

Косой в сердцах говорил, что заплатит, совершенно забывая, что платить ему решительно нечем. Теперь, когда ему пришлось назначить срок, он спохватился об этом. И как ему ни не хотелось разговаривать с Чиликиным, как ни противен тот был ему, он все-таки должен был говорить и отвечать.

– Я заплачу, когда буду уверен, что платить следует, – ответил он. – Пусть рассмотрят дело в суде...

– Судиться хотите? – протянул Чиликин. – Не советую. Ведь судились же вы в деревне, и что же из этого вышло? Одни неприятности для вас, а рассчитывать все-таки пришлось. И сколько просудили денег задаром! Хорошо

еще, тогда было чем расплачиваться, а теперь-с – теперь ведь, если по суду, то, в случае чего, с несостоятельным должником знаете как поступают?..

Князь Иван готов был избить этого человека.

II

– А вы вот что лучше-с, – заговорил снова Чиликин, – лучше вникните в то, что Игнат Чиликин – вовсе не такой уж достойный презрения человек. Да-с! Я вам вот что осмелюсь предложить: я просто-напросто никаких исков к вам предъявлять не стану, вот и все. Вы спросите, почему-с? А потому, что таково мое желание. Я желаю так, и этого для меня достаточно-с. Князь Иван Кириллович, – вдруг воскликнул Чиликин, прижимая кулак к самой груди, – вы думаете, у меня сердца нет? Ох, смею уверить, не только есть, но, может быть, оно чувствует во сто раз с большим-с, так сказать, впечатлением!

– Ну, так чего же вы пришли-то ко мне, если не хотите никаких исков предъявлять!.. Ну, не хотите, и не надо!

– Как, зачем пришел? – удивился даже Чи-

ликин. – Да чтобы вам сказать об этом. А то так сиди, дескать, в сторонке, будь благороден и даже возвышен, и об этом даже никто и знать не будет, даже человек, к которому это прямо относится? Нет-с, так нельзя! Мне все-таки нужно чтобы вы не имели права – слышите ли? – не имели права презирать меня. Впрочем, презирать-то вы можете – от этого, я думаю, не отделаетесь, но права-то иметь не будете, потому что я, спрятав под замок документ, способный окончательно разорить вас, поступаю возвышенно, и даже очень!..

Князь Иван поглядел на Чиликина, как бы удивляясь, что тот еще может говорить так, как будто он, князь Иван, не был уже окончательно разорен!

– Да и наконец, – продолжал Игнат Степанович, – деньги что? Тлен и суета! Лишь бы душа, душа-то цела осталась, а я знаю, что душа у вас, как кристалл, чистая. Иногда в тиши ночной вспоминаю о вас в разуме души-то этой и умиляюсь. И так это мне жаль даже вас бывает...

Косой чувствовал, что, кажется, Чиликин заврался слишком уже далеко, и что слишком

долго он не выдержит его вранья.

– Вы меня извините, но мне пора ехать, – остановил он Чиликина и встал из-за стола.

Ехать ему, конечно, никуда не требовалось, но он сказал это, чтоб покончить назойливый и неприятный разговор с Чиликиным.

– Ах, князь Иван Кириллович! – подхватил тот. – Я вам о душе толкую, а вы о том, что ехать вам. Погодите минуточку! Я вам говорю: деньги – тлен, и если бы о них одних шла речь, я не явился бы к вам. Нет-с, верьте, что я, кроме денег, понимать могу... я ведь кое-что знаю и еще... знаю, князь Иван Кириллович.

– Что еще, что вы знаете? – нетерпеливо проговорил, снова садясь, Косой.

Лицо Чиликина состроило гримасу, замечавшую у него улыбку, плоский зуб выставился и скрылся.

– Лицом женским, – нараспев сказал он, – уязвлен был и мысли, как мухи, вязнут в поставках паучиих.

– Что? – переспросил Косой.

– Это я про вас-с. Известно мне, что вы уязвлены.

«Что он говорит?» – силился сообразить князь, чувствуя смутную боязнь, что Чиликин, как гадина, подползает к тому, что было всего дороже и святее ему в жизни.

– Я вас не понимаю, – сказал он.

– Уж будто так и не понимаете? Я, кажется, ясно сказал. Угодно, я назову сейчас ту самую, которая, так сказать, в предмете у вас?

Князь Ивай почти до крови прикусил губу, и кулаки его сжимались уже.

Чиликин вовремя не дал ему ни сказать ничего, ни двинуться.

– Я не посмел бы так заговорить с вами, если бы всем сердцем не желал принести вам помощь. Да-с, князь Иван Кириллович, помощь... – вдруг съезжившись и сделавшись очень почтительным, заговорил он. – У вас душа, как кристалл, чистая, а про них уже и говорить нечего. Ведь я их почти с детства знаю. Именьице их близехонько от нас; сами, конечно, помните, как езжали. И я езжал-с, и знаю. А теперь вот здесь уже, в Петербурге, счел тоже своим долгом навестить их и был принят со всею любезностью Верой Андреев-ной... Так вот, видите ли, значит, выходит, я

не зла вам желаю, а, напротив, готов пора-
деть об интересах ваших.

Почтительность спасла Чиликина. Князь Иван видел, что он если и говорит о том, о чем не следовало ему знать, то говорит, во всяком случае, в должном тоне, да еще свои услуги предлагает.

– Да, но откуда вы можете знать об этом? – спросил он.

– Мало ли что я знаю, князь Иван Кириллович, мало ли что!..

– Я вас спрашиваю, – неестественно тихо повторил Косой, – откуда вы можете знать об этом?

Чиликин понял, что князь был в таком состоянии, что малейшая неосторожность способна вызвать в нем вспышку, в которой можно было раскаяться.

– Это уж, видно, судьба сама, – ответил он. – Я случайно в трубу слышал.

– В трубу?

– Да-с! Однажды разговор ваш с племянником владетельницы дома сего, с господином Торусским, слышал. У вас внизу труба была открыта, а у меня наверху – тоже. Говорили

достаточно громко. Многие дословно слышал.

– Как же это вы? – удивился князь Иван.

– Очень просто-с. Ведь труба в камине прямая – по ней великолепно каждое слово передается.

Но Косой спрашивал не о том. Ясно было и для младенца, что по прямой трубе камина, покатый верх которого служил как бы приемником для звука, можно было слышать наверху все, что говорилось внизу.

– Я не о том, – пояснял он, – я спрашиваю, как же вы это подслушивали? Разве это хорошо?

– Я вам докладываю, что это сама судьба, а от нее уходить не полагается.

Как ни казалось это противно князю Ивану, но он видел, что действительно сама судьба посвятила Чиликина в его тайну и волей-неволей теперь приходится считаться с ним.

Но тут вот что пришло в голову князю: может быть, и в самом деле этот Чиликин ощутил в своей душе нечто вроде раскаяния и вполне искренне желает помочь ему? В этом не было ничего невероятного. Сам Косой был

слишком порядочен, чтобы не почувствовать отзыва в своей душе ко всякому проявлению доброго намерения.

– Что же вы хотите сделать для меня? как помочь? – спросил он.

Чиликин увидел, что слова подействовали.

– Тут можно действовать различными способами, – заговорил он. – Главное-с, вам надо уничтожить соперника...

– Вы и это знаете? – спросил Косой.

– Знаю-с. Ну, так вот, есть для этого различные способы? Можно, например, совершенно извести его доносом...

– Как доносом?

– А так, втянуть в политическое дело и донести потом. Мне одному это не сделать... но при вашей помощи...

«Экая гадина!» – мелькнуло у Косого, и он воскликнул:

– Да кто же вам сказал, что я стану помогать вам в этом? Разве я пойду на такое средство?

– Истинная любовь не разбирает средств! – начал было Чиликин.

Но Косой уже раскаивался за свое мимо-

летное доверие к этому человеку. Он, даже и желая сделать хорошее, не мог без зла.

– Нет, оставьте лучше, не путайтесь! – сказал Косой. – Если вы мне хотите добра, то не мешайтесь в дело, которое совершенно не по вас. Вот все, что я могу сказать вам.

Чиликин попробовал было предложить еще несколько планов действия, но Косой наотрез отказался ото всех их и почти насильно-таки выпроводил от себя назойливого гостя. И когда тот ушел, то князю после всех разговоров с ним показалось, что Чиликин не желает ему добра, а у него есть какие-то особые, затаенные в душе причины навязываться со своею помощью.

III

Выдумка Косого – переодеться в гадалщица для того, чтобы повидаться с Сонюшкой, имела свои последствия.

В то время, когда официальные календари издавались не иначе, как с предсказаниями на целый год, сделанными на основании астрологических выкладок, когда в академии наук составлялись учеными гороскопы и когда то и дело появлялись в Петербурге с Востока,

а потом и с Запада, шарлатаны, морочившие публику, – появление на Петербургской стороне гадалея, да еще в очень эффектно устроенной Косым обстановке, непременно должно было произвести впечатление.

Достаточно было Вере Андреевне рассказать двум-трем знакомым о новом гадалеяшке, сообщившем ей, по ее мнению, удивительные вещи, чтобы слава его была упрочена. О нем уже знали теперь во многих домах и жевали побывать у него.

Князь Иван не предвидел этого сначала, но теперь делать было нечего – приходилось поддерживать роль. К тому же это являлось единственным средством, чтобы видеться с Сонюшкой. Она в большинстве случаев приезжала с кем-нибудь из знакомых в качестве якобы провожатой и могла таким образом провести наедине с князем Иваном хоть четверть часа. Обыкновенно она заранее давала знать Косому, с кем она приедет, и тот через молодых людей, незаметно выспрашивая их, узнавал кое-какие подробности о той, которая должна была явиться с Сонюшкой, и, благодаря этим подробностям, производил впечатле-

ние такое, что ему верили и затем уже начинали рассказывать сами все, что нужно.

Теперь комнату, взятую было на Петербургской у свояка Степушки на один раз, князь Иван оставил за собою. Мало-помалу он даже приобрел опыт и очень ловко выходил победителем из встречавшихся иногда в его роли затруднений.

По преимуществу, приезжали к нему барыни, бывали и мужчины, но гораздо реже, и то из них князь Косой принимал далеко не всех. Приезжал было молодой Творожников (князь Иван в предсказании Наденьке Рябчич намекнул, что она выйдет за него), но Косой не пустил его к себе из боязни, что тот узнает и догадается. Двоюродного же брата Рябчич он принял и рассказал ему что-то совсем несуразное, чем тот остался очень доволен и во все поверил.

И вдруг от Сонюшки пришло известие, что Ополчинин, наслушавшись от Веры Андреевны рассказов про гадалеля, хочет тоже поехать.

Князь Иван нисколько не удивился этому. Ему казалось, что Ополчинин непременно

приедет к нему. Он точно давно-давно уже ждал этого и как будто вовсе не сомневался в неизбежности такого посещения. У него даже не было ни капли боязни, что Ополчинин узнает его; он об этом даже не подумал и встретил Ополчинина в своей темной комнате, в парике с седою бородою и в больших синих очках, с такою уверенностью, что потом сам себе удивлялся.

Ополчинин вошел в маленькую, пропустившую его дверь и, щурясь не успевшими еще привыкнуть после света к полутьме глазами, оглянулся кругом.

Князь Иван сидел за столом, пред развернутой большой книгой, заслонившей от него свет лампочки, и, не подымая головы и делая вид, что читает, следил за Ополчининым. Тот, оглядевшись, заметил гадателя за книгой и тихими шагами приблизился к столу, подождал немного и опустился в стоявшее тут кресло. Лицо его осветилось лампочкой. Оно, как и ожидал Косой, было вполне серьезно, и даже доля сосредоточенности была видна на нем.

Обстановка произвела на Ополчинина

впечатление. Он попробовал было отодвинуть лампочку, как казалось, особенно смущавшую его, тронул ее, но сейчас же взял назад руку. Лампочка была крепко привинчена к столу.

Когда Ополчинин сел, князь Иван взглянул на него и махнул рукою, как бы показывая этим, чтобы тот пока молчал. Затем он взял стоявший справа на столе маленький хрустальный флакончик с красною жидкостью и, подняв его, стал смотреть на свет.

Через несколько времени он заговорил, растягивая слова и ловко владея кусочком пробочки, который держал во рту, вследствие чего до неузнаваемости изменялся его природный голос на старческую шепелявость. Он назвал имя Ополчинина, сказал, сколько тому лет, где тот родился, когда поступил на службу, сказал, что отец его умер, а мать вышла вторично замуж и тоже умерла, и что отчим его живет в Москве, что у него нелады с ним из-за наследства, оставшегося после матери. Все это князь Иван успел разузнать и повторил теперь не торопясь и умеючи.

– Верно? – спросил он Ополчинина, пере-

став говорить.

– Верно! – почти шепотом подтвердил Ополчинин, которому уже показалось, что гадалец рассказал всю его жизнь до мельчайших подробностей.

И по выражению его шепота было видно, что то, что он услышал, окончательно довершило впечатление обстановки и одурманило его.

Расчет Косого оказался верным: Ополчинин принадлежал к числу тех слабых, склонных к суеверию натур, которые способны под известным впечатлением всецело подпасть влиянию таинственности.

– Что же ожидает меня? – еще более тихим шепотом спросил он.

Князь Иван опять взялся за флакон и стал смотреть в него на свет.

– Я вижу кольцо, – сказал он после как бы долгого напряжения.

– Обручальное, – подсказал Ополчинин.

Князь Иван, держа пред собою флакон, из-за своих синих очков, закрывавших ему глаза, следил за Ополчининим. Он выдержал еще некоторое время и продолжал:

– Нет, перстень. Он висит на шейной цепочке. Человек спит. Свечи догорели. Крутом бутылки, карты и стаканы. Заря. Кольцо взято.

Ополчинин вынул платок и, смяв его в комок, провел им по лбу. По его лицу Косой понял, что его предположение верно – кольцо взято Ополчининым.

– Это кольцо, – продолжал князь Иван, снова читая в выражении Ополчинина подтверждение своим словам, – попадает... в руки государыни... А-а, я вижу, в чем дело... просьба в виде награды, чтобы была посватана...

– Довольно! – остановил Ополчинин. – Я знаю, все это верно... это было... Но мне важно знать теперь, знает ли, или хотя подозревает тот, у кого взято кольцо, кто его взял?

«А, так вот зачем ты пришел!» – сообразил князь Иван, и ему захотелось в эту минуту вдруг сбросить с себя парик, очки и бороду и показаться Ополчинину, чтобы доказать ему, что знает он все.

Но в том-то и дело, что он далеко еще не все знал, что ему было нужно.

– То есть вы хотите знать, – спросил, сдержавшись, Косой, – знает ли он о кольце или о чем-нибудь еще другом?

– Нет, не только о кольце, но и о письме, которое взято у него.

Князь Иван сделал над собою усилие, чтобы не выдать себя невольным движением в эту минуту. Его рука дернулась сама собою, и он постарался ближе нагнуться к флакону, будто смотрел в него.

– Мне нужно видеть это, – произнес он.

Он сказал наобум первые, пришедшие ему в голову слова, не соображая о том, как же он, ничего не зная, будет говорить, что видит. Но эти слова пришлись как нельзя более кстати.

– Я сам скажу вам, – остановил его Ополчинин, вполне уже убежденный, что в волшебном флаконе все видно, – это будет скорее. Письмо взято у него ночью казачком.

«Антипкой!» – подумал князь Иван, вспомнив, как он застал Антипку с письмом у стола.

– Он, – продолжал Ополчинин, – поймал казачка в ту минуту, когда тот хотел утром подкинуть письмо, так что, может быть, он и

догадывается.

Князь Иван снова пристально стал смотреть на красную жидкость в флаконе и снова произнес:

– Мне не ясно одно...

– Что такое?

– Казачок был подкуплен?

– Да. Кроме того, это – шустрый мальй, он и из любви к искусству...

– Отчего же он не взял всех писем?

– Боялся. Схватил, сколько успел – одно.

– И оно было списано?

– Да.

– Когда же?

– В течение ночи. Казачок стащил письмо с вечера из-под подушки.

– А печать? ♦ – Прямо была сломана. Казачок должен был взять это на себя, когда утром подбрасывал письмо. Он знал, что его только выбранят, но ничего за это ему не будет.

– И копия с письма была отнесена Лестоку?

– Да.

– Ее несет старый нищий, так? – спросил

князь Иван, притворяясь, что видит во флаконе все, что говорил Ополчинин.

– Да, переодетый старый нищий.

– Но разве кто-нибудь другой не может переодеться таким же нищим?

– Лесток отличает настоящего по особому условному знаку.

– Этот знак?

– Прикосновение ко лбу.

Теперь князю Ивану было все ясно: письмо при помощи Антипки было выкрадено у него, с письма была снята копия, и Ополчинин лично передал ее Лестоку. Ту же копию, которую принес сам князь Иван, от него принял кто-то другой. Теперь был понятен и особенно недоверчивый разговор Лестока впоследствии. Действительно, этот Лесток, как выходило, знал, что копию с письма принес ему Ополчинин, между тем Косой ему говорил, что это был он. Вследствие этого трудно Лестоку было поверить и в правдивость рассказа о кольце, так как оно было представлено Ополчининным же. Таким образом, в глазах Лестока Косой являлся, несомненно, обманщиком, желавшим воспользоваться заслуга-

ми другого, между тем как на самом деле это было наоборот!

Но вот Ополчинин произнес:

– Теперь мне нужно, чтобы мне сказали, знает ли он, или догадывается. Это весьма важно для меня.

Князь Иван долго смотрел в флакон, собираясь с мыслями, чтобы вполне воспринять и освоиться с путаницей обстоятельств, сплетшихся вокруг него.

– Да, он знает все! – сказал он наконец.

Ополчинин втянул голову в плечи и как бы сжался весь.

– Что же теперь делать? – выговорил он.

Князь Иван опять ответил после долгого молчания:

– Нужно исправить зло.

– Да, но как?

– Пойти и признаться во всем, сказать истину.

Ополчинин даже не выказал колебания.

– Никогда! – проговорил он. – Другого средства нет?

– Я ничего не вижу, – ответил Косой, – жидкость во флаконе совершенно прозрачна.

– Ну, хорошо! Что же меня ожидает дальше: женюсь я? буду счастлив?

Князь чувствовал в руках дрожь, и сердце забилось у него сильнее. Он опять долго глядел в свой флакон.

– Ничего не видно, – произнес он, – жидкость темнеет, становится черною... Черное дело затемнило ее, совсем... совсем... Мрак полный, я ничего не увижу для вас больше, – заключил он и поставил флакон на стол.

Князь сказал это решительно, строго, бесповоротно, давая Ополчинину понять, что гадание кончилось.

Тот встал, поправил на себе камзол, положил на стол деньги и пошел к двери нетвердыми шагами. Дышал он тяжело и – главное – решительно не помнил, что говорил сам. Ему казалось, что он молчал все время и только слушал то, что говорили ему, а сам ничего не говорил. Он был поражен, уничтожен и изумлен ясновидением гадалателя.

Глава третья. В старой Москве

I

Императрица Елисавета, взойдя на престол, спешила закрепить за собою власть, же-

лая как можно скорее короноваться, для чего уже давно делались приготовления к отъезду двора, иностранных послов, сенаторов и генералитета в Москву.

В самой Первопрестольной уже с января 1762 г. работала назначенная сенатом комиссия по устройству и приготовлению всего необходимого для коронационных торжеств. На первое время на расходы этой комиссии было отпущено 30 000 руб., с тем, чтобы все необходимые материалы покупались в Москве у русских купцов.

Из Петербурга двинулась гвардия, затем на казенных подставах – для чего сгонялись со всех придорожных участков лошади – поехали министры, придворные и иностранные послы. Наконец, 23 февраля выехала сама императрица и через три дня, 26-го числа, в пятом часу пополудни, прибыла в село Всехсвятское, а через день торжественно въезжала в Москву.

Князь Косой, зачисленный в иностранную канцелярию еще Остерманом, получил вдруг извещение, что он должен пожаловать туда. Оказалось, сам вице-канцлер Бестужев потре-

бовал его к себе. Он признал князя Ивана, долго разговаривал с ним, остался, видимо, доволен его французским языком и всем прочим и попробовал его способности, дав ему поручение по письменной части. Косой исполнил и, вероятно, не сделал промаха, потому что Бестужев одобрил. Когда же он стал собираться в Москву для присутствия на торжествах коронации, то в числе отправившихся с ним по его назначению подчиненных был и князь Иван Кириллович.

Сонюшка ни слова не сказала князю Ивану о своем разговоре с Бестужевым, и он никак не подозревал, что добрый гений, повлиявший в его пользу на Бестужева, был не кто иной, как она.

Пред его отъездом в Москву они виделись в последний раз, и Сонюшка сказала князю, что будет писать и чтобы он отвечал ей тем же путем, каким сам будет получать ее письма. Он не знал этого пути, но с первой же официальной почтой, которую ему было поручено получать в доме Бестужева в Москве, где он остановился, он нашел среди казенных писем и письмо Сонюшки к нему. Тогда он по-

пробовал написать ей, и притом из предосторожности не от себя, но так, что она могла догадаться, что это письмо от него, и вложил его наудачу в почту, отправленную в Петербург. Соня получила это письмо и ответила. Таким образом у них установилась переписка, хотя князь Иван решительно не мог понять, как устраивалась Сонюшка, чтобы ее письма попадали в казенную сумку и чтобы получать из этой сумки письма, адресованные ей. Боясь как-нибудь повредить делу, он не пытался раскрыть эту загадку.

Когда уезжал князь Иван, Соголевы еще ничего не решили, поедут ли и они в Москву, или нет. Но в своем третьем письме Сонюшка сообщала, что Вера Андреевна собирается с Дашенькой и с нею на коронацию, и что они останутся в Москве вместе с Наденькой Рябчич у Сысоевых, родителей ее двоюродного брата.

Ополчинин, которого князь Иван не видел после своего разговора за «гаданием», был вместе с гвардией в Москве.

Широко раскинувшаяся Первопрестольная столица была уже знакома князю Ивану сво-

ею невылазною грязью, своими непомерными расстояниями и отсутствием сколько-нибудь прямых и правильно распланированных улиц. Тут строил всякий, как хотел. Богатые дома воздвигались вроде деревенской усадьбы, со службами, с садами и огородами, тут же ютились к ним бедные домишки, крытые лубком. Вместо улиц пролегало несколько больших дорог, довольно скупо освещенных фонарями со слюдой вместо стекол. Между этими дорогами шел такой лабиринт проулков, закоулков, проездов и тупиков, что для того, чтобы попасть куда-нибудь, нужно было специально изучить данную местность.

Барские каменные дома среди этой грязи и бедности казались дворцами в своих роскошных садах, убиравшихся и расчищавшихся даже зимою руками крепостных людей. Теперь, с переездом в Москву государыни, двора и знати, эти дома оживились, и в них то и дело давались вечера, балы и празднества.

Князь Иван должен был являться повсюду вместе с Бестужевым, который тут, в Москве, приблизил его к себе, так что князь как бы находился в его свите.

Косой уже видел и результаты этого приближения. Многие, имевшие дело к Бестужеву, и даже чиновные лица, старались быть любезными с ним и внимательными к нему.

II

Кабинет Бестужева в его московском доме был устроен совершенно так же, как в Петербурге, до мельчайших подробностей – те же размеры, те же вещи и расставлены одинаково с педантической тщательностью. Алексей Петрович не любил менять свои привычки. Работал он почти буквально с утра до ночи, так что Косой, которому случалось засиживаться с ним до поздних часов, с удивлением узнавал, что Бестужев на рассвете уже призывал кого-нибудь для распоряжения или с докладом. Трудно было уловить время, когда спал этот человек.

Еще в обыкновенные дни это было понятно, но и при постоянных празднествах, торжествах и выездах Бестужев все-таки не оставлял кабинетной работы и, по долгу службы появляясь на каждом официальном собрании, иногда поздно вернувшись домой, шел к себе в спальню лишь для того, чтобы

переодеться в домашний наряд и сесть за бюро или письменный стол.

Императрица короновалась 25 апреля.

Празднества были в самом разгаре. В комиссию о коронации было отпущено – сверх прежних 30 000 руб. – еще двадцать тысяч, да кроме того на фейерверк – 19 000 руб. Иллюминация продолжалась восемь дней. В день коронации, во вновь устроенном театре, на берегу Яузы, в первый раз в России была поставлена итальянская интермедия, состоявшая из опер «Титово милосердие» и «Опечаленная и вновь утешенная Россия». После опер шел балет «Радость народа, или Появление Астреи на российском горизонте и восстановление золотого века», аранжированный балетмейстером Антонио Ринальдо-Фузано. Для народа были устроены разные зрелища, пиры и шествие, где участвовали «разные крылатые гениусы и фамы, которые в трубы поздравление говорили». Затем в этом новом театре было назначено любимое в то время увеселение – машкера.

Накануне этой машкеры князь Иван ждал около полуночи в кабинете Бестужева возвра-

щения Алексея Петровича с бала от Шереметева. Бестужев велел прийти с бумагами и сказал, что вернется к двенадцати, и Косой знал, что это будет исполнено пунктуально.

В самом деле, еще било двенадцать часов, когда на двор въехала карета Бестужева, и князь Иван слышал, как откинулась подножка, хлопнула дверца, и слуги на лестнице кинулись навстречу барину.

Через несколько времени вошел в кабинет Бестужев, переодетый уже в короткий халатик, и весело и бодро улыбнулся князю Ивану, как будто для него и не существовало утомления целого дня, проведенного им почти целиком на ногах.

Косой сел против него у стола и начал передавать спешные бумаги, требовавшие немедленного разрешения. Все это касалось дела о возобновлении настояниями Бестужева шведской войны и о приезде в Москву шведского посла Нолькена для переговоров. Тот остановился в Москве, в доме французского посла.

Шетарди, требовавший сначала, чтобы со Швецией был заключен мир на самых выгод-

ных для последней условиях, потому-де, что она способствовала восшествию императрицы на престол, несмотря на старания Лестока, потерпел полное поражение, и со стороны России не только не было сделано никаких «выгодных» предложений, но, напротив, послан в Финляндию указ о продолжении войны. Несмотря на все происки Шетарди и Лестока, французская политика не восторжествовала до сих пор. Но противники Бестужева не клали еще оружия. Из Швеции приехал в Москву Нолькен, бывший уже ранее посланником в России, для того, чтобы вместе с французским послом начать новую кампанию.

– А письмо к турецкому резиденту? – спросил Алексей Петрович Косого, принимая от него несколько бумаг к подписи.

– Вот оно, – и князь Иван передал ему письмо.

Бестужев внимательно перечитывал каждую бумагу, одобрительно кивал головою и затем подписывал. Поставив последнюю подпись, он откинулся на спинку стула и провел рукою по голове, как человек, уставший не

физически, но нравственно, и знающий, что конца этой усталости не предвидится.

– Куда вы? Нет, останьтесь еще, мой друг! – сказал он Косому, видя, что тот хочет подняться, чтобы уйти.

– Я думал, что вы отдохнуть хотите, – произнес князь. – Я и то удивляюсь вам, вы не дадите себе ни минуты покоя.

– Ах, не в этом покое дело, мой друг! – сказал Бестужев. – Вы подумайте только, какую трудную задачу нам взвалили обстоятельства! Для пользы дела приходится бороться с личными симпатиями и антипатиями государыни. Она – женщина, а у женщин, знаете, личное чувство прежде всего... Да и мужчине не всякому это под силу. Только самые сильные натуры могут отделить деловые отношения от личных.

– Но ведь до сих пор... – начал было Косой.

– Да, до сих пор государыня заставляла удивляться своей силе воли. Это – дочь Петра. Но не знаю, выдержит ли... Вы поймите, что ведь все те, с которыми мы должны дружить, лично неприятны государыне. Австрийский посол Ботта был обласкан брауншвейгской

фамилией и сторонился государыни, когда она была цесаревной. С Саксонией связано воспоминание о Линаре; наконец, английский посол Финч прямо неоднократно предостерегал Остермана против цесаревны, и государыне это известно. Они боялись, что с падением брауншвейгской фамилии изменится русская политика, та политика, выгоды которой для России понимали Бирон и Остерман, хотя и немцы, но – что ни говорите – честно ведшие ее и не уронившие русского достоинства. Так как же нам-то, русским, не понимать этого и из личного расположения к Шетарди давать возможность Франции с Пруссией погубить Австрию, чтобы затем самим считаться с ними. Ведь это же ясно. А между тем, Шетарди оказывал личные услуги императрице, Мардефельд вел себя осторожно, но после падения Миниха был не в ладах с бывшей регентшей и тоже сумел вызвать в государыне расположение к своей Пруссии. И против этого надо бороться и почти ежеминутно следить за настроением государыни... Завтра что такое будет?

Князь Иван назвал, какие назначены при-

емы на завтрашний день.

– Ах, да, – повторил Бестужев, – завтра мас-карад в новом театре! Вы будете?

– Я? – как бы даже удивился Косой. – Нет, я не собирался.

– Отчего вы так мало выезжаете? Вам бы нужно больше показываться в обществе.

– У меня и костюма нет, – сказал князь Иван, думая, что этим положит конец настоянию Бестужева, на самом же деле ему просто никуда не хотелось, и он выезжал только на официальные выезды, когда это было прямо необходимо.

– А костюм старого нищего? – подчеркнул Бестужев.

Косой внимательно посмотрел на него. Он уже привык настолько к вице-канцлеру, что сразу мог определить, когда Бестужев шутит или говорит серьезно. На этот раз Алексей Петрович не шутил.

Князь Иван в свое время рассказал ему всю свою историю с кольцом и с письмом, но не рассказал только о Сонюшке, считая это тогда лишним и не желая уже слишком высказывать пред Бестужевым большую болтливость.

Теперь он видел, что Алексей Петрович своим напоминанием о «старике нищем» как бы давал понять, что, может быть, найдет для него во время маскарада какое-нибудь дело, словом, ему почему-то нужно, чтобы он там был в костюме нищего.

– Тогда я поеду! – сказал Косой.

– Да, поезжайте и наденьте этот костюм... До свидания!.. – и Бестужев поклонился князю Ивану, отпуская его к себе.

III

Несмотря на то, что до сих пор старания Шетарди направить в пользу Франции политику России решительно не увенчались успехом, он все-таки был то, что называется *persona grata*[4], при дворе Елисаветы, и в то время, когда другие послы иногда понапрасну добивались аудиенции целыми неделями, он имел всегда открытый доступ во дворец, и на всех празднествах, где появлялась только императрица, был в числе немногих находившихся возле нее лиц. И на маскараде, устроенном в новом театре, Шетарди вместе с Разумовским, Шуваловыми, Михаилом Петровичем Бестужевым, братом вице-канцлера, и Ле-

стоком был в ложе государыни, откуда она смотрела на пеструю толпу двигавшихся и танцевавших внизу пред нею масок.

Императрица была довольна празднествами и то и дело посылала в другие ложи за кем-нибудь из знатных персон, которых желала осчастливить своим разговором. Эти избранные входили в ложу с блаженно сиявшими лицами и выходили из нее почти поминутно, так что находившимся там то и дело приходилось сторониться, чтобы дать им дорогу.

– Ух, жарко, – пройтись бы немного! – сказал на ухо Шетарди Лестоку, пропуская мимо себя старика с орденом Андрея Первозванного.

– Да, жарко, – ответил нарочно громко Лесток. – Отчего же не пройтись? Пойдемте.

И они вышли из ложи.

– Я вас нарочно вызвал, – пояснил Шетарди, как только они очутились в проходе сзади лож, – мне нужно было бы переговорить с вами...

Лесток кивнул головой, сказал «сейчас» и, подойдя к одной из дверей, велел отворить ее.

Они очутились в темной низенькой аванложе с уютным диванчиком, куда слабо, сквозь сделанное в самой ложе окно в зал, пробивались шум и свет этого зала.

– Ну, здесь нас никто не увидит и не услышит, – сказал Лесток, – мы можем говорить спокойно... Ну, как дела?

Шетарди уселся, не торопясь, на диванчик и положил ногу на ногу, как человек, который делает все не торопясь, и, главное, знает то, что делает.

– Не особенно хорошо, поэтому я и хотел переговорить с вами серьезно. До сих пор мы ничего не могли добиться, теперь же, с приходом Нолькена, нужно будет действовать решительно. Ведь это – почти последнее средство. Война для Швеции – сказать между нами – чистая пагуба, а между тем, если Нолькен уедет отсюда ни с чем, то, пожалуй, союзникам Франции придется сложить оружие. И я не понимаю, как государыня не может или не хочет вникнуть в положение и пользу европейских дел. Пока Австрия имеет хоть какую-нибудь силу, Франция не может первенствовать. Для пользы Европы необходимо,

чтобы эта страна была ослаблена настолько, чтобы не мешала свободному развитию французского государства.

– Мне странно одно, – заговорил Лесток, в свою очередь, – каким образом теперь, при русском правлении в России, ничего не выходит из наших стараний. Ну, прежде правили тут немцы, их сочувствие к австрийскому двору и нелюбовь ко всему французскому понятны, но теперь ума не приложу. Как не видеть, что это тормозит дело развития?

Оба они говорили совершенно искренне, для них обоих Франция была первою странною мира, говорившей на языке, которым только и можно было беседовать в гостиных, обладавшей литературой, которую только и мог читать порядочный человек, она была странною, откуда шли люди, правила приличий и умения жить, новые покрои кафтанов и дамских нарядов, и в ней была мировая столица – Париж. Они оба совершенно искренне верили, что Франция должна была единственно первенствовать, и в этом заключались «европейские интересы», о которых они заботились. О том, что у полуварварской, чуждой им

и совершенно незнакомой России могли быть свои собственные интересы и национальная политика, они даже и не думали и, вероятно, очень удивились бы наивности того, кто попытался бы объяснить им это. Если Россия не хотела оставаться в Азии, а участвовать в семье европейских народов (и к этому они относились с улыбкой), то она должна была способствовать развитию Франции, думать только о ней, а никак уже не о себе...

– Прежний канцлер Остерман, – заговорил опять Шетарди на слова Лестока, – был плут, но умный плут, который отлично умел золотить свои пилюли. Теперешний же вице-канцлер положительно полусумасшедший...

Лесток улыбнулся.

– Я никогда не был высокого мнения о его уме, – перебил он, – я думал, что он, по крайней мере, будет послушен, но вышло не то...

– Не то, совершенно не то, – повторил Шетарди, – и я боюсь, что и теперь, с приездом Нолькена, он что-нибудь напортит.

– Ну, по-моему, бояться его нечего! Все-таки это – человек ограниченный и ленивый, а

потому мало что делающий, а если и делающий что-нибудь, то в силу предрассудков, которыми только и руководится. Знаете, я даже думаю, что он – трус.

– Кто бы он ни был, во всяком случае, он – нам помеха и нужно избавиться от него во что бы то ни стало.

Лесток задумался.

– Да, но это трудно, – сказал он. – Как я ни старался, как ни следил за ним, ничего нельзя подметить.

– Если нельзя ничего подметить, то можно предположить и действовать так, будто владеешь уже истиной. Мы уже предположили, что он получает пенсию от австрийского двора.

– Да, – подхватил Лесток, – и после отправленных к нему подметных писем он стал то краснеть, то бледнеть при упоминании о генерале Ботта. Сама государыня заметила это и сказала мне.

– Ну, вот видите ли!.. Значит, можно найти и еще что-нибудь для окончательного его низложения, и найти как можно скорее, потому что время дорого, пока Нолькен здесь.

– Но что же? Ведь выдумать ничего нельзя, нельзя лгать прямо...

– Лгать! – усмехнулся Шетарди. – Ложь – страшное слово только, и больше ничего. Позвольте! Если, например, на вас нападает разбойник в лесу – вы имеете полное право убить его, если сумеете сделать это. Это дозволено всеми писаными законами и нравственными кодексами. Никто не упрекнет человека – ни даже собственная совесть – за такое убийство. Так как же, если убийство допускается при известных случаях самою нравственностью, не допустить известной доли лжи, если от этого зависят существенные интересы всей Европы!..

Лесток слушал очень внимательно.

– Да, может быть, – подтвердил он, чувствуя, что на него действуют и слова Шетарди, и, главное, его убедительный тон.

Он был слишком труслив мыслью, чтобы самостоятельно подыскать опровержение изложенной ему казуистики.

– А господин Бестужев хуже разбойника, – еще с большею убедительностью заговорил Шетарди, видя, что его слова действуют, – по-

связывает на священнейшее право народов – право поступательного и мирного развития... Как же не устранить его.

– Да, – согласился Лесток, – это зло нужно с корнем вырвать... И как я ошибся в нем! Я же ведь первый способствовал его назначению!..

– Значит, теперь можно с легким сердцем способствовать его падению. Вам он обязан местом вице-канцлера – пусть благодаря вам же он лишится этого места. Надо уметь исправлять свои ошибки, – закончил Шетарди, сам улыбаясь своей шутке.

Слишком долгое отсутствие их могли заметить в ложе государыни, надо было идти. Но главное было уже условлено между ними – падение Бестужева во что бы то ни стало казалось решенным. Оставалось только найти подходящие к тому средства.

IV

Князь Иван, в одеянии старика нищего, среди окружавших его богатых, иногда сплошь зашитых самоцветными камнями и бриллиантами масок, чувствовал себя не совсем свободно, да и вообще ему скучно было одному среди веселящейся толпы. Он прошел-

ся на своей деревяшке раза два по залу и затем нашел себе укромное, темное местечко в самом проходе под ложею бельэтажа, в углке, у бархатной, падающей щедрыми складками занавески, которая, в случае чего, могла совершенно скрыть его вовсе. Здесь он мог сторожить Бестужева, пославшего его в маскарад, если тот пойдет искать его.

Место было очень удобно. Мимо князя Ивана то и дело проходили маски, вовсе не замечая его.

Он рассеянно слушал отрывки маскарадных разговоров, долетавшие до него слова и внутренне продолжал скучать. Все это было то же самое, старое, знакомое. И неужели нового ничего не могут выдумать?

Посредине зала Арлекин, Пьеро, Коломбина и Кассандр начали представлять интермедию. Маски окружили их тесным кольцом и столпились к середине зала.

В это время в проходе, где князь Иван стоял у занавески, остановился спиною к нему капуцин в коричневой сутане, державший под руку даму, одетую в простенький костюм Сандрильоны.

– Погодите! – сказала она.

Косой сразу узнал этот голос, не веря вместе с тем себе. Но он не мог ошибиться – этим голосом могла говорить только Сонюшка.

«Она приехала, она здесь! – радостно задрожало в груди князя Ивана. – Но кто ж это с нею?»

Он постарался догадаться по фигуре капюшина, кто он такой, но сутана и капюшон плотно скрывали сложение переряженного, так что даже о росте его трудно было предположить что-нибудь.

– Ну, зачем нам ждать? Пойдемте лучше смотреть интермедию, – ответил он.

– Погодите! – снова остановила Соня. – Погодите, я до сих пор молчала с вами, теперь мне нужно поговорить.

– Здесь? В маскараде? Мы здесь для того, я думаю, чтобы веселиться. Мы можем поговорить, если хотите – завтра, дома. Нам никто не помешает.

– Нет, именно здесь и сейчас; не только завтра, но, может быть, и через полчаса будет уже поздно. Вы знаете, отчего я не говорила до сих пор с вами серьезно?

– Не знаю, но могу сказать только одно, что прекрасно сделали, что не говорили.

– Вот как! Ну, так я вам скажу! Я молчала, потому что могла сказать вам лишь то, что люблю не вас, а другого; я не думала, что это подействует на вас, и ждала, напротив, что маменька, чтобы сделать мне наперекор, только ускорит свадьбу и справит ее на Красную горку. Поэтому я скрывала до сих пор, и свадьба оттягивалась благодаря тому, что маменька ищет все денег на приданое.

– Ну, а теперь отчего же вы вдруг здесь, в маскараде, куда я настоял, чтобы мы поехали вместе, и ваша матушка... отчего же теперь вы вдруг заговорили? Значит, вы уже не боитесь, что ускорят свадьбу?

– Значит, теперь не боюсь. И прямо говорю вам, что люблю другого.

– Я это знал и без того, по крайней мере, мог догадываться.

– И что же, вы к этому были равнодушны?

– Вполне. Вы будете моею, я женюсь на вас; может быть, вы поскучаете, поплачете, что ли, в первое время, а потом привыкнете, вот и все. Вы думаете, вы первая выходите так за-

муж? Таких браков большинство. И, знаете, они самые счастливые.

– Может быть!

– И, несмотря на то, что вы не боитесь, что свадьба будет ускорена, я все-таки настояю на том, чтобы сделать ее как можно скорее. Завтра же переговорю с вашей матушкой.

– Завтра вы ни о чем не переговаривайте, потому что будет поздно. Я вам повторяю это. Теперь я могу посоветовать одно – откажитесь от меня.

– Отказаться от вас?

– Да, пока есть время, сейчас же, сию минуту – подите к маменьке в ложу и откажитесь.

– Какой вы еще ребенок! – сказал собеседник Сони после некоторого молчания.

– Вы думаете? Могу вас уверить, что дети иногда, и даже почти всегда, поступают лучше взрослых... по крайней мере – честнее...

– Меня вот что удивляет, – заговорил он, – к чему все эти загадки? Неужели потому только, что мы в маскараде? Я думаю, вы просто хотите интриговать меня...

– Нет, не интриговать, а пробудить в вас доброе чувство, чтобы вы сами поняли то, что

вы делаете. Вы говорите, я привыкну к вам! Да подумайте, разве может женщина привыкнуть к человеку, про которого она знает то, что я знаю про вас?

– А что вы знаете про меня?

– Всё.

– С одной стороны – это слишком много сказано, а с другой – весьма мало. Что же это всё?

Соня нагнулась перед своим собеседником, как бы желая заглянуть через блестящие сквозь его маску глаза в самую душу его, и размеренно проговорила:

– Хотите, я скажу вам, что знаю про кольцо и про письмо?

Рука капуцина, державшая ее руку, дрогнула. Она вытащила свою и остановилась.

– Вам успели уже наклеветать на меня, – сказал он, справившись с собой. – Но не будем говорить об этом. Все равно это ничего не изменит.

– Ничего не изменит? Значит, на вас так прямо ни просьбой, ни уговором подействовать нельзя?

– Чем больше вы будете говорить, тем

больше будете доказывать лишь, что вы умны и милы, и что отказаться от вас может только глупый человек, а я себя дураком не считаю.

– Нет, это оттого, что я не умею говорить, как надо, – задумчиво сказала Соня, – не умею убедить вас. Но послушайте, поверьте, что так лучше будет, как я вас прошу... Вы можете раскаться... Я не могу вам сказать все...

– Ну, бросимте эти маскарадные загадки! Пойдемте лучше – пройдем по залу...

– Вы хотите, чтобы я шла?

– Да! – и капуцин подставил Соне руку.

– Ну, тогда будь по-вашему! – сказала она и, прежде чем успели удержать ее, юркнула мимо князя Косого в дверь, в коридор.

Как нарочно, в это время интермедия кончилась, и толпа повалила к выходам и разбрелась по залу.

Ополчинин – князь Иван не сомневался теперь, что это был он, – стоял и оглядывался, напрасно стараясь найти, куда исчезла Сонюшка.

«Что же это, – с ужасом думал Косой, – что она говорила тут? Или она отчаялась и реши-

лась на какое-нибудь безрассудство? Неужели она серьезно говорила с Ополчининым?»

Он откинул полускрывавшую его занавеску, протиснулся к нему и сказал, хватая его за руку:

– Я слушал, я был тут. Зачем вы отпустили ее?

Ополчинин под своей маской капуцина испуганно смотрел на него.

– Это – вы, Косой? – мог только проговорить он, сейчас же догадавшись, что, кроме князя Ивана, некому было быть под одеянием старого нищего.

– Да, я... Но что вы сделали? – продолжал князь. – Зачем вы отпустили ее? Вы слушали, она говорила, что завтра будет «поздно», что вы раскаетесь, что она не может сказать вам все...

Он в эту минуту не думал о том, что рядом с ним тот самый Ополчинин, который не стыдится украсть его счастье; он видел теперь в Ополчинине лишь человека, способного помочь ему остановить вовремя Сонюшку, если она задумала что-нибудь слишком решительное.

– Нужно идти, остановить ее... она сюда, сюда пошла! – и он потащил Ополчинина в коридор, видя уже по суетливости его движений, что тот понял наконец, в чем могло быть дело, и готов бежать за Сонюшкой.

Он толкнул его направо, а сам пошел в другую сторону.

Однако старания князя оказались напрасными. Деревяшка, которую он, для полноты костюма, привязал к ноге, мешала ему скоро двигаться; он прошел весь коридор до конца, спрашивал у лакеев, не видел ли кто-нибудь тут маски в сером костюме Сандрильоны, вернулся в ту сторону, где оставил Ополчинина, но даже и его не мог найти. Сонюшки нигде не было, и никто не видал ее.

– Наконец-то вы, Косой! – остановил его за руку сын Алексея Петровича Бестужева, молодой человек.

Он был в костюме гугенота. Князь Иван узнал его, потому что они приехали вместе в маскарад.

– Батюшка вас зовет, вы ему нужны, – сказал молодой Бестужев и, не дав Косому опомниться, повел его почти насильно.

После интермедии государыня пила чай в зале фойе, где был приготовлен уставленный золотым чайным сервизом, вазами с фруктами, сладостями и печеньями стол, разукрашенный цветами.

Императрица сидела в кресле, с чашкою в руках, окруженная своими ближними людьми; тут же были и дамы, приглашенные к чаю государыни, большинство – замаскированные. Елисавета Петровна разговаривала с Алексеем Петровичем Бестужевым, когда его сын ввел сюда князя Косого в его костюме старика-солдата.

Князь Иван вошел и остановился, пораженный. Он никак не мог ожидать, что его приведут сюда, в этот блестящий, залитый светом зал, полный народа. Но весь этот народ, группы сверкавших бриллиантами дам, стоявших по обе стороны зала, освещенный канделябрами стол с вытянувшимися возле него в струнку ливрейными лакеями и блестящий золотым шитьем и алмазными звездами полукруг царедворцев, – все слилось для него, и он сразу увидел только одну, сидев-

шую в центре этого полукруга государыню, в ее белой шелковой, с открытой шеей робе и голубой андреевской ленте через плечо.

Она взглянула на него. Стоявший у ее кресла Бестужев сделал чуть заметный знак головою Косому приблизиться.

Князь Иван, в своем бедном одеянии нищего, хромя на деревяшке, сделал несколько шагов по ковру. Он чувствовал, что все смотрят на него, потому что смотрела государыня.

Здесь, в этом зале, возле нее, все было, как ему казалось, не так, как всегда. И свечи горели ярче, и воздух, пропитанный курениями и запахом духов, был точно знойнее, точно грел и обжигал вместе с устремленными на него взглядами толпы, приостановившей при его появлении свой сдержанный говор.

Он привлек к себе всеобщее внимание. По необычности его появления здесь все видели, что он за чем-то призван, что сейчас должно произойти что-то очень занимательное и интересное. Но никто, а всего менее сам князь Косой, не знал, что именно.

Государыня улыбнулась ему, когда он подошел и остановился все-таки в некотором

отдалении пред нею.

– Вот, ваше величество, тот нищий, о котором я докладывал вам, – сказал Алексей Петрович внятно, почтительно и несколько громче, видимо, ободряя этим главным образом самого Косого.

Государыня кивнула головой и, взглянув на Бестужева, спросила:

– А где же другой?

Бестужев оглянулся, обвел глазами кругом и сделал знак головою стоявшему уже у двери капуцину. Тот большими, решительными шагами выступил вперед. Он был без маски, так же, как и князь Иван, которому молодой Бестужев предложил снять ее при входе в зал, и Косой под капюшоном капуцина узнал бледное, сосредоточенное лицо Ополчинина.

Государыня еще раз осмотрела их. Оба они поняли уже теперь, в чем дело. Сейчас, в зависимости от того, что ответят и скажут здесь они, должна будет решиться их участь.

Романтические, не совсем обыкновенные обстоятельства, в которых им пришлось как действующим принимать участие, как нельзя более подходили к обстановке маскарада, и

Елисавета Петровна обещала Бестужеву сама разобраться здесь это запутанное для всех, кто слышал о нем, дело. Ее самое тоже интересовало, который же из двух молодых людей был по праву достоин награждения. Сама она не могла узнать того, кто защитил ее в лесу, — она не помнила ни лица его, ни даже фигуры вследствие поспешности, с которой все случилось тогда, и темноты.

Теперь она начала с того, что один из них должен сказать чистосердечно, что вовсе не желал серьезно воспользоваться заслугами другого, а впутался в эту историю по легкомыслию и лишь ради забавности интриги. Она сказала, что не взыщет с него и посмотрит на это только как на извинительную в молодости выходку.

Косой слушал, радуясь мудрости милостивых слов императрицы, дававших Ополчинину возможность выйти из его положения если и не с полным достоинством, то, во всяком случае, без особенного уже бесчестия. Он думал, что хоть в эту-то минуту тот образумится и будет иметь настолько доблести, чтобы раскрыть истину. Он следил за Ополчининим,

не оборачиваясь к нему, и углом глаз видел выражение его лица. Оно было бледно по-прежнему, но Ополчинин смотрел смело и даже дерзко вперед, смотрел так, будто был совершенно прав и слова государыни не могли относиться к нему.

«Неужели он смолчит, неужели у него не хватит духа признаться?» – думал Косой, чувствуя, как у него захватывает дыхание и сердце бьется все сильнее и сильнее.

Ополчинин молчал.

Государыня подождала, медленно перевела взор с Ополчинина на князя Ивана. Косому тяжело было выдержать этот взгляд. В нем подымалась жгучая боль обиды стоять рядом с человеком, который мог идти с такою наглостью на прямой обман, и вместе с тем самому быть заподозренным в этом обмане. Ему хотелось тут громко сказать Ополчинину, что тот лжет своим молчанием, не имеет права молчать. Он чуть не забылся в эту минуту, чуть не сказал того, чего не должен был... Но, к счастью, строгий, выразительный взгляд Бестужева вовремя удержал его.

– Если вы оба молчите, – сказала импера-

трица, – тогда разберем дело. Я хорошо знаю, – обратилась она к Косому, – что прапорщик Ополчинин носил под видом старика-нищего в мой дворец на Царицыном лугу бумаги и донесения от Грюнштейна, между тем вы говорите, что вы делали то же самое?

Она остановилась, и Косой видел, что она требует ответа от него.

– Мною была принесена только один раз копия с письма к графу Линару, ваше величество, – ответил он.

– И тоже под видом нищего?

Косой показал на себя.

– Вот в этом костюме, который теперь на мне.

Елисавета обернулась к Бестужеву. Тот показал ей на стоявшего рядом с ним камергера.

Этот камергер – Шувалов, как узнал Бестужев, подготовивший к сегодняшнему дню, насколько было возможно, все дело, был тем самым лицом, которое приняло от Косого снятую им с письма к Линару копию.

– Эту копию, – сказал Шувалов, – получил я, потому что лейб-медика не было в это время. Я знал, что бумаги приносит старик-ни-

ций, и, когда мне сказали, что он вошел на двор, а лейб-медика нет, я велел призвать его к себе. Но мне некогда было говорить с ним. Я взял бумагу, и потом Лесток сказал мне, что тоже получил вторую копию. Мы решили, что это – доказательство лишь усердия, и были уверены, что обе копии доставлены одним и тем же лицом. Я помню это, ваше величество, и могу засвидетельствовать.

Князь Иван вздохнул с облегчением. Главное, что ему казалось труднее всего доказать, что копия была принесена тоже и им, – теперь было доказано. По крайней мере, теперь было ясно, что он не лгал. Относительно случая в лесу он беспокоился меньше. Тут, ему казалось, у него были доказательства в руках.

VI

– Хорошо, – сказала императрица, снова обращаясь к Косому и Ополчинину, – я готова верить, что вы оба с письмом хотели услужить мне и оба принесли каждый свою копию. Но ведь в лесу тогда был только один из вас?

Князь Иван медлил ответом, выжидая, не скажет ли что-нибудь Ополчинин.

– Только один, ваше величество, бросился спасать вас, а другой уехал. Мы были вместе в лесу, – сказал голос Ополчинина.

Князь Иван, не веря себе, оглянулся на него. Он стоял под своим капюшоном, прямо, смело и решительно глядя пред собою. Видно было, что он твердо решил не сдаваться и, раз покотившись с горы, не мог уже остановиться.

– Как же это все произошло? – спросила государыня.

– В этот день, – начал ровно и изумительно спокойно Ополчинин, – мне пришлось быть переодетым в нищего, по обыкновению, во дворце по поручению Грюнштейна. Из дворца я отправился в бильярдный дом, где у нас была отдельная комната, в которой мы переодевались, когда нужно было, потому что в казармах, на виду у всех, опасно было делать это. Нужно было оберегать сношения казарм с дворцом. В бильярдном доме хозяин у нас был закуплен, и мы переодевались там, как будто делали это ради любовной интриги. Никто не знал, конечно, кроме посвященных, настоящей цели наших переодеваний. В би-

льярдном доме я снял наверху, в нашей комнате, одежду нищего и, надев обыкновенное платье, спустился вниз, где застал целое общество молодых людей. Мы играли на бильярде и пили, там и обедали. За обедом составилось пари, чтобы ехать в лес. Мы и поехали вдвоем к ночи. Дорогу я знал хорошо. Ехали мы рысцой и разговаривали, конечно, ничего не ожидая. Вдруг слышим шум, свист и выстрелы... я, кажется, сказал, что это – лихие люди, пришпорил лошадь и понесся... тут я не могу дать себе отчета, как и что случилось, потому что не помню – слишком был взволнован. Но могу только, под какой вашему величеству будет угодно клятвой или присягой, показать, что все, что я сказал сейчас, – сущая, неопровержимая и самая святая истина!

Он сказал это самым убежденным, искренним тоном и, надо было отдать ему справедливость, имел на то полное право. В своем рассказе он не сообщил ничего такого, чего бы не было на самом деле. Весьма было вероятно, что он и не помнил, что было с ним, когда он, заслышав шум схватки, пришпорил

лошадь и поскакал, но только не вперед, а назад по дороге. Об этом вот он умолчал, а все, что сказал, была действительно суцая правда!.. И он мог в самом деле идти под присягу подтверждать свои слова.

В то время как говорил Ополчинин и произносил готовность клятвы, целый ряд душевных ощущений, одно другому противоположных, испытал князь Иван. Удивление, ужас пред наглостью и вместе с тем как бы даже интерес к находчивости Ополчинина сменялись в нем чувством гадливости и отвращения. Он слушал и не верил, что все это происходит воочию, и тем более не верил, что, как он думал, у него был неопровержимый довод, которым он мог сразу уничтожить Ополчинина.

И когда тот кончил говорить и государыня обратилась к князю Ивану, он без лишнего многословия прямо сказал, что перстень, полученный им от императрицы в лесу, был у него и висел на шейной цепочке вместе с крестом, что вырезанным на нем орлом он запечатал сломанную печать на письме Анны Леопольдовны, а главное, что он показывал

этот перстень во время игры Ополчинину и показывал при свидетелях, которые могут подтвердить, что перстень был у него...

Косой сказал это все так просто и так правдиво, что расположил почти всех присутствующих в свою пользу. Он был так уверен в неопровержимости своего довода, что уже не сомневался, что Ополчинину не останется ответить ничего. Такое же впечатление было, по-видимому, вызвано и у большинства словами князя Ивана.

Ополчинин стоял теперь с опущенными глазами, безмолвный, как каменное изваяние.

– Что же вы не отвечаете на это? – обратилась к нему императрица.

– Я не знал, ваше величество, могу ли я ответить... – произнес он скромно.

– Говорите!..

– Я могу сказать, что никто не видел, когда и как было запечатано письмо и какую печатью... Это никому не известно, тем более, что письма уже нет, и оно уже отдано по назначению. Но я могу сказать, что то кольцо, которое мне при свидетелях показывал князь Ко-

сой, было вовсе не кольцо вашего императорского величества, а кольцо... одной девушки... моей невесты... Свидетели видели, как он мне показывал кольцо, но во время игры не могли разглядывать его, и не думаю, чтобы они решились подтвердить показание князя.

Он сказал и умолк. И снова неопределенность и неясность покрыли на минуту было блеснувший свет правды.

Косой вспомнил, что действительно он показывал кольцо, не давая его никому в руки, и не сказал тогда, чье оно, а только спросил Ополчинина, знает ли тот его значение? Все это было гадко, но хуже всего было то, что Ополчинин солгал, сказав, что кольцо было его невесты.

Не будь все время устремленного на него строгого, но вместе с тем сочувственного и ободряющего взгляда Бестужева, князь Иван, наверное, потерял бы голову и, снова забывшись, сделал бы какую-нибудь несоответствующую выходку в сердцах.

Кажется, Ополчинин рассчитывал, между прочим, и на это. По внешнему виду он вел себя вполне безукоризненно, а искусно напу-

ценные им на себя скромность и правдивость могли обмануть самый опытный глаз, до того они казались естественными.

Государыня была обманута видом Ополчина, но вместе с тем и в дышавшей правдой речи Косого не находила причин для сомнения.

– Вы не помните, что я сказала, отдавая перстень? – спросила она.

– К несчастью, ваше императорское величество, – ответил князь Иван, – шум леса мешал мне расслышать, и потом это произошло так быстро и неожиданно...

Государыня не дослушала и обернулась к Ополчину – не скажет ли он?

– Да, лес слишком шумел – я ничего не мог расслышать, – сказал и он.

– Я была одна или еще кто-нибудь был со мною? – спросила опять императрица, глядя на Ополчина, только что ответившего ей.

– Ваше величество изволили быть, – проговорил он, – вдвоем, но с кем – я не мог разглядеть...

– А вы? – обратилась она к Косому.

Ему пришлось повторить то же, что сказал

Ополчинин, очевидно, отлично запомнивший его рассказ у Дмитрича, немедленно после происшествия.

Князь Иван видел, что таким путем, т. е. расспросом, императрице не найти истины. У Ополчинина всегда останется возможность или отделаться общими словами, или же повторить что-нибудь из слышанного им рассказа. Очевидно, тому важно было лишь как-нибудь выдержать этот сегодняшней допрос. Он знал, что если сегодня пройдет все благополучно, то все и останется по-прежнему, и государыня уже никогда не вернется к этому делу, видимо, и теперь начинавшему надоедать ей. Ну, что же? Она сделала даже более чем могла: она сама лично попыталась разобраться, но не по ее вине ничего нельзя было добиться: очень жаль, но делать нечего!..

Князь Иван понимал это и видел, что напрасно считал победу легкой; он видел, что Ополчинин начинает торжествовать, и что еще несколько вопросов – и государыня отпустит их, оставив все по-прежнему, и Ополчинин добьется своего.

И вдруг отчаянная, дерзкая мысль пришла

в голову князю Ивану: он решился на страшный риск, но другого ему ничего не оставалось делать.

VII

– Позвольте мне, ваше величество, рассказать подробно все, что произошло на ваших глазах в лесу, – заговорил Косой. – Я рассказывал это Ополчинину, когда мы отдыхали потом с ним в герберге у заставы, но тогда я не дал ему многих подробностей. Теперь я не пропущу ни одной из них. Когда я кинулся на свист и крики вперед по дороге, то увидел в спуске тропинки группу людей и сейчас же понял, что это разбойники напали на проезжих. Их сейчас же можно было признать по ярко-красным рубахам, цвет которых темнел на лунном, пробивавшемся сквозь деревья свету, и по высоким барашковым шапкам. Все они были верхами, и между ними атаман в парчовом кафтане, блестящем, словно латы. Я его как сейчас помню, потому что кинулся на него первого...

Он видел, как по мере его рассказа начинало хмуриться лицо государыни, но он, не смущаясь этим, продолжал, прибавляя все новые

и новые подробности. Елисавета Петровна не останавливала его и дала досказать ему до конца.

– Ну, а вы то же видели?.. – спросила она у Ополчинина, когда кончил свой рассказ князь.

Ополчинину идти назад было уже поздно. Ему оставалось, как думал он, сделать еще маленькое, последнее усилие, и торжество его будет полным. И он не отступил пред этим усилием.

– И я мог бы рассказать все это, – сказал он (новые подробности, найденные Косым, смутили его в первую минуту, но он сейчас же овладел собою, решившись твердо продолжать свою роль), – рассказать тем более, что весь этот рассказ передан с моих слов. Я под свежим впечатлением все это рассказал князю Косому в герберге, но потом многие подробности забыл. У него память лучше моей, вот и все. Но теперь я припоминаю и могу сказать, что действительно ясно вижу этого атамана в парчовом кафтане...

Он уверен был, что проверить, кто из них видел на самом деле, а кто знает по рассказу –

нельзя, и потому говорил со смелостью правого человека.

Императрица, видимо, пораженная, взглянула на него.

– Вы видели атамана в парчовом кафтане? – спросила она.

– Да, ваше величество, видел, – ответил Ополчинин, но голос его в первый раз дрогнул.

– И разбойников верхами, в красных рубахах?

Ополчинин, точно подчиняясь уже не себе, а чьей-то посторонней, ведущей его помимо собственного разума, воле, снова ответил:

– И разбойников верхами!

– Ваше величество! – вдруг подхватил князь Иван, решаясь заговорить первый с императрицей. – Теперь вы можете видеть, кто из нас говорит правду, и кто – нет. Вот Ополчинин подтверждает то, что он видел, после моих слов, но на самом деле вашему величеству известно, что не было этих подробностей. Я их нарочно рассказал сейчас, подобрал их для того, чтобы поймать его наконец.

Он говорил и чувствовал, что говорил хо-

рошо и что Бестужев одобрительно смотрит на него.

– Этих подробностей не было, – повторил князь Иван, – ни красных рубах, ни барашковых шапок, ни парчового кафтана, и разбойники были не верхами, а пешие. Да и как же они разъезжали бы по лесу на лошадях? Только человек, не видевший ничего этого, мог подтвердить это.

Он взглянул на Ополчинина, бледность которого сменилась теперь яркою краской, покрывшей его лицо. Он попался и, пойманный, потерял окончательно самообладание. При взгляде на него и на князя Косого, выпрямившегося и блестящего ясными, правдивыми глазами, прямо, открыто державшего свою голову, казалось, уже не было сомнения, кто был из них прав.

– Как же попало к вам кольцо? – сдвинув брови, спросила императрица Ополчинина.

Он дрогнул только и съежился, но язык отказывался повиноваться ему.

Тогда государыня обратилась к князю Ивану:

– Отчего же кольца не было у вас?

– Оно было взято у меня, когда я заснул на кресле, – твердо ответил Косой. – Я это знаю наверно.

– Наверно даже знаете?

– Пусть, ваше величество, Ополчинин повторит пред вами то, что он говорил мне, когда я принимал его под видом гадалея на Петербургской стороне. Он не узнал меня.

Это был последний удар, довершивший дело. При упоминании о гадале Ополчинин вдруг повернул голову в сторону князя Ивана. У него это сделалось невольюно, но выражение, которое было при этом у него на лице, лучше слов подтвердило, что теперь торжество на стороне Косого. Ополчинин, как придавленный, огляделся и не встретил ни одного взгляда кругом, который смотрел бы на него даже с сожалением. Явное осуждение читалось во всех глазах, смотревших на него, а также и в глазах императрицы. Тогда он вдруг, как стоял, опустился на колено и чуть слышно произнес:

– Виновен!

Точно вздох облегчения пронесся по всему залу. Давно уже общие симпатии инстинк-

тивно были на стороне Косого, теперь они были подтверждены. И только теперь князь Иван почувствовал, чего стоили ему вся эта сцена и все, что он вынес тут, стоя пред императрицей рядом с Ополчининым. Теперь он, охваченный новым чувством радости, умиления и восторга, стоял, не слыша того, что говорит строгим, сдержанным голосом императрица. Он не слышал потому именно, что этот голос был строг и, очевидно, относился не к нему. Но когда он зазвучал милостиво и кротко, тогда каждое слово явственно отозвалось у князя Ивана.

– Вы долго ждали и терпели, – сказала императрица, обращаясь к нему, – и были верным мне слугою. Я должна наградить вас.

Она обернулась и сделала знак рукою одной из тех дам, которые оставались под масками.

Средневековая принцесса в длинном, со шлейфом, белом платье, отделившись, подошла к ней.

– Вот вам моя награда, – сказала Елисавета Петровна, – это – ваша невеста, за которой я сама даю вам приданое... Возьмите ее и будь-

те счастливы... Я уверена, что мой выбор принесет вам счастье.

Она встала и, как бы не желая изъявления знаков благодарности, сделала общий поклон, а затем пошла к своей ложе, сопровождаемая ближайшими к ней лицами.

В это время к князю Ивану со всех сторон надвинулись знакомые и незнакомые и непрерывно старались высказать ему внимание, поздравляли его, пожимали руки, целовались с ним.

Но князь Иван не мог разделить высказываемую ими радость. Рядом с ним стояла только что навязанная ему, да еще в награду, принцесса, а его маленькая, милая и любимая Сандрильона исчезла и, может быть, навсегда.

«Господи, Господи... где она и что с нею?» – думал Косой...

VIII

В то время, как одни двинулись вслед за императрицей из зала, а другие столпились вокруг князя Косого с его дамой, поздравляя его, – к стоящему в отдалении у окна и старавшемуся не попадаться на глаза другим Опол-

чинину подошел Лесток.

Императрица сказала Ополчинину, что за его прежнюю службу прощает его, но не знает, как отнесутся к его поступку товарищи по полку и удобно ли ему будет продолжать службу. Ополчинин заранее уже знал, как после этих слов могут отнестись к нему товарищи по полку, и не сомневался, что карьера его потеряна навсегда.

Он остановился у окна, потому что в дверях была толпа, которую ему, конечно, хотелось избежать, и сделал это с той целью, чтобы дать разойтись всем видевшим его унижение, и затем уехать по возможности незаметно.

Ему был виден собравшийся вокруг Косого кружок, и он злобно смотрел на князя, теперь уже перебирая способы отомстить ему, но ничего не мог придумать и только мысленно повторял сам себе:

«Погоди же ты, погоди, мы так еще с тобой не расстанемся. Мы сведем наши счета!»

Лесток нарочно отстал от свиты государыни. Он все время следил за Ополчининым и прямо подошел к нему.

– Завтра приезжайте ко мне, – сказал он ему вполоборота, так, будто и разговаривает с ним, и вместе с тем – нет. – Вы мне будете нужны, если захотите поправить случившееся с вами сегодня...

Ополчанин, за минуту пред тем чувствовавший себя отверженным и окончательно пропавшим, вдруг приободрился и поднял голову. Оказывалось, с ним могли еще разговаривать, он мог быть зачем-то нужен даже таким людям, как Лесток.

– Я рад исполнить все, – ответил он, – если окажусь еще на что-нибудь годен.

– Я думаю, что вы будете годны и именно теперь, – ответил Лесток. – Мне нужен решительный человек, которому почти нечего терять и который решился бы на все, имея, конечно, в виду, что будет вознагражден за это; а если за поручение, которое я хочу сделать, возьметесь вы и выполните его удачно, то можете рассчитывать, что этим совершенно исправите все, происшедшее сегодня. – Завтра в одиннадцать приезжайте ко мне, – повторил Лесток и, минуя группу князя Косого, направился к ложе государыни.

Через толпу протиснулся к князю Ивану молодой Бестужев, служивший ему, по-видимому, ментором сегодня, и сказал, пригибаясь к его уху:

– Вам лучше теперь остаться одним. Идите за мною, я проведу вас в ложу отца. Он велел отворить ее для вас.

Князь Иван почувствовал, как его дама взяла его под руку, и они, окруженные говором суетившихся вокруг них новых доброжелателей, липких ко всякому, кого коснулась милость императрицы, пошли из фойе, миновали коридор, где посторонние отстали от них, и, наконец, очутились в полутемной, освещенной только рефlekсами горевших в зале ламп, глубокой ложе.

Такие дни, какой выпал сегодня на долю князя Косого, приходят раз в жизни человеку.

Сегодня ему пришлось испытать скуку и отчужденность толпы, не обращающей на него внимания, когда он только что приехал, затем узнать о приезде Соголевых. Это было радостно и вместе с тем несло волнение горя, потому что приезд Соголевых в Москву означал приближение свадьбы Сонюшки с Опол-

чининым, свадьбы, против которой он не умел еще принять никаких мер. На его глазах Сонюшка боролась, пыталась отстоять себя и исчезла, намекнув Ополчинину о том, что он раскается.

Теперь, войдя в пустую ложу с чужой, таинственной, но волей-неволей готовой стать ему близкой девушкой, князь жалел, зачем не дали ему найти его Сонюшку и зачем случилось все, что произошло после ее исчезновения. Что ж из того, что опутавшая было его ложь раскрыта теперь и он получил удовлетворение, даже награду? Эта «награда» – тут, возле него, в своем белом богатом платье и кружевной, закрывающей ее лицо, маске, но какво ему-то!.. Нет, лучше было бы, если бы ничего этого не было!

В довершение всего, к нравственному утомлению после только что пережитого присоединилась чисто физическая усталость. Нога от неловкого положения на деревяшке затекла и болезненно ныла.

Князь Иван, войдя в ложу, почти машинально стал отстегивать свою деревяшку с ноги, чтобы дать отдохнуть ей.

– Вы меня простите, – сказал он, – но эта деревяшка измучила меня.

Это были первые слова, с которыми он обратился к своей спутнице.

Принцесса в белом платье кивнула головой и ничего не сказала.

Косой принялся разнимать пряжки ремней и, освободив ногу, с удовольствием вытянул ее. В тесноте ложи иначе ему было не повернуться.

Думал он в это время о Сонюшке и мало-помалу подбирал себе успокоение. Не должна она была дойти до полного отчаяния, не могла она сделать это! Да и, наконец, тут, в маскараде, что она может? То, что произошло в зале фойе, было слишком открыто, чтобы сейчас же не стать вполне гласным. Об этом, вероятно, говорили уже, и слух мог долететь до Сонюшки, образумить ее. Теперь она могла отказать опозоренному Ополчинину. Вера Андреевна из одного дворянского самолюбия не захочет видеть за ним хотя бы даже нелюбимую свою дочь. Да, Сонюшка была свободна. Но он? Государыня думала наградить его, избрала ему невесту и обещала дать ей при-

даное!.. Как иногда зло смеется судьба!..

Князь поглядел на свою белую даму, и ему пришло в голову, что ведь она сама-то не виновата ни в чем. И ему стало жаль ее.

– Странно наше положение теперь!.. – сказал он, взглянув на нее.

Она не снимала своей маски, и князь Иван не имел права настаивать на этом – они были в маскараде. Но он хотел услышать ее голос.

– Отчего же это странно? – спросила она.

Говор ее был совершенно незнаком Косому, но он тут же подумал, что это был голос скорее грубый и резкий, даже неприятный. И резкость этого голоса отталкивающе подействовала на князя.

Кто она такая? Может быть, одна из фрейлин-любимиц государыни, жизнь которой она хочет устроить счастливо?

«Да, почти наверно так?» – решил князь Иван, но во всяком случае следует сказать ей все прямо, и лучше, что она не снимает маски: так и ему говорить удобнее.

– Наше положение странно потому, – сказал он, – что мы теперь вместе по воле государыни, но, собственно, по правде-то в нашем

положении не должно было бы быть чужой воли.

– Простите, говорите за себя! – ответил грубый голос из-под маски. – Ведь, может быть, мое желание вполне совпадает с волею императрицы...

Одна догадка за другою замелькали в воображении князя Ивана. Он не знал, кому, собственно, обязан тем, что государыня лично взялась за его дело. Он видел, что тут принимал участие Бестужев, но тот мог только действовать, главная же причина этого действия, направлявшая его, могла лежать в ком-нибудь другом.

– Может быть, и все случившееся в зале произошло не без вашего участия? – спросил он.

– Может быть!

– Значит, вы знали меня раньше, видели, говорили со мной?

– Я вас знала раньше, видела и говорила с вами.

Косой постарался вспомнить, с кем из приближенных к императрице девушек он был знаком. Но или он не помнил, или их встреча

была слишком мимолетна, чтобы он узнал ее. Он казалось, никогда не слышал ее голоса.

– Хорошо, – сказал он, – но, кроме воли императрицы и вашего желания, все-таки вам интересно знать и то, что касается меня в данном случае?

– Ну?

– Ну и я должен вам сказать, что мое желание не совпадает с волей императрицы и, значит, с вашим желанием.

– Это и смело, и откровенно... – начала было она.

– Да, может быть, смело... Что же касается откровенности, то во всяком случае она здесь приличнее всего.

– Но ведь вы меня не знаете; может быть, открой я лицо...

– Я вас не знаю, но знаю другую, которую люблю как только умею, как только могу!..

– Другую? Что же, она красива, умна?

– Она и красива, и умна, и мила.

– Но, может быть, я красивее ее?

– Простите! Для меня лучше ее никого не может быть.

– И вы не согласитесь ни на кого проме-

нять ее?

– Ни на кого на свете!

– Даже если такова воля государыни, если она обещает вам лучшую будущность, почет, богатство?

– Государыня может приказать мне умереть, и я пойду на смерть ради нее, но полюбить она не может заставить.

– Так что же – она богата, знатна?

– Нет, у нее ничего нет, но она тем дороже и милее для меня.

– Значит, вы от меня готовы отказаться?

– Я думаю, после того, что я сказал вам, вы сами откажетесь.

– Это все равно. Но, может быть, вы будете раскаиваться?

– Не знаю. Но только люблю не вас, а другую...

– Другую? Подумайте то, что вы говорите! Ведь вы же не знаете меня...

– Все равно, я скажу то же самое, когда я узнаю вас...

– Наверное?

– Наверное.

– Ну, говорите! – сказала она и сняла свою

маску.

Пред князем была Сонюшка в белом платье принцессы.

– Соня! – крикнул он. – Злая, милая!.. Что же это?.. Я... я не узнал тебя!.. Вот, значит, как измучили меня сегодня!.. Боже мой... тебя не узнал...

– Да ведь ты не меня любишь – другую...

– Тебя, моя радость, тебя одну!.. Но только зачем же ты так долго мучила меня здесь, зачем? Знаешь, ведь это было жестоко, слишком жестоко...

Теперь, когда он был на всей высоте своего достигнутого почти до безумия счастья, ему казалось жестокостью то, что сделала с ним Соня.

Она видела, что он в этот миг был искренне огорчен.

– Милый, – начала она, – ну, прости... слышишь? Прости! Ты подумай только, какое мне было счастье услышать все, что ты говорил! Я не сомневалась в тебе, нет, но если бы ты знал, как ты был мил в эту минуту, и как я слушала тебя и радовалась!.. Милый, я так рада теперь!

– Рада?.. Ну, я сам не знаю, что говорю! Я сам потерял голову... Но как же случилось все?.. Откуда это платье, откуда ты у императрицы? Ведь я видел тебя Сандрильоной!..

– Видел? Когда?

– Во время интермедии. Ты говорила с Ополчининым. Я узнал твой голос, ты не переменила его тогда, как теперь со мной.

– А хорошо я меняю его? Хорошо? – спросила Соня тем смешным теперь говором, которым объяснялась с князем Иваном под маской. – Так ты слышал наш разговор?

– Я стоял почти сзади вас у двери, у занавески...

– Ну и видишь, что Сандрильона стала принцессой, как в сказке. Я хотела убедить Ополчинина сознаться заранее, чтобы он избежал позора, который перенес потом в зале; я знала, что это будет, знала, что ты возьмешь верх... Но как ты поймал его?

– Знала?.. Вот оно что! А я было думал...

– Что ты думал?

– Нет, ничего. Значит, это все было приготовлено заранее? Но кем, кто же сделал все это?

– Бестужев.

– Бестужев? Откуда же он узнал про тебя? Ведь я ничего не говорил ему.

– Ну, об этом я после расскажу, – все равно, как узнал. Только знаешь, наши письма, которые ты получал от меня в вашей почте, – это тоже он. Он мне велел дать ему знать, когда мы приедем в Москву, а сегодня я здесь тоже благодаря ему, хотя маменька и думает, что привезла меня сюда насильно. Меня нашли по костюму и по заранее условленному знаку и представили императрице пред вашим приходом в зал, еще Сандрильоной, а затем она послала меня переодеться в уборную, где был готов уже этот костюм.

Глава четвертая. Не все еще кончено

I

Игнат Степанович Чиликин сидел со своим товарищем по делам, дворянином Пшелуцким, в маленькой, низенькой комнате, еще старинной постройки, но убранной с претензией на некоторое новшество.

Этот Пшелуцкий был найден им как подставное лицо для того, чтобы приобрести пока на его имя имение князя Косого, которым

сам он владеть не имел права. Дворянское происхождение Пшелуцкого было польское и довольно сомнительное, но его оказалось все-таки достаточно.

Чиликин отыскал Пшелуцкого, состоявшего приживальщиком в одном из богатых московских домов, устроил на него имение, оградил себя тройными долговыми обязательствами, взял полную доверенность и держал Пшелуцкого в черном, до некоторой степени, теле, вовсе не посвящая его в дела и заставляя, когда было нужно, подписывать все, что требовалось. Даже и паспорт Пшелуцкого был у него.

Они сидели у не накрытого скатертью стола, на котором в беспорядке стояли бутылки с наливкой и водкой, лежали хлеб без тарелки, соленые огурцы и закуска. Они уже давно пили, и оба были пьяны.

– И никогда, никогда не быть тебе дворянину! – говорил, поддразнивая, Пшелуцкий хриплым голосом. – Никогда не поверю, чтоб ты был дворянин...

Чиликин смеялся в ответ и повторял:

– Ан буду!.. на все пойду, а дворянином бу-

ду. Ты думаешь, я даром жил в Петербурге почти всю зиму? Там уже почти налажено, обещано. Да и как я там жил! Окончательно на дворянскую ногу, в каком доме – ты бы посмотрел!..

– Видал я дома... я самого графа Шереметева дом видел... – похвастал Пшелуцкий.

– И все ты врешь, и передней у Шереметева не видел... а я жил в доме, в Петербурге, и опять туда поеду, вот получу дворянина и поеду.

– И никогда не получишь. Ведь это совсем ничему не подобно. Обещают тебе, вот и все... так обещают, чтобы деньги тянуть. Знаю я этих подьячих, знаю – все тянут, у самого деньги бывали. Через них я совсем пропал...

– Ты пропал через себя, – наставительно заметил Чиликин, – только через себя. Воли настоящей в тебе нет и са-мо-о-бладания, – он с трудом произнес это слово. – Пьешь ты, людей не разбираешь...

– А ты не пьешь?

– Так ведь когда я пью? Я пью, когда это сама судьба так повелевает... Вот хоть сегодня. Почему я пью? Ты думаешь – так, потому что

водку купил и наливку достал? Так ведь почему я купил водку и наливку достал?.. Ведь этому есть резоны...

– Резоны? – повторил Пшелуцкий и облокотился на стол для поддержания равновесия.

– Ну да, резоны. Сегодня я новость узнал удивительную... Свидетельство фортуны, что она на моей стороне!.. Впрочем, как же!.. Так я и рассказал тебе, в чем дело, – сказал вдруг Чиликин, стукнув о стол только что опорожненным стаканчиком, точно Пшелуцкий и вправду просил его рассказывать. – А впрочем, – продолжал он сейчас же, отвечая сам себе, – отчего же не рассказать?.. Хочу и расскажу... Ты думаешь, для тебя расскажу? Во-все не для тебя, а просто вот хочу так... таково мое желание...

– Фантазия! – опять вздохнул Пшелуцкий, видимо, улавливая отдельные только слова из того, что ему говорили.

– Ну да, фантазия... Знаешь ли ты, зачем мне нужно дворянство? Ты думаешь, чтобы тебя выгнать? Во-все нет. Может быть, я тебя все равно не выгоню, а оставлю – живи при мне. Нет, тут со-о-ображения великие... тут

уж не тобой пахнет... Я получу дворянство и женюсь... да, женюсь, и на такой кралечке, что ты и не видывал такой! Розанчик... да что розанчик... Ты, брат, и понятия иметь не можешь... Пей, проше пане, пей!..

Пшелуцкий поискал рукой на столе стакан, нашел его и выпил.

– Ты за ее здоровье пей, – подхватил опять Чиликин, – потому ты возле нее от меня приставлен будешь... Ведь я ее еще деточкой, деточкой знал... вот такую, и теперь она – скромнушка, тихонькая... Я всю подноготную знаю... И вот эту дворяночку я за себя возьму, маленькую-то... Она, дрянь этакая, будет должна этак ко мне, как мужу-то, головку на плечо, а я ей: «Душенька, на вот тебе, на!» – и этак за талию рукою, а тальица-то словно ниточка тоненькая. Кровь-то дворянская, белая косточка... И знаю, что я противен буду, а все-таки с противным-то ласковой будь, а не то пожалуйте и на расправу – этак легонько плеточкой, плеточкой, по-старинному: «Ах, ты, миленькая, ах, ты маленькая, вот тебе, вот... почувствуй, как мужа уважать должна!» Да, должна... Вот ты и понимай это!.. Только бы-

ли препятствия мне большие, то есть одно препятствие было. Да разве я их в жизни не пережил? мало ли я их пережил, и всегда победа до сих пор была на моей стороне!.. И вот теперь, я вижу, судьба опять делает ко мне шаг победный...

– Ви... вик-ториальный, – сделал усилие выговорить Пшелуцкий.

– Ну да – викториальный... Да какой еще шаг!.. Она, видишь ли, была просватана по приказанию самой императрицы за одного, против которого я ничего-то не мог сделать. Уж я ладил и так, и этак, и другого, соперника его, пробовал натравлять на него – ничего не взяло. Я думал, все пропадет. Бедненькие они, деньжонок-то нет, именьице маленькое, – возле Дубовых Горок оно; мать-то ее бьется, как рыба об лед, у меня просит денег на приданое и согласна на какие угодно условия... Ну, вот я приезжаю о деньгах-то говорить, а она мне сегодня: «Вы, – говорит, – знаете, что вчера на маскараде случилось?» – и рассказала... да так это мне словно елей на душу потек... Жених-то ее потерпел срам, срам он потерпел, понимаешь ли, срам.

– Конфуз! – вдруг снова неожиданно и, видимо, серьезно вставил Пшелуцкий.

– Ну да, конфуз... И посрамленный, он исчез с кругозора, а на место его – соперник этот самый восторжествовал... Ну, этот соперник-то у меня в руках... Мы с ним давно счета имеем, и сам рок как бы его ко мне направляет, судьба... Такое, видно, предопределение, что я – карающий перст для него. С ним мы справимся живо – на три тысячи есть обязательств у меня на него, бесспорных, точных, а платить ему нечем. Я его и посажу, и посажу и сгною в заключении. Говорят, там императрица ей, невесте-то дворяночке, которую я себе избрал, в приданое деревню дает. Ну, да жалует царь, но не жалует псарь, – посмотрим еще, как она это именье-то получит... Мы это дело по местам затянем, а пока бесспорные-то и представим куда нужно, и представим, и выйдет, что она останется кругом опозорена – один жених сраму пред всем светом натерпелся, а другой сидит за долги, в заключение за долги посажен... вот тебе и весь сказ! – Так ведь с этого самого не только она за Игната Чиликина пойдет, да еще при всей

их бедности-то, а за тебя, пан, готова будет идти и этак, ротиком-то своим малюсеньким скажет: «Согласна». Нелюбимая ведь дочь-то она у матери. Ну, так вот отчего я пью: выходит теперь, что дворяночка – моя, и я женюсь на ней...

– Ты пженнишся? – вдруг подымая отяжелевшие веки и глядя на Чиликина совсем оловевшими глазами, с трудом выговорил Пшелуцкий.

– Да, – подтвердил Игнат Степанович, не замечая, что его собутыльник ничего не слышал из его многословного рассказа и не понял.

– На ком? – спросил опять Пшелуцкий.

– На дворяночке.

– Ты женишься на дворяночке? – удивился Пшелуцкий, теперь только поняв, в чем дело. – Врешь, не бывать этому! Нет такой дворяночки, не найдется...

– Найдется, душенька, найдется!.. Дворяночка тоненькая.. и будет моею – не будь я Игнат Чиликин... Я знаю, что говорю, и знаю, что делаю. Я все наверняка... делаю... сгною в заключении... сгною...

И долго они еще говорили друг другу пья-

ные, бессвязные речи, пока наконец тут же не заснули за столом, склонив на него головы.

II

Князь Иван Косой был на верху блаженства и счастья. На другой день после маскарада он явился уже официально к Вере Андреевне, и она должна была принять его соответствующим образом. История, происшедшая во время маскарада, стала, разумеется, новостью дня и повторялась из уст в уста по всей Москве, и Вера Андреевна должна была сознаться, что самолюбие ее было польщено в высшей степени.

Она приглядывалась к Сонюшке, желая заметить на ней хоть каплю перемены по отношению к себе, но та была по-прежнему почитательна, внимательна к ней и даже более чем прежде, так что и придраться нельзя было ни к чему. Кроме того, они были теперь не у себя, а гостили в чужом доме, у Сысоевых, и поэтому Соголева должна была держать себя под уздцы.

У Сысоевых была тоже семейная радость. Молодой Творожников сделал во время того же маскарада предложение Наденьке Рябчич,

так что у них были теперь две счастливые, влюбленные пары.

Однако счастливее всех казался двоюродный брат Рябчич. Он так искренне и весело поздравлял женихов, хотел услужить им и делал радость невест, что просто любо было смотреть на него.

Князь Иван вспоминал о Левушке, которого сильно недоставало ему. Он давно писал ему в Петербург, но ответа не получил.

С Бестужевым у него были самые лучшие, искренние отношения. Алексей Петрович после маскарада прямо сказал ему, что любовался его находчивостью и тем, как он держал себя пред государыней, и очень рад, что не ошибся в нем.

Через несколько дней, вечером, вице-канцлер послал за Косым, только что вернувшимся от Сысовых, где бывал теперь каждый день. Князь поднялся наверх, как свой человек, прямо в кабинет к Алексею Петровичу.

– Ну что, совсем потеряли голову от счастья? – встретил его тот и ласково улыбнулся. – Или еще можете и делом заняться?

Действительно, бумаги, которые ждал от

него на сегодня Бестужев, были все готовы до одной, и князь Иван держал их в руках.

– У меня все сделано, – сказал он.

– Ну и отлично! К сожалению, я вам не могу дать отдых теперь – как раз самое горячее время. Вы знаете. Нолькен непременно хочет, чтобы в переговорах с ним принимал участие Шетарди. С какой стати?.. Мало того, он требует французского посредничества. Я очень рад.

– Как? Вы согласны допустить это посредничество? – переспросил Косой. – Но ведь ясно, что Франция всецело будет на стороне Швеции.

– Нет, я рад тому, что их требования растут мало-помалу. Чем больше они будут требовать, тем меньше получают, и тем скорее государыня увидит, в чем тут дело.

– А они надеются достигнуть чего-нибудь?

– А вот сейчас увидим, какие у них там новости, – сказал Бестужев и позвонил. – Проси войти, – приказал он появившемуся на его звонок лакею.

Тот ушел. Через несколько времени дверь снова отворилась, и в комнату, низко кланяясь, скользнул знакомый князю Ивану чело-

век.

– Узнаете? – спросил Бестужев.

Это был Дрю; Косой сейчас же узнал его.

– Ну что скажете? – обернулся Алексей Петрович к французу.

Тот поклонился еще раз ему, а затем в сторону Косого, показывая тем, что в свою очередь узнал его, и проговорил, понизив голос:

– Могу я делать свои сообщения при князе?

– Можете вполне.

– В таком случае, у меня есть весьма важные новости. Сегодня утром господин лейб-медик приехал к господину послу, и они долго разговаривали в кабинете наедине.

– Слышали вы их разговор?

– Разумеется, каждое слово. Я, по обыкновению, приклеил мое ухо к дверям из маленькой гостиной.

– Нолькен был с ними?

– Нет, они одни.

– Что же они говорили?

– Разговор шел о вас. Господин лейб-медик прямо начал с того, что вы как вице-канцлер не допускаете, чтобы в переговорах со шведским послом участвовал господин Шетарди.

Тогда господин Шетарди ответил: «Вот видите ли, я вам говорил, что пока мы во что бы то ни стало не отделаемся от него, у нас руки будут связаны».

– Я надеюсь! – вставил Бестужев. – Ну и что же сказал на это Лесток?

– Он сказал, что дело почти устроено, что месяца не пройдет, как вас уже не будет.

Князь Иван пристально следил за выражением лица Бестужева. В эту минуту оно было спокойнее, чем когда-нибудь.

– Ну они слишком решительны и скоры, – улыбнулся Алексей Петрович.

– Однако я обязан доложить вам, – заговорил Дрю, видимо, очень довольный тем, что может разговаривать так свободно с самим вице-канцлером, и тем, в особенности, что, будучи замешан в таинственную интригу, может «делать политику», – по-моему, вам, господин вице-канцлер, следует быть осторожным. План их очень опасен.

– А! – воскликнул Бестужев. – В чем же тут дело?

– В брауншвейгской фамилии. Господин Лесток прямо сказал, что господин вице-канц-

лер наводит на себя подозрение тем, что усиленно настаивает на отъезде брауншвейгской фамилии из Риги за границу. Хотя это и обещано в манифесте, но поступлено в данном случае опрометчиво, без достаточного обдумания дела. В настоящее время никто, желающий добра государыне, не посоветует этого. Бывшую правительницу выпустить из России нельзя. Россия – все-таки Россия, и так как это – не последнее обещание, которое не исполняется, то императрице все равно, что об этом будут говорить в обществе! [5]

– Хороши? – спросил только Бестужев, обернувшись к Косому.

Князь Иван пожал плечами.

– Так что же, – спросил Алексей Петрович у Дрю, – они считают достаточным для моего удаления то, что я настаиваю на исполнении данного в манифесте обещания?

– Нет, они хитрее этого. Они говорят, что господин вице-канцлер получает субсидию от венского двора и потому держит его сторону.

– Я это знаю, – сказал Бестужев.

– Но что вам трудно бороться против теперешних течений, которые идут в пользу

Франции, и что поэтому вы готовы поддержать возвращение брауншвейгской фамилии, которая предана интересам России.

– Новая клевета! – вырвалось у Бестужева. – Господи, что делают эти люди!

Князь Иван, чувствуя всю важность того, что сообщал болтливый француз, слушал серьезно и внимательно, удивляясь, что Бестужев, наоборот, становился как бы рассеянное и беззаботнее.

– Да, – подтвердил Дрю, – и клевета не только на словах, но и на деле. Затеяны целые тенета, в которые хотят поймать вас. В Ригу господином лейб-медиком послан специальный человек с письмами.

– К бывшей правительнице?

– Да, кажется. И эти письма якобы от вас... они будут переданы от вашего имени правительнице, и если та ответит на них, то это уже будут подлинные ее письма, которые и будут представлены императрице. Они считают, что трех недель будет достаточно для всего этого. Императрица же будет подготовлена, как нужно...

Бестужев задумался. Дрю молча ждал.

III

– Икто же этот посланный? – спросил наконец Алексей Петрович.

– Фамилию я не мог расслышать, да и господин Лесток, кажется, не называл ее. Он сказал только, что это – человек, который заинтересован в вашем падении и которому ничего не остается выбирать. Он решится на все.

– Вы говорите, что он уже «послан»? Значит, уже уехал?

– Сегодня вечером, по петербургскому тракту... Так сказал господин лейб-медик, что он уедет сегодня...

– И что это за пустяки все! – вдруг рассмеялся Бестужев. – Детские игрушки!.. Ну, и пусть его едет! Но, во всяком случае, я очень благодарен вам за сообщение, хотя вовсе не считаю его столь важным – право, это – пустяки, и я уверен, что господин лейб-медик ничего этого не сделает...

– Как? Господин вице-канцлер не хочет принять никаких мер?.. – удивился Дрю.

– Решительно никаких, – снова рассмеялся Бестужев, – но вот вам за старание... это особо, сверх обыкновенной платы, – и он, достав

из стола горсть золотых, протянул ее француз-
зу.

– О, помилуйте, я вовсе не из-за денег! –
подхватил тот. – Я всегда стою за правду... я
рад, что могу спасти Россию. – Но, несмотря
на эту торжественную фразу, Дрю все-таки
сделал несколько поспешных шагов к Бесту-
жеву и взял от него золотые. – Все-таки я сде-
лал вам важное сообщение, – проговорил он,
уходя и кланяясь.

Когда он вышел, Бестужев поднялся, подо-
шел к дверям, послушал и снова вернулся к
столу.

– Откуда он явился у вас? – спросил Косой,
желая узнать, как намерен поступить Бесту-
жев, и не решаясь спросить об этом прямо.

– Благодаря вам, – сказал тот. – Вы как-то в
разговоре упомянули мне, что ваш бывший
камердинер служит у Шетарди, а у меня не
было никого, чтобы следить за французским
послом. Я попробовал вызвать к себе Дрю,
якобы для того, чтобы узнать у него сведения
о вас. Он пришел и оказался достаточно болт-
лив. Я заплатил ему. На следующий раз он
явился сам. Так дело и пошло.

– И он до сих пор делал верные сообщения?

– До сих пор, безусловно, верные.

– Значит, и то, что он рассказал сейчас, тоже верно? Да? Так как же вы не хотите принять никаких мер? Неужели вы хотите оставить это так?

Бестужев покачал головою, а затем ответил:

– Да ведь это я для него говорил; ведь если он за деньги рассказывает мне, что делается у Шетарди, то никто не может поручиться, что он за те же деньги не продаст меня в свою очередь и не станет рассказывать обо мне. Конечно, я не должен был показать ему вида, что придаю значение его рассказу, ну, а вам я скажу другое: надо действовать.

Князь Иван вздохнул свободнее.

– И чем скорее, тем лучше, – проговорил он. – Время терять нельзя.

Бестужев стал ходить по кабинету, что служило у него признаком некоторого волнения.

– Как вы думаете, кто этот человек, который решился поехать в Ригу? – спросил вице-канцлер.

«Мало ли кто!» – хотел ответить Косой, но тут же одумался, вспомнив, что с таким поручением, пожалуй, действительно мало кто согласится поехать.

– Человек, которому терять нечего и который, может быть, сам заинтересован в этом деле, – начал соображать он вслух, припоминая слова француза. – Уж не Ополчинин ли?

– По всей вероятности, он, – подтвердил Бестужев, – недаром он давно привык служить Лестоку, но дело не в этом. Нужно принять меры против самой цели его поездки... Положим, что уже половина беды миновала – хорошо, что мы предупреждены...

– В крайнем случае – можно прямо сказать государыне... – начал было Косой.

– Государыне ничего говорить нельзя. Единственно, к чему она относится с беспокойством, – к брауншвейгской фамилии. Тут легче всего потерять ее доверие. Их расчет хитрее даже, чем вы думаете. Самое лучшее было бы остановить их посланного, но когда, как? Послать за ним по приказанию? Пока еще сделают распоряжение, пока пошлют, а он уже в дороге...

– Нет, официально и думать нечего посылать, – сказал Косой, – все равно ничего не выйдет... Нужно просто поехать, догнать его и так или иначе отобрать эти письма...

– Кто же поедет?

– Я поеду, – ответил князь Иван и так решительно, что Бестужев остановился и оглянулся на него.

– Как же вы поедете, один?

– Мне никого не нужно. Я сейчас велю оседлать две лошади для меня и для человека, и мы поедем. И я даю вам слово, что письма будут взяты и привезены вам...

Бестужев в это время подошел близко к нему и, видимо, любуясь его горячностью и тем рвением, с которым князь Иван желал услужить ему, положил ему руку на плечо.

– Все это хорошо, – сказал он, – но вы можете не догнать его.

– Не думаю. Он поехал, вероятно, на переменных, в бричке. Дороги теперь слишком тяжелы для того, чтобы он мог уехать далеко до ночи, а ночью, несмотря на то, что и месяц теперь светит, ни один ямщик не повезет. Вернее всего, что я его застаю на первой же стан-

ции спящим... Я на это безусловно надеюсь...
А раз я его догоню только...

– Ну-ну, – сделал нетерпеливое движение Бестужев, – а когда догоните, тогда что?

– Тогда – не знаю... Это будет смотря по обстоятельствам, как Бог поможет...

Во всяком случае, Бестужев видел, что Косой не говорит зря, что у него создан уже более или менее обдуманый в голове план.

Он отошел от него и опять заходил по кабинету...

– Как ни не хочется, – сказал он наконец, – но надо решиться на это. Что ж – в самом деле поезжайте, попробуйте... может быть, и удастся что-нибудь...

Князь Иван только и ждал этого разрешения.

– Можно велеть седлать? – спросил он, взявшись за звонок.

На звонок этот сейчас же явился один из лакеев.

– Велите седлать Красавчика и Ярога, – приказал Бестужев, – князю нужно ехать сейчас...

Он знал, что Красавчик был любимой ло-

шадью Косого.

– Деньги у вас есть? – спросил он у князя Ивана.

– Есть.

– А в чем же вы поедете – так, как вы есть?

– Нет, я переоденусь.

– Погодите, – остановил его Бестужев и, подойдя к столу со склянками, выбрал две из них, – возьмите это с собой тоже на всякий случай. В одной сонные капли, в другой – эфир, понюхать каждый достаточно, чтобы заснуть... Может быть, это пригодится вам...

Через полчаса князь Иван вместе с взятым им из Петербурга Степушкой выезжал из ворот бестужевского дома, направляясь к петербургскому тракту.

IV

«Догонит или не догонит он?» – вот что во все время дороги билось неустанно у князя Ивана. Он боялся послать слишком лошадь вперед, не зная, какое расстояние ей придется пройти сегодня... Теперь уже он знал наверное, что будет иметь дело с Ополчининым.

По дороге, по Москве ему пришлось проехать мимо помещения казарм, где должен

был жить Ополчинин. Князь Иван решил узнать, тут ли он. Это было легко сделать – стоило только послать Степушку, якобы тот пришел с поручением от кого-нибудь, и тогда ему должны сказать, тут Ополчинин или нет.

Косой так и сделал.

Он остался ждать с лошадьми в одном из тупиков. Степушка ходил довольно долго, но зато, вернувшись, принес вполне точные сведения, что Ополчинин уехал сегодня в Ригу по петербургскому тракту. Теперь не было сомнения – Косому приходилось догонять именно Ополчинина.

Но хорошо, если он захватит его на первой станции, и расчет его окажется верен – тогда он еще ночью может вернуться домой, и ночью удобнее будет справить ему свое дело. Но что, если случится ему догнать Ополчинина только завтра днем? Как поступить тогда? Ополчинин узнает его непременно и, весьма вероятно, догадается, что неспроста поехал князь Иван по одной дороге с ним.

И Косой торопился поскорей доехать до станции и вместе с тем боялся приехать туда слишком рано. Самое лучшее было бы по-

пасть на станцию в то время, когда Ополчинин был бы уже там, лег бы и заснул. Впрочем, это казалось единственным выходом; при всяком другом стечении обстоятельств дело вернее всего было бы проиграно. И князь Иван старался перебирать все возможные случаи, но ничего не мог подобрать более подходящего.

И только вот что он давно успел наблюдать: чем больше обдумаешь и взвесишь какой-нибудь план, чем подробнее выяснишь его себе и чем безошибочнее кажется он, тем реже осуществляется он на самом деле. И, напротив, если только чувствуешь в себе уверенность, что все устроится, и лишь в общих чертах наметишь себе, как поступать, но главное поступать с уверенностью, без лишнего многословия – тут-то и выйдет удача, и с той стороны, с которой менее всего приходилось ждать ее.

Теперь князь Иван, безотчетно радуясь этому, чувствовал именно твердую уверенность в удаче и ехал в сопровождении Степушки, прислушиваясь и к тому, что происходило в его душе, и к окружающей его истоме

майской ночи.

Ночь была хороша и звала к неге и покою своим пахучим весенним опьяняющим воздухом. А в душе князя Ивана была именно нега и покой счастливого влюбленного и любимого человека. Он ехал как будто не по неприятному, до некоторой степени рискованному и, пожалуй, едва выполнимому делу, а так, ради прогулки, чтобы подышать свежим воздухом майской ночи. И ему дышалось легко.

В общих чертах он сказал Степушке, в чем дело, то есть что они едут доставать у «доносчика» (так он сказал для простоты) письма, чтобы лишить его их.

Ехать было светло. Месяц то и дело выглядывал полным своим кругом из-за набегавших на него прозрачных облачков. В лесу передирались соловьи, местами фыркали выгнанные в ночное лошади со спутанными передними ногами.

Дорога была пустынна и грязна. Князь Иван со Степушкой миновали уже две сонные деревни, разбудив собак, бросившихся на них с лаем.

– Кажется, это – станция, – проговорил Ко-

сой, показав на видневшуюся пред ними темными пятнами деревню, не столько узнавая местность, сколько чувствуя по времени, что они должны подъехать к станции, и, придерживав лошадь, спросил: – Что же теперь делать?

Степушка тоже остановился и смотрел на Косого с полным выражением готовности повиноваться ему, но вместе с тем выражая полную неспособность придумать что-нибудь самостоятельное.

Все равно так или иначе нужно было ехать к станционному дому, стоявшему отдельно у околицы и отличавшемся более опрятным видом, чем остальные избушки деревни.

«Может быть, у ворот кто-нибудь есть», – подумал Косой и направился к станционному зданию.

Но этот дом, погруженный в тишину, казался безмолвным, и даже когда Степушка постучался кольцом калитки, не раздалось собачьего лая со стороны двора.

– Ишь, точно вымерли все! – сказал Степушка и постучал сильнее.

– Тише ты! – хотел остановить его князь Иван, но тот в это время с силой ударил коль-

цом.

За калиткой послышались шаги по деревянному настилу, потом скрип ржавого замка, и она отворилась. Сонный мужик-ямщик отпер ее и высунул голову.

– Чего вам? чего полуночничаете? – спросил он больше для порядка, чем на самом деле сердитым голосом. – Лошадей, што ли?

– Ты поди сюда! – крикнул ему не слезавший с лошади Косой. – Ну, живо!..

Ямщик совсем проснулся от окрика и, узнав в проезжем одного из тех богатых господ, не послушаться которых не совсем удобно, быстро подошел к его лошади.

– Переночевать у вас можно тут? – спросил Косой.

Ему важно было знать, занята или не занята комната для проезжих.

– Переночевать? – протянул ямщик. – А вы откуда будете?

– Я тебя спрашиваю, можно ли тут переночевать? – повторил Косой.

– Переночевать можно.

– Комната не занята?

– Слободна.

– Значит, у вас и ночью ездят здесь теперь?

– То есть оно ездят... а лошадей только нет...

– Что же, недавно проехал кто-нибудь, последних взял? – продолжал спрашивать Косой, желая окольным путем выяснить себе то, что ему было нужно.

– Нет, никто не брал, а в разгоне все; вон и кульер спит, дожидается...

– Какой курьер, где? Как же ты говоришь, что комната свободна? – встрепенулся весь Косой.

– Так он в сенном сарае спит, на сене; приехал тут, ругался, ругался – ничего не сделал – спать пошел!..

– Офицер?

– А кто его знает? Видно – чиновный, только не в солдатской одеже.

– Молодой?

– Молодой.

– С черными усами?

– Как будто так.

– Ну, веди меня тоже в сарай!

– А с вашими лошадьми как же? – спросил ямщик.

– Пусть на дворе постоят. Мой малый посмотрит за ними.

Князь Иван соскочил с лошади, достал медный пятак и сунул ямщику. Тот ловко принял этот пятак и сделался после него совершенно уже расторопен. Он быстро раскрыв ворота, хорошо смазанные в петлях и не закрипевшие, впустил Степушку с лошадьми и повел князя в сарай.

Тут только Косой ощутил некоторое волнение. Он шепотом приказал Степушке не расседлывать лошадей и ждать его. Во всяком случае, им нужно было сейчас же уехать – был ли этот курьер Ополчинин или другой кто-нибудь. Если это Ополчинин, он захватит его сумку, и им нужно будет возвращаться назад, а не то ехать вперед, дальше.

В сенном сарае было почти темно, но в этой темноте Косой сейчас же разглядел спавшего с поджатой одной ногой в сапоге человека. Он дышал ровно, слегка присвистывая.

Князь Иван тихо попробовал тоже улечься. Лицо спавшего он не мог рассмотреть: оно было обращено в другую от него сторону. Он попытался по фигуре узнать в спавшем Опол-

чина. Фигура была как будто похожа на него.

Заползти с другой стороны казалось неудобно.

Тогда князь Иван решил поступить следующим образом: приблизиться, насколько было возможно, и дать ему понюхать эфиру. Тогда он мог не опасаться, что будет остановлен. Бестужев прямо сказал, что эфир действует сильно, хотя никаких последствий не оставляет и совершенно безвреден. Действие этого эфира Бестужев раньше как-то объяснял ему.

И Косой чуть заметно сам для себя начал придвигаться с замиранием сердца, следя за тем, чтобы человек не проснулся. Но тот лежал все по-прежнему, вытянув ногу и поджав другую, и по-прежнему дышал ровно, с при-свистыванием.

У Косого был уже в руках флакончик с эфиром наготове; вот он подполз совсем близко; оставалось только перенести руку и дать понюхать эфир. Князь открыл стеклянную трубочку и, не дыша и инстинктивно рассчитывая свои движения, начал тихонько поводить флакончиком у носа спавшего, лицо которого

он все еще не мог разглядеть, потому что для этого ему нужно было подняться. Так, сзади, он дал спящему дышать некоторое время эфиром и, когда наконец услышал дыхание, еще более ровное, отнял руку с флаконом, закрыл его и попробовал двинуть спавшего за плечо. Тот продолжал дышать все так же ровным дыханием глубокого сна. Князь Иван толкнул его еще раз. Человек спал.

Тогда князь Иван, не меняя положения, ощупал рукой есть ли у него на груди замшевая сумка, в которых возились обыкновенно секретные письма. Он расстегнул спящему камзол, засунул под него руку и невольно остановился: сумка была в его руке.

Князь Иван помнил потом, как в эту минуту каждый звук, каждое движение были слышны ему. Он отчетливо различал и бие-ние своего сердца, и тихое шуршание сена, и то, как чмокнула ногами лошадь, переставив их в грязи на дворе, и, главное, различал беспрерывное дыхание спавшего. Он уже, не разбирая ничего, отрезал сумку и, сунув ее в карман, поспешными, быстрыми шагами кинулся вон из сарая.

Степушка ждал его на дворе с нерасседланными лошадьми.

Они тихо отворили ворота, вывели лошадей, вскочили на них и, что было духа, помчались назад к Москве, не заботясь теперь о силах Красавчика и Ярого, зная, что они донесут их не более как в полтора часа времени до Москвы.

И в самом деле, в третьем часу ночи они уже подъезжали к дому Бестужева, где в окнах кабинета Алексея Петровича виднелся еще свет. Он не ложился спать.

Князь Иван соскочил с седла и уверенно стал стучать в большие двери парадного подъезда. Через несколько минут дежурный лакей, спавший одетым в сенях, встретил их со свечою в руке, и князь Иван, как был забрызганный грязью и в высоких дорожных сапогах, поднялся наверх к Бестужеву, знакомой дорогой прямо к нему в кабинет. Остановился у двери и постучал.

– Войдите! – послышался голос Бестужева.

Алексей Петрович сидел у своего стола с ретортами и при свете сильной, с рефлектором, лампы, смотрел на кипевшую пред ним

в металлическом кубе жидкость, пахнувшую спиртными парами, когда вошел князь Иван.

– Как? Уже вернулись? – спросил он. – Скоро. Не ждал я вас так рано. Что же, неужели удачно?

Князь Иван держал в руках заветную сумку.

– Сейчас, – сказал Бестужев, погодите, не могу отойти! – и он снова стал смотреть в кипящий куб, изредка помешивая в нем.

Потом он, не торопясь, слил жидкость в реторту, поставил ее вместо куба на спиртовую лампу и, поместив ее в должное положение, тогда только обернулся к князю Ивану.

– Ну, благодарю вас, давайте! – сказал он, весело улыбнувшись. – Молодцом сработали.

Князю Косому самому было весело. И как ведь это все просто произошло! Давно ли, кажется, он был в этом же кабинете, собираясь только уезжать, и вот теперь все уже сделано и все уже готово, и он может отдать письма Бестужеву.

Алексей Петрович взял у него сумку, подошел к письменному столу и раскрыл ее. Но с первого же письма, адрес которого он прочел,

глаза его раскрылись широко, и он стал быстро перебирать остальные, выбрасывая их на стол.

– Это – не то! – проговорил он наконец. – Вы знаете, что вы мне привезли тут?

Но в это время внизу, где было помещение князя Ивана, раздались шум, треск, что-то непонятное, необъяснимое, заставившее вздрогнуть князя Ивана и Бестужева, вдруг склонившего голову и прислушавшегося.

Глава пятая. Шведские дела

I

Трудно было Ополчинину выстоять и выдержать допрос государыни во время маскарада, но еще труднее было пережить ему то, что последовало затем.

Он был самолюбив, завистлив и от природы злобен, а тут как раз было где разыгаться именно уязвленному самолюбию, зависти и поднявшейся вследствие их злобе. Сначала, когда он встал с колен и опомнился от своей растерянности, под влиянием которой, как думал он потом, он произнес отчаянное, позорное слово «виновен», он как будто не поверил в то, что случилось. Но доказательства

явились сейчас же. С мнительностью болезненного самолюбия он во всех окружающих сейчас же по их взглядам, улыбкам и двум-трем долетевшим до него словам увидел своих смертельных врагов, которым он тут же решил отомстить, отомстить за то, что они были свидетелями происшедшего с ним.

Но, конечно, они были ничто в сравнении с тем, кто теперь составлял их центр, а вместе с тем и главный предмет злобы и ненависти самого Ополчинина, — с князем Косым, который казался ему низким и гадким интриганом, безжалостно и недостойно поступившим с ним.

Он стоял тогда у окна, не зная, куда глядеть и куда идти, сознавая только одно, что не пропустит этого даром князю Ивану. И вдруг подошедший Лесток как бы пробудил его и вернул вновь к действительности.

Он на другой же день, как было сказано, отправился в назначенный час к лейб-медику, и они условились. Ополчинин должен был ехать через несколько дней в Ригу с поручением, которое было способно погубить самого Бестужева.

Лесток еще в маскараде сказал Ополчнину, что если тот способен будет выполнить свое поручение, он может рассчитывать на то, что его дело примет иной, совершенно новый оборот. В самом деле, расчет, заключавшийся в этих словах, мог быть верен. Холодно обсудив происшедшее, Ополчинин понял, что главной двигательной силой был тут Бестужев. Потеряй только вице-канцлер доверие государыни – будут уничтожены и его «клеветы». (Так он мысленно называл князя Ивана.)

Ополчинин с наслаждением взялся способствовать падению Бестужева и готов был, как и выразился он Лестоку, на всякую «хитрость».

Решено было, что он после нужных приготовлений выедет немедленно. Эти несколько дней ожидания он провел один-одинешенек. Товарищи как-то вдруг изменили свои отношения к нему и молча обходили его. Кажется, собирався их суд над ним.

В это время отчужденности, одиночества злоба Ополчинина далеко ушла вперед. Он вполне сознавал, что план, избранный Лесто-

ком для своих целей, очень хорош и может достичь результата, но ему, Ополчинину, этого казалось уже мало. Бестужев Бестужевым, а он хотел свести свои счета непосредственно с князем Косым, и свести так, чтобы они были покончены раз и навсегда.

Мало-помалу все ушло у него на второй план, и остался один только Косой, счастливый, довольный и наслаждающийся своим счастьем.

Ополчинин посылал к Соголевым узнать, что там у них, и получил известие, что Сонюшка самой императрицей назначена теперь в жены Косому. А Сонюшку он привык уже считать своею и был так уверен в этом, что твердо высказывал свою уверенность тогда ей в маскараде же, почти пред тем, как его нашли и позвали в зал, и в фойе. Он еще хотел «ускорить» свадьбу.

«Вот и ускорил, и ускорил! – злобно повторял Ополчинин, сам себя дразня и растрavляя. – Нечего сказать, хорош!»

И от себя он мысленно переносился то в квартиру Сысоевых, где на его месте, возле молчаливой с ним и, вероятно, радостной те-

перь Сонюшки, был торжествующий и счастливый Косой, то в дом Бестужева, в помещение князя Ивана, где тот, пока он, Ополчинин, сидит тут у себя и не знает, что ему делать с собой, ходит и мечтает о своем счастье.

Он бывал прежде в доме Бестужева и знал, где теперь, помещался князь Иван – внизу, направо с главной лестницы. Тут была пустая квартира, в первом зале которой помещалась временная канцелярия Бестужева, а дальше были две комнаты, где жил у него всегда ближний чиновник. Ополчинин знал, что чиновником, жившим в доме Бестужева, был Косой, – значит, он помещался в этих комнатах.

И вот, чем больше думал Ополчинин о князе Иване, чем больше растравлял себя, тем больше тянуло его к нему какой-то, точно не здешней, сверхъестественной силой.

Настал день отъезда. Ополчинин получил все бумаги, забрал их и приехал домой, чтобы собраться окончательно в дорогу. Но чем ближе становился час отъезда, тем более медлил Ополчинин. Неужели он уедет так, ничего не сделав, и оставит в покое князя Ивана? Ведь

Бог знает, что еще с ним будет в дороге, а тут Косой может жениться уже в это время, уехать в свою очередь, а потом ищи его!

Вестовой увязывал вещи, и лошади уже приехали, когда вдруг все, что в последние дни зрело и создавалось в душе Ополчинина, оформилось и ясно стало пред ним во всех подробностях так, как будто все уже случилось.

Это был один миг, но его было вполне достаточно, чтобы Ополчинин как бы осязательно ощутил всю прелесть отмищения и окончательно потерял всякое самообладание. Все его помыслы, чувства, желания и действия сами собою определились в одном направлении.

Он начал действовать, и притом систематически, точно каждый шаг у него был теперь заранее определен, обдуман и даже изучен.

В тот момент, когда он отправил вестового укладывать в бричку вещи, он запер дверь на крючок, достал из шкафа запрятанное туда одеяние нищего, завязал его в особый узелок и успел справиться со всем этим до возвращения вестового. Поэтому, когда тот пришел, он,

как ни в чем не бывало, надевал плащ свой, собираясь выходить. Узелок он взял сам в руки.

На дворе Ополчинин нарочно медленно сажился в бричку и долго приказывал что-то вестовому, несколько раз повторив ему, что уезжает в Ригу.

Выехав из ворот, он дал спокойно отъехать бричке далеко от казарм, но тут остановил ямщика и приказал ехать с вещами до станции, добавив, что самому ему нужно остаться в городе и что он к завтрашнему утру будет там сам.

Затем, выйдя из брички, он направился к первому попавшемуся заезжему двору и спросил там себе комнату. Он велел подать себе ужинать, водки и вина, и, когда ему принесли потребованное, принялся прямо за водку. Съел он мало, но пил очень много, и вино на него не оказывало никакого действия.

Наконец он решительно скинул с себя одежду и, развязав свой узелок, надел платье старого нищего, которое уже давно было привычно ему, благодаря его переодеваньям в Петербурге. Только он не пристегнул на этот раз

деревяшки, которая мешала быстрым движениям.

Переодетый, он незаметно выбрался из окна заезжего двора и, хорошо зная Москву с детства, бодро зашагал по улицам, где горели еще слюдяные фонари и двигался народ.

Мало-помалу он выбрался окольными путями к дому Бестужева, но не с главной стороны его, а с противоположной – со стороны сада, раскинувшегося сзади, по обычаю всех богатых московских домов – и, найдя пролаз в частоколе, что тоже было обычным явлением, вскоре же очутился в бестужевском саду. Здесь он залег в кусты и стал ждать.

Он не боялся, что его накроют. Если бы и увидел его кто-нибудь – вернее всего, что оставил бы без внимания старика нищего, очевидно, лишенного крова и приютившегося в богатом барском саду.

Ополчинин лежал терпеливо и долго.

Судя по звездам, прошло уже много времени, но он все лежал, не двигаясь, и смотрел по направлению выходившего задним фасом в сад дома. Он видел в верхнем этаже огни, видел, как погасли они, как показался свет в

двух окнах нижнего этажа, но не в той стороне, где жил Косой, – как затем исчез и этот свет, и дом погрузился со стороны сада в полную тьму, заблестев маленькими квадратиками стекол на лунном свете.

Тогда Ополчинин пополз потихоньку к левой стороне дома. Через несколько времени он очутился вблизи цветника, и от окон его отделяла только широкая, освещенная луною дорожка.

Два окна зала, где помещалась канцелярия, были приподняты. Очевидно, их оставили открытыми, чтобы освежить комнату, переполненную в течение дня разным народом. Со стороны улицы окна нижнего этажа затворялись ставнями, но здесь, со стороны сада, ставень не было.

Однако перейти на свету дорожку, отделявшую цветник от дома, Ополчинин не решился. А вдруг кто-нибудь не спит в этом замолкшем и по виду совершенно безмолвном доме и смотрит в одно из окон. Поэтому он пополз в обход до забора, потом стал пробираться по стене за клумбами цветов.

Достигнув окна, он выпрямился во весь

рост и просунул в окно голову. На него пахнуло комнатным воздухом, пахнувшим сыростью, табаком и слежавшеюся пылью, и странным показался зал в таинственной полутьме пробивавшихся из окна лунных лучей и ложившихся на полу светлыми квадратами. Где-то в углу скребла мышь.

Ополчинин ясно расслышал. Это служило хорошим признаком – значит, в доме успокоились и затихли совсем, если мыши начали свою возню. Он оперся ногою о карниз, ухватился руками за подоконник и ловко скользнул под поднятую раму.

Когда он почувствовал под ногами крепкий пол вместо влажного и зыбкого грунта сада, ему в первую минуту стало жутко, но вместе с тем было даже как будто что-то приятное в этой жути.

Он оглянулся и переступил с ноги на ногу, чтобы испытать, не скрипит ли пол. Но пол был паркетный, штучный, хорошо сколоченный, и не скрипел.

И вдруг Ополчинин вздрогнул: направо, там, где должны были быть парадные двери, раздался стук, потом шаги.

Ополчинин, не помня себя, кинулся на цыпочках в угол к шкафу и, только притаившись, вздохнул свободнее.

Мышь, пробежав по залу, исчезла. Шаги в сенях сменились говором, хлопнула дверь.

Ополчинин, конечно, не мог подозревать, что это князь Иван вернулся из своего ночного путешествия. Он вообще давно уже потерял сознание всего того, что не касалось прямой, избранной им теперь цели. Но и тут он действовал, шел и двигался, точно это был не он, а какой-то сидевший вместо него самого в нем дух управлял теперь его волею и разумом, нес сообразно своим желанием его тело и заставлял его действовать, ходить и двигаться.

Когда в сенях стихло, Ополчинин, успев уже выбрать из-за шкафа отворенную, как он думал, дверь в следующую комнату, где так же, как в зале, виднелись лунные лучи, направился прямо к ней.

Но оттуда, из этой комнаты, так же тихо и бесшумно подвигалась прямо на него знакомая ему фигура старика нищего. Ополчинин остановился. Нищий сделал то же самое и

установился на него своими блеснувшими глазами.

Ужас суеверного страха охватил Ополчинина. Он чувствовал, что ноги его трясутся, голова кружится и кровь стучит в висках, а сердце точно перестало биться. Будь то, что он видел пред своими глазами, хотя чем-нибудь, не так ясно, натурально и рельефно, было бы меньше страшно. Однако в том-то и дело, что пред Ополчининым стояло не видение, не нечто бесформенное и расплывчатое, но вполне определенное. Он именно вполне определенно видел старика нищего, освещенного сбоку луной и смотревшего на него из другой комнаты.

И тут вся сцена в маскараде так и представилась ему, когда рядом с ним в одеянии этого нищего стоял Косой. Ополчинин вспомнил, что у князя Ивана есть точно такое же платье, и на минуту подумал, не он ли это сам шел переодетый, и они встретились, и, может быть, князь Иван так же «робел» этой встрече, как и он сам.

Ополчинин выждал секунду – не скажет ли ему что-нибудь этот другой, из той комна-

ты, но тот молчал и стоял, не двигаясь. Тогда он сделал еще шаг, и тот приблизился.

Ополчинин, уже не сомневаясь, что имеет дело с живым лицом, кинулся на него.

Они сошлись... сшиблись; Ополчинин, не помня себя, выхватил готовый у него за пазухой нож, размахнулся... Все это было мгновение – меньше мгновенья... и страшный удар раскатился по комнате, и осколки большого, вделанного в стену зеркала посыпались на пол. В чаду своего волнения Ополчинин, обманутый полусветом зала, принял за появление постороннего свое отражение в зеркале, устроенном в таком же окладе, как были двери, и кинулся на него, не помня себя.

Шум и треск разбитого зеркала были услышаны наверху в ту самую минуту, когда князь Иван передал привезенную им сумку Бестужеву и тот стал вынимать из нее письма. Сбежались слуги. Спустился князь Иван сверху, узнал в лежавшем у разбитого зеркала переодетом старике нищем Ополчинина, легко представил себе то, что произошло здесь.

Прежде чем предпринять что-нибудь, нуж-

но было оказать помощь пострадавшему Ополчнину. Руки его были все изрезаны осколками стекла. Он лежал на полу без движения. Князь Иван осмотрел его.

– Странное дело – при падении Ополчинин пришибся, должно быть, головой об угол поваленного им тут же дубового стула, и она оказалась почти так же пробитою, как это было у старика пред гербергом Митрича.

Косой хорошо помнил, как они с Левушкой осматривали его тогда и перевязывали ему голову. И вот теперь точно этот умерший у них старик нищий отомстил за себя как будто он жил еще и действовал – и князь Иван должен был сознаться, оберегал его.

II

Князь Иван сделал наскоро перевязку Ополчнину, раздел его, уложил на свою кровать, умылся сам, переоделся, оставив у больного Степушку, поднялся опять наверх к Бестужеву.

Он застал Алексея Петровича все еще за привезенными им письмами. Бестужев сидел, видимо, на первом попавшемся ему стуле у круглого стола, возле которого отдал ему

сумку князь Иван, и, не перенеся даже сюда лампы, так, как был, углубился в чтение. Он так занялся, что казалось, ничто уже, даже причина раздавшегося внизу шума, не интересовало его. Реторта шипела на спиртовке. Он забыл о ней. И первым вопросом его было, когда вошел к нему Косой:

– Откуда вы достали это?

Но он спросил так только, увидев лицо князя Ивана, совсем машинально. По крайней мере, спросив, он на минуту поднял глаза и снова опустил их к письму, видимо вовсе и не желая услышать ответ.

Косой понял это, понял, что, должно быть, в письмах было что-нибудь очень важное, и остановился молча, чтобы не мешать.

– Это ужас, что такое!.. – проговорил как бы про себя, продолжая читать, Алексей Петрович. – Сейчас, – кивнул он князю Ивану, – сядьте...

Косой сел и стал ждать.

Бестужев кончил письмо, которое держал в руках, и, взявшись за новое, взглянул, поймав взгляд смотревшего на него князя.

– Вы знаете, что было в этой сумке? – спро-

сил он.

– Я знаю только, что там не было тех писем, за которыми я ездил, – уверенно и спокойно ответил Косой. – По-видимому, я ошибся, попав не на того курьера... Я догнал на первой станции и все это сделал слишком поспешно. Но лица не мог разглядеть...

– И хорошо, что не разглядели, хорошо, что ошиблись... Я не знаю, какие письма нужнее: эти, – Бестужев показал на лежавшие перед ним, – или те, за которыми вы поехали...

– Даже так? – протянул Косой. – Я как вошел сейчас, понял, что тут есть интересующее вас, но не ожидал, что... ♦ – Да как же нет? – перебил Бестужев. – Ведь это – секретная переписка Шетарди со своим двором. Вот его официальное донесение, вот письмо к кардиналу, к прусскому королю, к Амелоту – Амелот, по-видимому, сделал ему выговор, и он оправдывается, прямо говоря, что будет стараться исправить свои ошибки, что если, по словам Амелота, честь короля Франции обязывает поддерживать шведов и доставить им обеспечения и преимущества, на которые они надеялись, то он теперь приложит к тому

еще большие старания, чем прежде. В письме к прусскому королю он приводит слова, написанные ему Амелотом, – вот...

Бестужев взял письмо и стал читать его вслух:

«Если король Франции всегда желал переворота в России, только как средства облегчить шведам исполнение их намерений, и если этот переворот произвел противное действие, то надобно жалеть о трудах, предпринятых для его ускорения. Если война продолжится, то шведы не останутся без союзников. Пусть царица остается в уверенности относительно благонамеренности короля; однако не нужно, чтобы она слишком обольщала себя надеждою на выгодность мирных условий».

– Этого уже одного довольно, – заговорил Бестужев. – А тут, в других письмах, еще лучше... Я давно знал, что у Шетарди должны быть секретные курьеры; те письма, что он посылал по почте, мы прочитывали, и в них решительно не было ничего предосудительного. Для меня было несомненно, что он не мог ограничиваться ими, однако ни разу не пришлось не только перехватить его курье-

ров, но даже узнать наверняка, что он посылает их... И что же, это был русский, у которого вы взяли?..

– Должно быть, русский, – улыбнулся Косой. – Ямщик говорил, что очень крепко бранился на станции...

– Ну, во всяком случае, теперь глаза государыни будут открыты, – решил Бестужев. – Из этих писем она ясно увидит, какую пользу нам ждать от французского посла. Теперь я не боюсь и за переговоры с Нолькеном. Завтра же еду с докладом к государыне... Да, эти письма сделают многое... А те другие, значит, едут по назначению? – вдруг вспомнил он, но с улыбкой.

Теперь ему уже казались не так страшны ухищрения его противников, когда у него в руках было несомненное доказательство их собственной интриги.

Но князь Иван в это время вынул из кармана другую замшевую сумку и положил ее на стол пред Бестужевым.

– Они не едут, – сказал он, – вот они!..

Как ни привык Косой к тому, что Бестужев на его глазах редко чему удивлялся, но теперь

он видел, что на Алексея Петровича его слова произвели впечатление. Вице-канцлер, пораженный, поглядел на сумку, перевел взор на князя Ивана и снова взглянул на стол, на то место, где была положена сумка, точно ждал – не исчезнет ли она?

– Это что ж? Вы тоже привезли? – спросил он, не скрывая своего удивления.

– Нет, это привез не я. Она была принесена сюда, прямо ко мне вниз...

– Принесена? – протянул Бестужев. – Но кем?

– Старым нищим! – и князь Иван рассказал, каким образом попала ему в руки эта сумка от Ополчинина, прокравшегося ночью к нему и наткнувшегося на зеркало. – Она была у него на груди, – пояснил он, – вероятно, он собрался совсем уже ехать, но заблагорассудил пред отъездом пожаловать ко мне в виде старого нищего...

– Странно, – опять улыбнулся Бестужев, – очень странно! Но судьба, если захочет, все устроит... В этом нищем ваша счастливая звезда. И где же он теперь?

– Он лежит у меня на постели, я оттого и

замешкался внизу. Надо было ему перевязку сделать...

– А за доктором послали?

– Где же теперь, ночью? Все равно никого не найти... Я велел, чтобы с утра сходили.

– Да, да, пусть сходят, – произнес Бестужев. И отпустил Косого, сказав, что теперь, после утомления, ему лучше всего заснуть.

– А вы не ляжете? – спросил его Косой.

– Нет, сегодня мне спать не придется, – ответил Алексей Петрович.

III

Князь Иван спустился к себе, зашел посмотреть на Ополчинина (тот бредил о чем-то совершенно несвязном) и, выйдя из спальни в комнату, которая служила ему кабинетом, лег, не раздеваясь, на диван.

Тут только, вытянувшись на диване, он почувствовал, как он устал, и как только закрыл глаза, так ему показалось, что он едет верхом по лесу, где заливаются соловей, и лошади, выгнанные в ночное, фыркают и скачут своими связанными ногами. Потом лес начинает шуметь, и он едет уже не со Степушкой, но с Ополчининым, и не верхом, а по гладкой до-

роге с заворотом. Что-то было знакомое в этой дороге. Князь Иван сделал усилие вспомнить и вспомнил свой сон, виденный им вскоре после приезда в Петербург. Там, в этом сне, лошадь гналась за ним и старалась загрызть его. Кто-то объяснил ему, или он сам нашел это – он уже не помнил, – что лошадь означала ложь. И в самом деле, сколько всякой лжи опутало его! Кругом него была ложь, но, слава Богу, мало-помалу все прошло, и теперь его ждало только счастье с его Сонюшкой. Он не знал, как они будут жить, и хватит ли у них средств, но до этого ему теперь, по крайней мере, мало было дела. Ему довольно было и сознания, что Сонюшка его, что никто уже не сможет отнять ее у него. И с этою счастливою мыслью он заснул глубоким сном без сновидений, ободряющим и освежительным.

Вероятно, князь спал очень долго, но, когда он очнулся, почувствовав, что его будят, он окончательно потерял сознание времени и долго не мог понять, почему так светло в окнах, и почему он лежит одетый на диване у себя в кабинете.

Будил его дворецкий Бестужева.

– Ваше сиятельство, ваше сиятельство, – говорил он, – извольте вставать. Сейчас доктор приедут...

Косой сел на диван, спустил ноги и протер глаза. Очнувшись, он вспомнил все происшедшее сегодня ночью.

– Да, доктор, – сказал он. – А который час?

– Да уже одиннадцать скоро.

– Одиннадцать? Неужели? – даже испугался Косой. Никогда ему не приходилось вставать так поздно. – Так неужели до сих пор доктора еще не было?

– Нет-с, утром один приезжал и за цирюльником посылали – кровь бросили, а теперь сейчас сам лейб-медик пожалует.

– Как лейб-медик? Какой лейб-медик?

– Господин Лесток. Граф к ним с утра посылали, они на словах приказали ответить, что будут после одиннадцати.

Камердинер, видимо, с удовольствием называл Бестужева «графом». Это было еще внове, потому что отец Алексея Петровича получил только на коронацию графское достоинство.

– Что же, граф записку лейб-медику посы-

лал?

– Да-с, записку писали и послали.

– А сам Алексей Петрович дома?

– С утра уехали во дворец с докладом. Они приказали, что если не вернутся к приезду господина Лестока, то чтобы вы и молодой графчик приняли их...

– А Андрей Алексеевич дома?

– Сейчас сюда придут.

Едва только успел привести себя в порядок князь Иван; как к нему вошел свежий, румяный, довольный собой и жизнью сын Бестужева.

– Что у вас тут за происшествия? – начал он. – Здравствуйте! Выспались?

Князь Иван всегда ощущал удовольствие при виде симпатичного ему молодого графа Андрея, а после того, как тот возился с ним в маскараде, и совсем полюбил его.

– Кажется, выспался, – ответил он. – Вы видели Алексея Петровича, когда он уезжал во дворец?

– Да, я, как встал утром, пошел к нему. Он, кажется, опять всю ночь не спал.

– Я ему вообще удивляюсь, – сказал князь

Иван, – как он выдерживает?

– Не знаю! Принял какие-то свои капли и, как ни в чем не бывало, уехал.

– Он вам ничего не говорил?

– Сказал только, чтобы вас не тревожить, а разбудить вас к приезду Лестока... Мне люди рассказали, что вы куда-то ездили ночью, потом у вас оказался ночной посетитель с зеркалом. Удивительная история! Я не понимаю только, зачем для него понадобилось отцу тревожить самого Лестока... Ведь лейб-медик даже не практикует теперь, но к нам, сказал, приедет...

Князь Иван отлично понимал, зачем понадобился Алексею Петровичу именно Лесток для оказания врачебной помощи лежавшему тут же в доме Ополчинину: лучше трудно было и придумать, как пригласить лейб-медика сюда. Но он ничего не стал объяснять Андрею Алексеевичу.

Он только усмехнулся в усы и прошелся по комнате, заранее представляя себе, какое должен будет сделать лицо Лесток, когда узнает своего пациента.

– Я иногда удивляюсь, – сказал он только, –

быстроте и верности, с которыми ваш батюшка делает свои распоряжения. Я ни одного из них не знаю, которое не попадало бы сразу туда, куда нужно.

В это время пришли сказать, что приехал Лесток, и молодой Бестужев должен был идти ему навстречу.

Лесток вошел и сразу всем остался очень недоволен. Заниматься медицинской практикой теперь ему было, во-первых, некогда, а во-вторых – совершенно не нужно, при тех огромных деньгах, которые он получал и при дворе, и от французского двора.

Конечно, он приехал в дом к Бестужеву не ради этой практики, но только под предлогом ее. Своих сношений с вице-канцлером он никогда не прерывал и при встречах обменивался с ним отменными любезностями.

Получив сегодня утром записку от Бестужева, с просьбою приехать сегодня же к труднобольному, Лесток все-таки ощутил некоторую долю приятности польщенного самолюбия, что такой человек, как Бестужев, сам понимавший многое в медицине и любивший ее, все-таки верит в его научный авторитет и

зовет его к себе в дом, к «труднобольному». Он попытался велеть расспросить у посланного, кто, собственно, болен, но от того ничего не могли добиться: он твердил лишь, что ему велели отнести записку и принести ответ, а больше он-де ничего не знает. Могло быть, что и сам Алексей Петрович заболел.

Вообще эта записка заинтриговала Лестока, и мысль побывать запросто в интимной жизни в доме Бестужева, посмотреть, что там у них и как, показалась ему соблазнительной. Он сказал, что приедет, и приехал в назначенный час, но, конечно, особенного удовольствия в этом не видел: ему было интересно, жаль не поехать – вот и все. Но, во всяком случае, он думал, что его встретит сам Алексей Петрович, что ему окажут должный почет, к которому он успел уже привыкнуть. А на самом деле вышло, что встретил его сын Бестужева, сказавший, что отец во дворце и хотел, правда, вернуться к его приезду, но, вероятно, его задержали у государыни. Кроме того, его, Лестока, повели не в парадные комнаты наверх, а вниз, через зал, где была канцелярия и в дверях виднелось разбитое зеркало, и нако-

нец ему пришлось столкнуться с князем Косым, которого он помнил отлично и который именно сегодня показался ему особенно неприятен.

Всем этим Лесток остался крайне недоволен. Он едва ответил на поклон князя Ивана и одну минуту думал уже уехать домой, и непременно уехал бы, если б не сообразил, что этим сам станет в неловкое положение.

– Где же больной? – спросил он, обращаясь к молодому Бестужеву с таким видом, будто Косого и не было в комнате.

Андрей Алексеевич открыл дверь в спальню.

Лесток, потирая руки, уверенной походкой знающего свое дело доктора, вошел туда.

Князю Ивану, по правде сказать, очень хотелось войти за Лестоком в спальню, но он ждал, войдет туда или нет молодой Бестужев, и хотел пройти только за ним. Однако Андрей Алексеевич, пропустив лейб-медика, затворил дверь и шепотом сказал князю Ивану:

– Батюшка приказал впустить его туда одного.

Лесток оставался в спальне довольно долго.

Князь Иван с молодым Бестужевым ждали его, тихо разговаривая. Косой отвечал Андрею Алексеевичу машинально, а сам все время думал о том, что должно было происходить в спальне между Лестоком и его неудачным посланным. Он знал уже, что Ополчанин пришел в себя, и потому, когда проснулся, не зашел к нему. По продолжительности пребывания Лестока в спальне князь чувствовал, что они разговаривают не только о болезни, но, вероятно, и о сумке, бывшей вчера на груди у Ополчанина. Однако говорили они так тихо, что ни одно слово, ни единый звук не долетали из спальни.

– А я очень желал бы, чтобы батюшка приехал до отъезда лейб-медика, а то он, кажется, обиделся...

– Погодите, – остановил его Косой, слышав стук колес на дворе, – кажется, карета Алексея Петровича.

– Так и есть! Ну, слава Богу! – сказал молодой Бестужев, посмотрев в окно.

Алексей Петрович, как приехал от госуда-

рыни, в своем парадном, бархатном кафтане, в орденах и ленте, прямо прошел через канцелярию в помещение князя Ивана.

– Ну, слава Богу, все хорошо, даже более чем хорошо, отлично! – сказал он Косому. – Государыня одного меня только и приняла сегодня. Ей все доложено.

Он сказал это слово «все» так, что князь Иван сразу понял, что в с е не только было доложено, но и произвело свое действие, словом, что кампания выиграна.

– А он там? – показал Бестужев на спальню.

– Лейб-медик у больного, – ответил князь Иван, не смоги сдержать при этом улыбку.

– Ну, хорошо! Оставьте меня здесь одного, мне нужно переговорить с ним, – проговорил Бестужев.

Князь Иван и Андрей Алексеевич вышли.

Оставшись один, Алексей Петрович прошелся по комнате, подошел к зеркалу, поправил кружева своего жабо и, взглядевшись в свое лицо, остался им доволен – и признака утомления благодаря подкрепляющим каплям не было заметно в нем.

Он отошел к письменному столу князя Ивана и вынув из кармана золотую табакерку с миниатюрой на крышке, положил ее на стол. Миниатюра представляла собою удивительно похожий портрет Сонюшки, заказанный Алексеем Петровичем Караваку для князя Ивана. Сегодня утром, весьма кстати, принесли эту табакерку готовою.

Дверь спальни отворилась, и Лесток, весь красный, сердитыми, быстрыми шагами вышел оттуда и остановился, не подозревая, что сам Бестужев ждал его тут.

Они посмотрели друг другу в глаза, и Лесток понял, что Алексей Петрович не ждет и не желает никаких объяснений. В самом деле, разговаривать было не о чем.

Но Бестужев после официального, изысканно вежливого поклона все-таки спросил:

– Ну, что больной?

Лесток, борясь с собою, ответил, силясь заставить повиноваться свои дрожавшие губы:

– Кажется, очень плох. Нужно опасаться гангрены.

Он отвечал как доктор, и этим ответом хотел показать, что он здесь именно как доктор

и потому считает лишними всякие другие разговоры.

Он хотел поклониться и пройти – в самом деле, это было для него самое удобное, но Бестужев остановил его.

– Простите, что я был лишен удовольствия встретить вас лично, – проговорил он, – но я прямо от государыни... – и он показал на свое парадное одеяние.

Лесток опять поклонился и хотел снова пройти. Ему было решительно безразлично, где был и откуда приехал Бестужев; уйти поскорее, вот чего желал он только.

Между тем вице-канцлер опять произнес:

– Мне, кстати, нужно сказать вам несколько слов по поводу сегодняшнего моего доклада...

– Простите, мне некогда, – начал было Лесток.

– По приказанию ее величества, – сказал Бестужев.

Лесток остановился – он должен был выслушать, если дело касалось приказа императрицы. Однако он хотел выслушать стоя, но Алексей Петрович имел жестокость при-

двинуть ему стул.

Лесток был в таком состоянии волнения, что уже не мог долее сопротивляться. Он опустился на стул, тяжело дыша; он был весь в испарине и очень красен.

– В чем дело? – спросил он наконец.

– Ведь вы, кажется, хорошо знакомы с Шетарди?

– Да, как и со всеми, – ответил Лесток, пожившись.

– Но все-таки между вами и французским послом существует некоторая интимность?

– Никакой особенно... Я люблю приятное общество...

– Да, я знаю, – сказал Бестужев («и французские, деньги!» – мелькнуло у него). – Ну, так знаете что? – продолжал он, – намекните ему, чтобы он уехал отсюда... в отпуск домой, во Францию...

– Домой, во Францию? – переспросил, разинув рот, Лесток. – Как? Чтоб французский посол уехал домой?

– Да, это будет полезно для него.

– И на это государыня согласна?

– Официально от ее имени нельзя сказать

это, во-первых, потому, что императрица не желает полного разрыва с Францией, а во-вторых – эти несчастные две тысячи, которые ссудил ее величеству Шетарди, когда она была цесаревною... Но дело в том, что это вовсе не оправдывает его дальнейшего поведения: оно слишком скомпрометировало его.

– Да... но... в таком случае... – растерянно проговорил Лесток, – что же будет с мирным договором со Швецией? Ведь этак Нолькен уедет...

– И пусть его уезжает!

– Значит, разорительная война продолжится?..

– Разорительная война? – подхватил Бестужев. – Где же это разорительная война, когда шведы боятся сражения и не идут в открытые действия? Где же тут разорение, когда наши войска в отличном состоянии, а шведские никуда не годны, разве только к отступлению? И при таких обстоятельствах вы хотите, чтобы Россия заключила мир, сделав Швеции уступки против Ништадтского мира! Да это такой мир был бы позором и оскорблением памяти Петра Великого!.. Швеции делать

уступки – за что? За то, что это угодно Франции?..

– Да, но развитие Европы вперед... – попытался было вставить Лесток, сам не зная того, что говорит.

– Нам до развития дел Европы нет никакого отношения, – перебил Бестужев, – мы должны знать родное, русское и оберегать честь России. Вот это – наше дело, а до прочего мы не касаемся.

Лесток, видя, что говорить уже нечего, постарался скрыть свое смущение под видом напускного оскорбленного достоинства.

– Это – все, что вы желали сказать мне? – спросил он, выпрямляясь и напрасно силясь принять горделивую осанку.

– Все, хотя, если угодно, я могу и еще сказать вам... Так вы думаете, что больной опасен?..

– Очень опасен, – ответил Лесток и, спеша укрыться под скорлупкой докторского звания, поднялся со своего места.

Бестужев тоже встал, показывая этим, что их разговор кончен, и вежливо проводил Лестока до самых сеней.

Когда князь Иван вернулся к себе в кабинет, то нашел на столе табакерку с портретом Сонюшки. Он понял, что это – подарок ему Бестужева, заказанный им раньше, но сделанный сегодня в благодарность за его успешную службу.

Глава шестая. Дом на Фонтанной

I

Кампания была выиграна. Нолькен уехал из Москвы с целью, как объяснил он русским представителям власти, отправиться прямо в Швецию, дабы засвидетельствовать там о мирных стремлениях русского правительства и о желании последнего вести переговоры прямо со Швецией, без французского посредничества, о котором-де он слышит здесь в первый раз.

Действительно, вскоре, 23-го июля, фельдмаршал Лесси, командовавший русской армией в Финляндии, получил от Нолькена письмо, в котором тот писал, что побывал в Стокгольме и явился в Финляндию в качестве полномочного посла, которому поручено вести мирные переговоры.

Он был в Борго. Переговоры с Нолькеном

были поручены Румянцеву, но, пока они шли, военные действия продолжались.

Лесси подошел к Фридрихсгаму, и шведы сдали эту крепость, отступив и зажегши ее. Предводительствовавший шведами Левенгаупт отступил за Кюмень, направляясь к Гельсингфорсу. Русские преследовали его. Сдались также без сопротивления Нейшлот и Тавастгус.

Лесси настиг шведскую армию у Гельсингфорса и сумел отрезать ей отступление к Або, воспользовавшись для этого дорогой, проложенной некогда по приказанию Петра Великого и указанной теперь одним крестьянином. Со стороны моря шведы были заперты русским флотом.

Шведские генералы Левенгаупт и Будденброк были отозваны в Стокгольм для отдания отчета сейму в своих действиях. На место их остался командовать армией генерал Бускет.

И тут случилось нечто небывалое в военных летописях: семнадцатитысячная шведская армия сдалась 26 августа на капитуляцию, сдав русским оружие и всю артиллерию.

Теперь не только со стороны шведов нель-

зя было надеяться на какие-нибудь уступки от России, о чем так усердно хлопотал Шетарди, но им надо было думать о том, как заключить мир на менее тяжелых для себя условиях.

Бестужев вел дело твердою рукою. Великий канцлер Черкасский был больной старик, и вся забота лежала на вице-канцлере – Алексее Петровиче. Он не отпускал от себя Косого, успев привыкнуть к нему, и все говорил:

– Дайте нам разделаться со Швецией – тогда я вас отпущу и можете играть вашу свадьбу. Я устрою вас.

Князю Косому действительно нужно было устроиться для свадьбы.

На холостое житье теперь ему хватало того, что у него было, но и то хватало лишь при тех условиях, в которых он находился. Собственного у него было одно только жалованье, но оно уходило на расходы по той жизни, которую он должен был вести.

Жил он в доме Бестужева и у него же обедал почти каждый день.

Все это было хорошо для холостого. Но женившись, князь не мог уже оставаться у Алек-

сея Петровича, да и на самое свадьбу нужны были деньги. Он не хотел сделать ее кое-как, а средств у него не было.

К тому же выдача приданого, обещанного императрицей Сонюшке, затягивалась самым непонятным образом, и даже влияние Бестужева не могло тут ничего сделать. Находились какие-то проволочки, справки, и все никак не могли подобрать нужной деревни. Словом, на это, как на выход, рассчитывать было нельзя.

Однако Бестужев обещался «устроить», и приходилось ждать.

Между тем князь Иван видел, что Сонюшка мучается и страдает оттяжкой дела.

Вера Андреевна все чаще и чаще стала наекать ей: «Что же это такое? когда же ваша свадьба?» – и несколько раз в сердцах у нее вырывалось название Сонюшке «вечная невеста».

Вера Андреевна злорадствовала, Сонюшка терпеливо переносила все, и князь Иван, несмотря на все свое безумное, страстное желание поскорее обвенчаться с нею, должен был сам придумывать себе назло благовид-

ные предлоги для откладывания свадьбы, чтобы давать по возможности меньше поводов для злорадства Веры Андреевны.

Еще летом, после Петровок, уехали в Петербург Рябчич, и там была сыграна свадьба Наденьки с молодым Творожниковым.

Соголевы в Успенский пост уехали к себе в деревню и провели там всю осень. В конце октября, по первопутку, они отправились в Петербург. Остановиться опять у Сысоевых Вера Андреевна нашла неудобным.

Князь Иван и Сонюшка были в переписке, как жених и невеста. Они виделись при проезде через Москву. Косой был в таком отчаянии, что Сонюшке пришлось утешать его.

Но вот Соголевы уехали в Петербург. Князь Иван не мог выйти из своей неизвестности. Двор должен был, как говорили, остаться в Москве до конца года, значит, и Бестужев будет тут до этого времени. Нельзя будет и Косому вырваться раньше. Одному ему ехать в Петербург не имеет смысла, так как что он будет делать там без денег, без возможности как-нибудь устроиться?

Князю несколько раз приходило в голову

занять денег, но или их не было ни у кого из тех, кто готов был поверить ему, или ему, бездомному, в сущности, князю Косому, не верили те, у кого были деньги.

Да и в самом деле, чем он мог отдать свой долг? Сумма ему для обзаведения требовалась большая, а рассчитывать он мог только на свое жалованье.

Он бомбардировал Сонюшку отчаянными письмами, получал от нее ответы, но ни он, ни она не могли сообщить друг другу ничего утешительного.

И вдруг раз, когда Косой сидел в канцелярии, ожидая, что принесут сейчас почту, и он получит письмо от Сонюшки – единственное свое утешение теперь, – и думал, что это письмо хотя и принесет радость, но вместе с тем и горе, потому что растравит только, – ему подали не одно, как он ждал, а два письма.

На одном он сейчас же узнал на адресе мелкий почерк Сонюшкиной руки. Другой же адрес был написан тоже знакомою рукой, но только князь Иван не мог сразу узнать – чьей.

Он распечатал Сонюшкино письмо, пробе-

жал его, отложил, чтобы потом перечесть как следует, и раскрыл второе.

Как только он раскрыл его и взглянул на подпись, он сейчас же узнал руку. Письмо было от Левушки. Тот звал князя в Петербург как можно скорее, хотя на несколько дней, если иначе не отпустят его; звал непременно, безотлагательно, во что бы то ни стало. Он требовал, чтобы Косой бросил все и немедленно приезжал.

II

Письмо Левушки было последней каплей, переполнившей чашу терпения Косого; князь с каждым днем все более и более желал увидеть Сонюшку, хотя бы на один миг, хотя одним глазком взглянуть на нее!

Он взял отпуск, занял у молодого Бестужева денег на дорогу и уехал в Петербург.

Через пять дней он был уже там, на Васильевском острове, у Левушки, и нашел его бодрым, веселым и по-прежнему милым, добродушным, шепелявым и искренним.

Оказалось, что Торусский приехал в Петербург уже давно, но упорно скрывал ото всех свой приезд, и у Соголевых был только три

дня тому назад в первый раз. Он узнал, что князь Косой теперь «в силе», служит у Бестужева и помолвлен со старшей Соголевой. Третьего дня Сонюшка подробно передавала ему все, что случилось без него, но он сам хотел еще раз услышать все от князя Ивана.

Косой стал рассказывать про себя, но как ни добивался у Левушки, где тот был, Левушка ни за что не хотел объяснить пока, ни куда он ездил, ни почему жил некоторое время в Петербурге, скрываясь ото всех.

– Мне ужасно хочется самому лассказать, – сказал он Косому, – но это выйдет совсем не то. Сегодня вечелом я поведу вас в одно место, и тогда все-все узнаете. Уж ждали столько влемени – потелпите еще немного... А то будете плосить – я сам не выделжу – ласскажу...

Левушка так волновался, так горячился, что князю Ивану, чтобы успокоить его, оставалось лишь одно – согласиться с ним.

Когда они вдоволь наговорились, позавтракали, и Левушка в десятый раз высказал Косому, как он рад, что все устроилось так хорошо, князь Иван пошел одеваться в бывшую свою комнату, вновь отведенную ему.

Он уже был совсем почти готов, когда к нему влетел Торусский в новом парике и от-лично сшитом французском кафтане.

– Ух, да каким вы щеголем! – удивился Ко-сой.

– Это – настоящий фланцузский, – показал Левушка на свой кафтан. – Погодите, – вдруг забеспокоился он, – чего же это вы одевае-тесь? Вы к Соголевым хотите ехать, а?

– Ну, конечно, к ним!

– Лади Бога, не поезжайте, лади Бога, ну, я плосу вас, ну, для меня, потелпите немного!.. Я к ним сам сейчас еду...

Князь Иван окончательно стал в тупик.

– Этого уж я не понимаю, – серьезно сказал он. – Мне не ехать к Соголевым?

– Голубчик, – запросил Левушка, – это я для вас, – для вас же плосу. Ну, сделайте для меня! Вечелом все узнаете, все, а до вечела остань-тесь дома. Ну, докажите, сто вы меня любите. Потом сами увидите, сто это холосо все вый-дет.

Нужно было видеть отчаяние Левушки от одной только мысли, что князь Иван может его не послушаться и поедет к Соголевым, что

противоречило плану, который он составил себе.

– Послушайте, – силился он убедить Косого, – ведь недалом я хлопотал с февляля месяца для вас, ведь недалом... Ну, так сделайте тепель по-моему. Ведь восемь месяцев хлопотал я!.. Лазве мало влемени?..

– Ну, если вы так просите, – согласился Косой, пожав плечами, – я, пожалуй, останусь дома!.. Только это мне очень не по сердцу...

– Знаю, милый, сто тлудно, но все лавно, – обрадовался Левушка, – спасибо вам... я очень лад, сто послушали, – и он, точно боясь, что князь Иван передумает, стремглав вылетел из комнаты.

Князь Иван видел из окна, как Левушке подали карету, но не из наемных, а, видимо, собственную, новомодную, на высоких рессорах, ярко-желтую с большим гербом на дверцах и с великолепными зеркальными стеклами, обитую внутри пунцовым бархатом и запряженную цугом белых лошадей. Он сел в нее и поехал.

«Дивны дела Твои, Господи! – подумал Косой. – Откуда у него может быть такая каре-

та?»

Он видел, что Левушка затеял и, по-видимому, исполнил что-то непонятное, чему он обещался дать разгадку сегодня вечером.

Князь Иван, чтобы не нарушать восторга, в котором застал Левушку, решился подчиниться ему, дав, однако, себе обещание, если Торусский не сдержит слова и не раскроет загадку сегодня, – завтра более не уступать никаким его просьбам.

Он остался один и жалел уже, зачем согласился на просьбу Левушки. В самом деле, что это за глупая, в сущности, была фантазия? Отчего ему не поехать к Сонюшке?

Но, когда он вспоминал восторженное лицо Левушки, он успокаивался и заставлял себя смириться хотя бы до возвращения Торусского.

Чтобы пока заняться чем-нибудь, князь стал разбирать свои вещи. Он стоял, наклонившись над сундуком, когда дверь в его комнату скрипнула, и, подняв голову, увидел в дверях... Игната Степановича Чиликина.

– А я опять, извините, без доклада, – заговорил Чиликин, – знаю, что иначе не пустили

бы меня... Я вашего мальчика в прихожей турнул и пришел сюда; он знает, кто я такой. Я все-с здесь наверху живу.

Мальчонок, о котором говорил он, был новый казачок, заменивший Антипку, отосланного в деревню.

Князь Иван недовольно поднялся.

– Что вам еще нужно от меня? – проговорил он.

– А документик в три тысячи-то забыли-с? Помните, я докладывал вам о нем?.. Я тут вот только и ждал вашего приезда; мне теперь деньги очень нужны, князь Иван Кириллович...

У Косого опустились руки.

Деньги! Да если уж он не мог достать их до сих пор для себя, хотя от этого зависело все счастье его жизни, то как же он достанет для Чиликина-то? Откуда? Смешно даже!..

И князю Ивану действительно стало смешно.

– Деньги? Три тысячи? – повторил он. – Да откуда я достану их вам?

Лицо Чиликина расплылось в широкую самодовольную улыбку. Он знал, что если уж

рассчитывает на что-нибудь, то рассчитывает на верное.

– Я так и знал-с, – прямо ответил он, осклабясь, – я так и знал-с, что у вас денег не будет.

«Чему же он рад-то так?» – невольно подумал князь Иван и, отвертываясь, спросил:

– Если знали, что у меня не будет денег, то зачем же тогда пришли спрашивать их?

– А для того, чтобы предупредить, что я взыскивать буду...

Князь ничего не ответил. Он задумался о том, что на него надвинулась новая беда, о которой он не хотел было вспоминать. Но она пришла насильно, в образе этого Чиликина, и снова стала поперек дороги ему. С этим долгом ему никогда не распутаться.

И в первый раз князю показалось, что он устал от борьбы и что долее бороться не в состоянии.

Неужели ему, почти достигнув цели, придется навеки расстаться со всеми мечтами и радостями жизни? Если Чиликин «начнет взыскивать», то – князь знал – это будет позор, оскорбление за оскорблением. Одна Вера Андреевна чего будет стоить в это время со

своим ехидно и вовремя выказываемым злорадством. «Нищий-князь, искатель приключений», – она иначе не называла его заглазно, но нашлись услужливые люди, которые передали ему это. И теперь более чем когда-нибудь оправдываются ее слова. Откуда он возьмет эти три тысячи?

А Игнат Степанович смотрел на него и улыбался, и, видимо, ему доставляла большое удовольствие безвыходность положения князя.

– Послушайте, – начал Косой, – ведь эти деньги не я вам должен, а мой отец.

– Это все равно-с, раз вы приняли наследство – теперь уже ничего поделывать нельзя... Все – по закону...

– Я знаю, по закону, а по правде-то разве не совестно вам? Ведь эти деньги, может быть, и не следуют вам вовсе.

– Как не следуют?.. Нет-с, они мне по всем правам следуют... Если по самому закону... – протянул Чиликин.

Но в это время в дверях раздался голос Левушки, вернувшегося от Соголевых.

– Сто, сто такое по закону? – спрашивал он.

Игнат Степанович несколько смутился при появлении постороннего.

– Нет-с, это ничего, это – наше дело с князем Иваном Кирилловичем...

– Я вас спласываю, сто по закону? – крикнул Левушка во весь голос.

– Что же тут кричать? – обиделся Чиликин. – Я имею получить с князя три тысячи, вот и все. Я, кажется, пришел не за чужими, а за своими деньгами.

– Тли тысячи?! – повторил Левушка. – Вы их получите завтла... Плиготовьте документ, а тепель ступайте вон... Ступайте вон! – повторил Левушка, видя, что Чиликин хочет еще возразить что-то такое.

– Посмотрим! – проговорил Игнат Степанович и, сторбившись, вышел из комнаты.

Левушка действовал таким молодцом, что князь дивился ему и залюбовался им.

– Да что с вами, что вы сделали такое? – спросил он.

Но Левушка ответил горько:

– Сколо узнаете!..

III

Уговорив князя Ивана остаться дома, Ле-

вущка в своей новой желтой карете поехал к Соголевым и удивил их странною просьбой.

Он просил Веру Андреевну с дочерьми непременно и неотступно сегодня, и именно сегодня, к себе на вечер, уверяя Соголеву, что она может быть покойна, что он сумеет принять «дологих гостей» должным и подобающим образом.

Сначала Вера Андреевна удивилась. Потом ей показалась затея оригинальною. Уж если Торусский звал так, то, вероятно, в самом деле приготовил что-нибудь особенное, а Вера Андреевна любила все особенное, всякое развлечение и угощение.

К тому же ее Дашенька скучала. Выездов, благодаря пребыванию двора в Москве, было мало.

Сонюшка, ждавшая письма сегодня от Косого, который выехал из Москвы так поспешно, что не успел дать ей знать, – была сегодня молчаливее и грустнее обыкновенного.

Ей никуда не хотелось.

– Ну, полноте, Лев Александрович, – сказала она, – ну что вы затеяли.

И это решило окончательно сомнение Ве-

ры Андреевны.

– Вечно вы, моя милая, – сказала она единственно для того, чтобы попротиворечить дочери, – суетесь туда, куда вас не спрашивают... напротив, это очень мило со стороны Торусского, что он приглашает нас...

– Так вы будете, непременно будете, – заговорил Левушка, ловя ее на слове, – я за вами, если позволите, калету плишлю... Вы ни о чем не беспокойтесь... Все будет сделано. Только плiezжайте.

И он опять так стал просить, так умолять, что Вера Андреевна, уже заинтригованная, согласилась.

Как только согласие было дано, Левушка вне себя от счастья уехал домой, потребовав еще раз подтверждения, что его не обманут и приедут непременно.

Вечером в назначенный час гайдук в новой, с иглочки, ливрее поднялся к Соголевым, чтобы доложить, что карета за ними приехала.

Карете, конечно, пришлось ждать, пока Соголевы одевались. Пospеть вовремя Вера Андреевна никогда не могла.

Наконец все шпильки и булавки были заколоты, платья оправлены перед зеркалом, волосы напудрены, и Соголевы спустились в своих шубках вниз.

Вера Андреевна, оглядев богатую карету, приехавшую за ними, ничего не сказала, но по грации ее движений, с которою она влезла по высокой, опущенной гайдуком подножке, видно было, что она желает показать, что умеет ездить в таких хороших каретах.

Они сели, щелкнула закинутая вновь подножка, хлопнула дверца, и карета тронулась.

Сонюшка, убаюканная мягкою качкою эластичных рессор, смотрела в окно сначала бессознательно, но мало-помалу стала замечать, что их везут не на Васильевский остров, где, как она знала, жил Торусский в доме тетки, а куда-то в сторону Фонтанной.

– Куда же это он едет? – спросила она.

– Ах, моя милая, вероятно, туда, куда нужно... – остановила ее Вера Андреевна.

– Да ведь Торусский живет же на Васильевском острову...

– Ну, так что ж?

– А мы сворачиваем на Фонтанную...

– На какую Фонтанную... вы непременно придумаете что-нибудь... – недовольно проговорила Вера Андреевна. – Ну да, на Фонтанную... – добавила она, глядя в окошко, – вероятно, тут лучше дорога на остров...

Сонюшка замолчала и не стала говорить, что по Фонтанной нет дороги от них на Васильевский. Ей, в сущности, было все равно.

Карета ехала по набережной довольно долго и вдруг свернула во двор одного из тех барских домов, которые со своими садами и службами были расположены здесь и не раз своею роскошью тревожили воображение Сонюшки.

Они остановились у крыльца, и навстречу им выскочили, пренебрегая холодом, как это и подобает настоящим лакеям, ливрейные гайдуки, поспешившие высадить их.

На лестнице, покрытой красным сукном и уставленной цветами, ждал их сияющий Левушка.

– Да, это мое новоселье, – ответил он Сонюшке, спросившей его, разве он переехал сюда с Васильевского.

Он провел их налево, в нижний этаж дома,

где оказалась очень мило, уютно и удобно обставленная маленькая квартирка.

На столе в столовой были приготовлены на серебряном сервизе чай, фрукты и всевозможные печенья.

Дамы удивлялись, хвалили устройство, Левушка казался на вершине блаженства.

Он был очень счастлив.

Сонюшка невольно вздохнула.

Как бы было хорошо, если б ее князь Иван мог устроиться так!..

Среди приветствий, разговоров и болтовни Левушка (Сонюшка видела это) несколько раз взглядывал на нее, как будто хотел сказать ей что-то отдельно, по секрету.

Наконец он стал показывать Вере Андреевне и Дашеньке какой-то очень любопытный альбом, с видами Швейцарии и, когда они, заинтересовавшись, занялись им, потихоньку подошел к Сонюшке.

– Пойдите за мной, – сказал он, – пойдите, пожалуйста.

Он вывел Сонюшку на парадную лестницу и просил ее не бояться подняться в верхний этаж.

Сонюшке уже пришлось пережить много неожиданного и странного. Она пошла.

Левушка, выведя ее на лестницу, сам не пошел за нею, а вернулся к себе.

Ливрейные лакеи, выстроенные на лестнице (один из них был в особенно красивой, голубой, с галунами ливрее), встретили ее низким, глубоким поклоном. Она кивнула им и тут только заметила, что у них на галунах гербы под княжеской мантией и шапкой.

Она стала своими маленькими, как бы рожденными, чтоб только ходить по коврам, ножками подыматься по мягкому сукну лестницы. На средней площадке стояли еще два лакея в еще более богатых, опять с княжескими гербами ливреях и тоже низко-низко поклонились ей. Наверху, у зеркала, стоял в белой с зеленым чалме, в пестром костюме арап, тоже встретивший ее поклоном. Он тронул зеркало, оно отворилось, и Сонюшка вошла в большую расписную и отделанную золотом залу, освещенную хрустальной люстрой.

Сонюшка не знала уж теперь, наяву ли это или грезит она.

Она идет по лоснящемуся, как стекло, узорному паркету. Зала обставлена легкой, белой, глянцеви́тою мебелью с желтыми што́фными гардинами и такою же обивкой. Стены лепные. Потолок расписан большо́ю фрескою, изображающей Диану на охоте. У окон большие китайские вазы. Из залы, направо, сквозь лепную арку виднеется маленький сад с фонтанчиком, наполненный деревьями и белыми лилиями – ее любимым цветком. Она входит в этот сад, дышит ароматом цветов, оглядывается – одна арка из сада ведет в высокую, покрытую темным дубом столовую с буфетом, на котором горою видно серебро, другая – в гостиную, затянутую сплошь красным што́фом. Мебель золотая – чистого стиля короля французского Людовика XIV. Мягкий ковер застилает всю комнату.

Через гостиную она попадает снова в залу, по другой стороне которой – китайская комната с лакированными стенами, уставленными фарфором на сьупорах.

Отсюда виден прямо ряд комнат, а налево – открыта дверь в обитый деревом кабинет с большим бюро, круглым столом, диваном и

кожаной мебелью. Сонюшка заглядывает в него. Он пуст. Она идет дальше по комнатам – еще гостиная, диванная комната, завешанная картинами, и наконец уютный будуарчик с шелковыми занавесами и стенами, с мягкой мебелью, с волнистым ковром.

Сонюшка останавливается в дверях. Перед нею князь Иван... Откуда, как... откуда этот дом, эти комнаты?..

Она начинает верить, что это только счастливая, но несбыточная греза... Но нет, он идет к ней, протягивает руки. Он живой, настоящий человек. Он встречает ее и начинает объяснять ей, что все это значит, а из залы слышится уже голос Левушки, который ведет к ним Веру Андреевну и Дашеньку.

Глава седьмая. Веревка нищего

I

На другой день Левушка приехал в дом на Васильевский, где обещал Чиликину познакомиться с ним относительно денег, одолженных Косым.

Он послал наверх за Игнатом Степановичем и, когда тот явился к нему, просил его одеться, чтобы ехать вместе.

– Куда же мы поедем это? – поинтересовался Чиликин.

– К князю Косому. Документ у вас?

– У меня-с, – все еще не веря, что ему отдадут деньги сегодня, ответил Игнат Степанович.

Но он уже поколебался в своем сомнении, когда сел с Торусским в богатую карету с княжеским гербом. Чиликин узнал его – это был герб Косых.

Всю дорогу до Фонтанной они ехали молча. Когда же наконец карета подвезла их к широкому крыльцу дома, Игнат Степанович не выдержал и спросил:

– Позвольте, Лев Александрович! Неловкости не выйдет? Вы наверное изволите знать, что князь Косой тут живут?..

Странно было бы Левушке не знать этого дома, который он, потихоньку вернувшись в Петербург, купил и отделявал по секрету ото всех, приготовляя в верхнем этаже помещение для своего друга, князя Косого, а в нижнем – для себя маленькую квартиру. Тогда такие сюрпризы были в моде. Целые сады насаживались в одну ночь, а у Левушки было до-

вольно времени, чтобы устроить все.

Левушка ничего не ответил. Он вышел из кареты и только сказал Чиликину:

– Ступайте за мною!

Когда они прошли между цветов и растений, которыми была уставлена лестница, миновали зал и вошли через китайскую комнату в кабинет князя Ивана, Чиликин понял и почувствовал всю несуразность своей затеи и нелепость своих себялюбивых мечтаний. Тоже выдумал тягаться с кем! «Нет, уж куда нам, куда нам!» – мысленно повторял он себе, почти с благоговением ступая по блестящему паркету и оглядывая лепные и расписные стены.

Он привык благоговеть пред роскошью. Она всегда производила на него подавляющее впечатление.

И князь Иван, поднявшийся навстречу Левушке и поздоровавшийся с ним, показался ему теперь совсем другим, чем прежде, точно он стал выше ростом. Он казался Чиликину выше, потому что сам Игнат Степанович сжался и съежился пред ним.

«И бывает же людям счастье!» – думал он,

низко кланяясь Косому.

– Ну, сто? Ты холосо пловел ночь на новоселье? – спросил Левушка князя.

Вчера за ужином они выпили на «ты».

Князь Иван ответил, что почти вовсе не спал; ему было теперь так хорошо наяву, что казалось жаль заснуть.

– Я велел Степушке каждый день носить к Соголевым цветы, – сказал опять Торусский.

Степушка был наряжен в голубую, особенно красивую ливрею и как будущий собственный гайдук княгини Косой вчера держал ее шубу, когда Сонюшка вышла, чтобы уезжать домой. Князь Иван так и представил его невесте.

Торусский и князь говорили по-французски, и Чиликин не понимал их разговора; но он видел, что разговор этот был весел и приятен им, и слушал непонятные ему слова французской речи с подобострастной улыбкою, склоняясь и прижимая свою шляпу к груди.

– Ну, где же ваш документ? – обратился наконец к нему князь.

Игнат Степанович сделал несколько шаж-

ков и, как-то подпрыгнув, подал на вытянутой руке Косому свой документ. Тот рассмотрел его, сказал еще что-то по-французски Торусскому, усевшемуся на диван, подошел к бюро и открыл один из ящичков.

В этом ящичке Чиликин увидел столько денег, что их могло хватить для расплаты не одного, а, может быть, десятка таких документов, каков был у него.

Косой вынул три билета французского банка, отсчитал еще, сколько было нужно, золотом, и подал их Игнату Степановичу, спрашивая:

– Ну, теперь мы в расчете с вами?

Чиликин, раскланялся, принял деньги и ответил:

– В полном!

Князь Иван взял «документ», разорвал его, подошел к камину и бросил туда.

– Ваше сиятельство, – остановил его Чиликин, – дозволейте мне говорить?

– Что?

– Если вам угодно иметь опытного управляющего, то я готов служить вам всею душою... как вашему батюшке служил верою и

правдою...

– Ну нет, – рассмеялся князь Иван, – для меня вы уж слишком опытные... Мне вас не нужно...

«И чего полез! – опять с досадой подумал про себя Чиликин. – И никакого в тебе собственного достоинства нет, Игнат Степанович!..»

Но, несмотря на это сознание, он все-таки не мог не чувствовать своей ничтожности перед величием, под которым он подразумевал одно только – пышность и роскошь.

– Значит, я могу ретироваться теперь? – спросил он, желая все-таки тоном своего вопроса поддержать хоть сколько-нибудь свое достоинство.

– Погодите, – сказал ему Торусский, – я вас доведу сейчас.

Игнат Степанович был очень серьезен и молчалив, когда они обратным порядком вышли через зал и сени на крыльцо и сели в карету. Он, сильно хмурясь, забился в самый угол. Казалось, он был вовсе не доволен получкою трех тысяч. Он жался и кутался в свою шубу, сердито пофыркивая и выставляя

свой плоский зуб. Левушка искоса поглядывал на него.

– Дозволено мне будет сделать вам один вопрос? – наконец проговорил Чиликин.

– Сколько угодно! – ответил Левушка.

– Скажите, пожалуйста, вы, вероятно, должны знать, откуда у князя Косого могло появиться такое богатство?

– Я очень холосо знаю! – сказал Левушка. – Ему еще в Палиже пледсказала Ленолман, что счастье его будет зависеть от велевки...

– От веревки?

– Да. Так оно и вышло.

– Это уж совсем интересно! – заявил Чиликин.

– Да, и поучительно! – добавил Левушка. – Я вам ласскажу, в чем дело.

И он начал рассказывать.

Три года тому назад наши войска брали Хотин. Когда крепость была взята, она за зверства, чинимые турками, была отдана на разграбление нашим солдатам. Оружие и военные запасы они должны были представлять начальству, а остальное могли брать себе. Наши пехотные войска стояли под крепо-

стью в землянках и оттуда направлялись в Хотин за добычей.

В одной из рот был особенно лихой и предприимчивый командир. Отправился он с одиннадцатью солдатами. В землянке у него остался старый служивый, бывший уже на сверхсрочной службе и из-за старости не исполнявший полевой службы, а смотревший за ротным хозяйством. Он был нечто вроде эконома – в помощь капралу.

Солдаты с ротным скоро вернулись и принесли с собою двенадцать мешков, верхом полных жемчугом и самоцветными камнями. В одном из них были одни только бриллианты. Ротному удалось добраться в крепости до сокровищницы самого паши, и он со своими солдатами захватил драгоценные мешки с камнями. Сложив их в землянку, они отправились на новые поиски, но уже не вернулись. Старик прождал их напрасно, не зная, что случилось с ними. Они как в воду канули.

Старик остался с мешками в землянке. Думал он, думал, что с ними делать, – одному не снести все равно, и решил закопать свои сокровища. Только ему нужно было так излов-

читься, чтобы потом сразу можно было найти место, где он закопал эти мешки.

Ему пришло вот что в голову: у мусульман колодец считается священным, и они оберегают его и поддерживают. Землянки, конечно, будут скрыты, дома будут разломаны, но колодец постоянно останется, хранимый заботливой рукою набожных мусульман.

Такой колодец был вблизи землянки, где пришлось остаться старику. Ночью он отмерил прямо на восток некоторое расстояние от колодца, вырыл глубокую яму и закопал там свои мешки. Никто не видел и не знал об этом. Землянка ротного стояла настолько в стороне, что можно было все это проделать, оставаясь незамеченным. А для того, чтобы не потерять места, где были зарыты мешки, старик отмерил веревочкой расстояние этого места от колодца.

Потом, вскоре после этого, в первом же деле, ему повредила ногу шальная граната, залетевшая слишком далеко. Ему пришлось остаться в деревне, а наши войска ушли.

Когда старик оправился – нога его оказалась в таком положении, что он не мог хо-

дить уже без деревяшки. Он приладил себе эту деревяшку и пошел со своей веревочкой на родину.

– Ну, и что же-с? – спросил Чиликин.

– Ну, и этот солдат доблался наконец нынче, в августе, до Петелбулга и умел у меня в доме.

– Ах, это – тот, которого вы, говорят, у заставы подобрали? Ну, и что же-с, кому же он передал свою веревочку-то?

– Мне, плед самой смелтью.

– И, значит, это вы вот в феврале уезжали... Неужели вы были в Хотине?

– Отчего же нет? Я был там под видом купца. В Москве я насол попутчика из купцов и поехал с ним. Мы все и сделали вместе... Насли колодец. Нищий описал мне его плиблизительно, отмелили велевочкой ласстояние и насли все мески в целости: два из них с жемчугом я дал купцу, а остальные повез в Палиж и там ласплодал. Деньги плислось получить холосие.

– И большие мешки?

– Не особенно... вот такие, одной лукой поднять можно, но тяжелые... Я их на осле вез

под мателиями склытыми. Будто я мателиями толговал.

– Ну, хорошо-с! – протянул Чиликин. – При чем же тут, однако, князь Косой и почему, если вы получили такие большие сокровища, у него-то дом, и прислуга, и все, как следует...

– Потому сто эти мески и деньги, вылученные за них, были его.

– Как его? Это что-то совсем уже непонятное. Я законы-с знаю. Прежде всего, найденные вами мешки нужно рассматривать как клад. Всякий клад по закону Петра Алексеевича принадлежит казне. Но так как вы обрели драгоценности вне территории Российского государства, то этот закон на вас не распространяется, и вы – собственник всего богатства. Тут князь Косой решительно ни при чем.

– Пли чем тут князь Косой – вам сейчас объясню, когда мы плиедем, – сказал Левушка.

Чиликин глянул в окно.

– Батюшки, – сказал он, – куда ж это мы? Ведь наш дом проехали... – Он видел, что они катились по Васильевскому острову дальше и

проехали мимо их дома, который остался давно позади, чего он, заслушавшись рассказа Левушки, не заметил совсем. – Куда же это мы едем?

– Куда нужно! – ответил Левушка.

II

Они приехали к воротам кладбища, и карета остановилась.

– Выйдемте, – предложил Торусский.

– Да зачем же это-с? – усомнился Чиликин.

– Выйдемте, я вам говорю! – настоял Левушка, и так авторитетно, что Игнат Степанович послушался.

Солнце, играя на выпавшем ночью снегу, светило ярко, искрясь и переливаясь радужными блестками. Кладбищенская ограда, могилки за нею, оголенные, кое-где торчавшие деревца, крыша церкви – все было покрыто чистой пеленой яркого снега и казалось опрятным.

Торусский шел по расчищенной между могилек дорожке, и за ним послушно скрипел своими большими галошами по снегу Игнат Степанович.

Левушка прошел до конца расчищенной

дорожки и повернул вправо, где были могилки победнее. Пред одною из них он остановился наконец. Это была невысокая могилка с белым, свежим, видимо, недавно заново поставленным деревянным крестом. На кресте надпись гласила:

«Степан Чиликин, скончался августа в тринадцатый день 1741 года, 82 лет от роду»...

Игнат Степанович прочел надпись и недоумевающе поглядел на Левушку. Тот, в свою очередь, следил за ним и видел, как вдруг побледнел Чиликин.

– Это что же-с... что же-с?.. – чуть внятно выговорил тот.

– Это – могила сталика-нищего, умелшего у меня, – сказал Левушка. – Он плисол на лодину, к своему сыну, с тем, стобы пеледать ему свое богатство и умелеть у него спокойно, но тот не плинял его и даже впустить не хотел к себе, и отказался от него, потому сто, обоблав князя Косого, сам думал, сто стал богатым балином, и в дволянство полез, котолому, конечно, мешал отец, стальной плостой солдат-калека. И вот этот сын не плизнал его. Тогда сталик узнал, сто сын его оглабил молодого

го князя, и сто князь должен был уехать из родного имения в Петелбулг, в чужих людях искать счастья, то, прогнанный сыном, поселился в Петелбулг отыскивать обобланного им молодого князя, чтобы передать ему свое богатство и вознаградить за действия сына. Князь Иван заделжался в Москве, и Бог свел их у самой заставы Петелбулга. Здесь мы встлелись. Я взял сталика к себе, и он, умилая, получил мне передать князю Косому свое наследство. Я сначала не придавал этому важности, но потом вышло, что иначе было нельзя...

Игнат Степанович ясно, с сокрушенным сердцем вспомнил теперь, как ему сказали тогда, в деревне, что пришел старый калека, который хочет видеть его и называет себя его отцом, как он вспыхнул при этом и закричал, что никаких калек знать не хочет, и приказал, чтобы старика сейчас же выгнали вон. Да, такое родство казалось ему помехой к получению дворянского звания, о котором он мечтал.

А теперь? Теперь оказывалось, что этот прогнанный им человек, его отец, нес ему бо-

гатство, да такое, о котором он и грезить не смел!.. Получи он заветный клад, – а он бы съездил и достал его и, конечно, не отдал бы никому не только двух мешков, но ни одного зернышка жемчуга, – он был бы обладателем огромного состояния!..

Однако не раскаяние, не чувство стыда за свой поступок охватили его, а зависть, зачем ушло из его рук плившее было в них богатство.

– Позвольте, как же это так?.. – заговорил он. – Значит, если бы я принял тогда родителя – все его богатства были бы мои... и я бы мог купить такой же дом... и лакеев... и все это?..

Левушка с удивлением смотрел на него. Он ждал, что хоть тут, на кладбище, у могилы отца, совесть наконец заговорит в Чиликине.

Но Игнат Степанович развел широко руками, потом всплеснул ими и почти крикнул: «Батюшки мои, ведь вы меня, значит, ограбили, мое родовое отняли... погубили... ограбили»... – и уставился помутившимися глазами на надпись на кресте.

«В молду бы тебе дать», – мысленно решил

Левушка и, чувствуя, что дольше не может оставаться с этим человеком, вышел с кладбища и отправился за князем Косым, чтобы вместе ехать к Соголевым.

Они обедали там сегодня.

В тот же день вечером нашли Игната Степановича у себя в спальне повесившимся. Он перекинул через дверь перегородки полотенце и удавился на нем, вероятно, не имея силы перенести потерю богатства, которое он сам оттолкнул от себя.

* * *

Предсказание Лестока относительно Ополчины оправдалось. У того сделалась гангрена, и он не выжил. Умер он в полковом лазарете, оставленный еще во время болезни от офицерского звания. Свадьба Косого была отпразднована торжественно по возвращении двора из Москвы. Бестужев был посаженным отцом у князя Ивана. Сонюшку благословляла сама императрица. Левушка был шафером. Он поселился, как хотел, в одном доме с Косыми, и впоследствии, когда у них пошли дети, возился с ними с утра до ночи, радуясь, что они протягивали к нему ручонки и весело ле-

петали ему навстречу: «Здравствуй, дядя Лева». И Торусский был в восторге и не знал, как приласкать своих любимцев.

Дашенька вышла-таки замуж, и ее счастливым супругом оказался Сысоев, двоюродный брат Рябчич. Впрочем, они были очень милой и хорошей парой, и их все очень любили.

Но общие симпатии и особенное расположение все-таки оставались на стороне Сонюшки, молодой, счастливой княгини Косой.

Одна только Вера Андреевна, постаревшая с годами, продолжала нянчиться с Дашенькой и брюзжала при всяком удобном случае на свою милую и все-таки (она почувствовала это, когда осталась одна) дорогую Сонюшку.

Горсть бриллиантов (Быль XVIII столетия)

I. Петиметр

Ваня Красноярский, сын Захара Ивановича Красноярского, бригадира, участника миниховских походов, героя Очакова и Ставучан, имел полное право поступить в гвардию и, будучи записан еще с детства в один из лучших полков в Петербурге, отправился туда по достижении восемнадцатилетнего возраста, напутствуемый благословениями и молитвами матери и кратким наставлением отца:

– Служи верой и правдой, будь честен, ничего не проси и ни от чего не отказывайся.

С Ваней, проводшим все свое детство и юность в родной Краснояровке, деревне отца, и редко бывавшим даже в их провинциальном городке, был послан в столицу старый крепостной слуга Захарыч, на руках которого и вырос, и воспитался Ваня.

У Красноярских в Петербурге жила их

дальняя родственница, богатая и важная дама, Анна Дмитриевна Борзая, о которой Красноярские из своего далека имели весьма высокое представление и которую считали до некоторой степени своею покровительницей, благодаря ее связям и богатству. Мать Вани, помня, что ему придется ехать на службу в Петербург, из года в год к большим праздникам посылала с оказией Анне Дмитриевне транспорт гусей, индеек, яблок моченых и всяких варений и солений, которые та благоклонно принимала и постоянно «отписывала». Письма ее, после получения приношений, носили характер манифеста, но это служило лишь к вящему увеличению уважения к ней со стороны Красноярских.

Теперь, когда наступило, наконец, с таким страхом ожидаемое матерью Вани время ехать ему в Петербург, было отправлено предварительно письмо к Борзой, в котором говорилось, что Красноярские, глубоко чувствуя все благодеяния, оказанные им Анной Дмитриевной, просят ее принять сына их Ваню и не оставить его своим высоким покровительством.

Хотя до сих пор все благодеяния Борзой по отношению к Красноярским заключались лишь в том, что она получала их гостинцы, она приняла все-таки слова, как нечто должное, и не отказалась «продолжать» благодетельствовать им, отписав, что их сын Иван может приехать прямо к ней и жить у нее во флигеле, а она поручит своему сыну Андрею заняться молодым малым.

Судьба «молодого малого» была, таким образом, решена, и он явился в Петербург в сопровождении Захарыча, прямо в дом к Борзой.

Его неуклюжий деревенский возок въехал во двор богатого каменного, с гербом на фронтоне дома Борзой, и с первой же минуты их появления тут Захарыч сильно нахмурился, а Ваня испытал какое-то смутное, неясное чувство обиды. Их возок вызвал целый ряд насмешек со стороны кучеров и толкавшейся на дворе челяди. Но Захарыч с серьезным и решительным лицом, с непривычною для Вани в нем солидностью расспрашивал и распоряжался. Ваня решился вылезть из угла возка лишь тогда, когда возок подъехал, наконец, к

крыльцу того именно флигеля, где было приготовлено ему помещение, и когда Захарыч сам побывал во флигеле и тоже с непривычною для Вани официальностью сказал ему, открыв дверцу: «Здесь-с, пожалуйста выходить!» Помещение – две комнаты и людская – приготовленное для них, показалось Ване чудом роскоши в сравнении с тем, что он видел у себя в деревне, хотя это были в доме Борзой самые обыкновенные комнаты, в которых жил когда-то гувернер Андрея.

Но, очутившись в этих комнатах и чувствуя сознание, что он, наконец, приехал, что долгий и утомительный путь окончен, Ваня Красноярский повеселел и потребовал скорее одеваться.

Было около одиннадцати часов. Ваня, привыкший обедать в деревне в двенадцать, решил, что успеет еще до обеда познакомиться с хозяевами.

Захарыч, не обращая внимания на повеселевшего Ваню, продолжал хмуриться, но все-таки, постоянно исчезая куда-то и возвращаясь то с холодной водой для умыванья, то с горячей – для бритья, то еще с чем-нибудь, сооб-

щал собираемые им налету у прислуги сведения про господ, очевидно, в руководство Вани.

Так, Ваня узнал от него, что молодой Борзой живет отдельно, внизу главного корпуса дома, что у него свой собственный штат прислуги и свои лошади и кучера, что сама барыня заправляет всем, а барчук, по молодости, ни во что не входит и знается только с важными баррами.

Ваня решил, как оденется, отправиться сейчас же к молодому Борзому, познакомиться с ним, а затем пойти вместе с ним представиться самой Анне Дмитриевне.

Ваня видел до сих пор только таких молодых людей, как сам он, а потому и в Борзом думал встретить сверстника себе, который, вероятно, обрадуется ему и примет его, как хозяин и столичный житель, под свое покровительство, и расскажет ему все, и покажет. Об Анне Дмитриевне Ваня из рассказов Захарыча вынес впечатление, как о женщине строгой, и уже заранее в душе побаивался ее, но надеялся на помощь ее сына, с которым рассчитывал подружиться.

И он пошел к «Андрюше» (так уже он мысленно называл молодого Борзого) в самом отличном расположении духа и с самыми радужными надеждами.

Но разочарование явилось, как только он вступил в покои «Андрюши».

Во-первых, он чрезвычайно удивился, когда, спросив у лакея, можно ли видеть молодого барина, получил ответ:

– Не знаю-с. Надо доложить... Только что встать изволили.

– То есть как же это встать? – переспросил Ваня, и не подозревавший, что можно спать дольше семи часов утра. – Разве они больны были?

Лакей осклабился и с особенной гордостью ответил:

– В полном здоровье находятся. Вчера из «клоба» поздно приехали и сегодня к князю не едут.

– К какому князю?

Лакей уже окончательно посмотрел на Красноярского сверху вниз, как бы говоря ему: «Да ты, кажется, совеем серый», – и, бросив небрежно в ответ: «К его сиятельству кня-

зю Платону Александровичу», – пошел докладывать.

Ване пришлось долго ждать. Наконец, появился снова лакей, но не прежний, а другой, и попросил Ваню войти в гостиную и опять «подождать».

Если Ване показались роскошными комнаты, отведенные для него, то гостиная, в которую он вошел, была такова, что у него глаза разбежались и он даже растерялся. Потолок весь был расписан цветами и амурами, стены – затянуты серебристо-серым штофом. Над большим мраморным камином висело венецианское зеркало, и около стоял экран, на котором были вышиты птицы. Ковер с букетами затягивал всю комнату. Мебель была розовая, с фарфоровыми разрисованными вставками. На стенах висели картины. На одной из них барыня в желтой с голубым шелковой робе, с перьями на голове и палочкой в руках, сторожила овец, совершенно не похожих на тех, которых видал Ваня у себя в Краснояровке, в овчарне. На другой картине кавалер надевал атласный башмачок на ножку красавицы, и возле них тоже были овечки. У окна

гостиной стояла золотая клетка, и в этой клетке сидел попугай. Ваня никогда не видел живого попугая; он слышал только, что они могут говорить по-человечески. Попугай сильно заинтересовал его. Он подошел к клетке. Попугай в это время преспокойно чистил клювом крыло, но, когда Красноярский подошел к нему, встопорщился весь, перебрал по жердочке ногами, замахал головою и вдруг каким-то странным говором произнес:

– Будешь... будешь... князем... дуррак...

Ваня, несмотря на то, что знал способность попугаев разговаривать, все-таки вздрогнул.

«Занятно! – подумал он. – И попугай есть у него... Как это лакей сказал, где он был вчера – “клоб” какой-то. Нужно будет спросить, что это такое».

И первоначальное представление его о молодом Борзом совершенно изменилось. Судя по обстановке, в которой тот жил, это была далеко не ровня ему, Ване.

Красноярский заглянул в щелку чуть растворенной двери в соседнюю комнату. Там кругом стояли богатые шкафы с книгами – очевидно, библиотека.

«О, он, должно быть, умный!» – подумал опять про Борзого Ваня.

В это время дверь растворилась, и из-за нее послышался голос:

– А, Красноярский, как вас именуют, войдите сюда.

Красноярский прошел через библиотеку и очутился в спальне. Он с первого раза испугался – думал, что по недоразумению попал не в спальню к Борзому, а в комнату молодой девушки.

И тут стены были покрыты штофом, но только голубым, и пол затянут ковром. Над кроватью висел кружевной полог. Против окна стоял туалет с зеркалом в серебряной раме и множеством пузырьков и баночек. У туалета сидел, очевидно, сам Борзой. Но он не обратил ни малейшего внимания на вошедшего Ваню.

Вокруг него суетился господин, великолепно одетый в шелковый кафтан. Они говорили по-французски и, очевидно, спорили.

Борзой повторял все: «à la grecque»[6], а господин в шелковом кафтане – «à l'oiseau royal»[7].

Наконец, субъект в шелковом кафтане победил и принялся за щипцы, гревшиеся тут же, на туалете, на каком-то хитром приспособлении.

Когда спор был окончен, Борзой обернулся к Ване:

– Ну, покажи себя, – проговорил он и, оглядев Ваню, сказал что-то по-французски господину.

Оба они засмеялись.

Пока Борзому припекали различными щипцами волосы, он задал несколько вопросов Ване и так, между прочим, сказал:

– Что же ты не сядешь?.. Садись!..

Красноярский сел и с тем же любопытством, с которым рассматривал попугая, стал следить за тем, что происходило пред его глазами.

Долго провозившись с завивкою пуклей, француз надел, наконец, на лицо Борзому маску и стал пылить ему в голову надушенной пудрой, от которой Ваня чихнул несколько раз, что вызвало новый смех.

Напудрив Борзого, француз ушел, не поклонившись даже Ване.

На смену французам явились лакеи.

Красноярский и представить себе не мог, что могут в действительности существовать такое платье, где даже на спине подкладка была шелковая, и такое тонкое белье, которое надевали на Борзого.

– Это что ж такое? – спросил он, не утерпев и показывая на кружева, которые держал лакей в руках.

Борзой снова рассмеялся.

– Это? Разве ты не знаешь, что такое маншеты? – удивился он. – Покажи ему! – велел он лакею.

Ваня посмотрел.

– Таких у нашей губернаторши нет, – сказал он.

– Уж, конечно, нет! – подхватил Борзой. – Эти мне тысячу рублей стоят.

– Тысячу рублей?! – чуть не привстав, переспросил Красноярский.

Его наивность, видимо, потешала молодого Борзого.

– Что ж, – ответил он, – у князя есть кружева, которые... одни маншеты тридцать тысяч стоят.

Красноярский чувствовал себя все более неловко.

– Это у князя Платона Александровича? – робко произнес он.

Ему хотелось узнать, какой это князь.

– Ну да, конечно!

– А как его фамилия?

– Кого, князя? Ты не знаешь фамилии князя Платона Александровича? Да ты совсем из другого монда[8] приехал, мой любезный!.. Ты не знаешь князя Зубова?..

Ваня покраснел, поняв, что, должно быть, очень стыдно не знать, кто такой князь Платон Зубов.

И Борзой стал объяснять ему, что князь Зубов теперь «в случае», что это – первое лицо во всей России, и что он, Борзой, у этого первого лица состоит в куртизанах, присутствует при его туалете и даже обедает иногда у него, и что сегодня не поспел к «туалету князя» потому только, что вчера долго засиделся в «клубе».

Ване чрезвычайно хотелось спросить, что такое «клуб», но он воздержался, боясь вызвать опять насмешку.

Наконец, Борзого одели, опрыскали духами, он вырезал маленькие кружочки из черной тафты и наклеил их один – на щеку, другой – на лоб.

Лакеи ушли.

Борзой, по-видимому, был совсем готов. По крайней мере, он, повернувшись пред зеркалом и присев, проговорил:

– Ну, вот и я!.. Теперь мне пора...

Вслед затем он протянул руку Красноярскому.

– Вы разве уезжаете? – спросил тот. – А я хотел просить вас, чтобы вы представили меня вашей матушке.

И Ваня покраснел до ушей.

До сих пор он избегал говорить Борзому «ты» или «вы» и старался составлять фразы безлично, но тут, к досаде своей, у него вырвалось это «вы», и он чувствовал, что так и впредь будет обращаться к этому господину, который, не обинуясь, «тыкал» его.

Борзой поднял брови и показал пальцем вверх:

– Туда? – проговорил он. – Туда я хожу только за деньгами... и всегда предпочитаю в

таких случаях ходить один... Нет, уж ты презентуйся[9] сам... Ах, кстати, – вдруг добавил Борзой, – у тебя есть деньги?

– Есть...

– Видишь ли, я вчера проиграл в карты... У тебя где деньги?

– У Захарыча, – смущаясь, произнес Ваня. Такого разговора он уж никак не ожидал.

– Кто это Захарыч?

Ваня объяснил.

Борзой опять захохотал.

– И много? – спросил он.

– Двести рублей.

Борзой махнул рукой и, уходя уже, проговорил:

– Ну, мне надо тысячу!

Ваня только руками развел.

II. Куртизаны

В тот же день Борзой полетел к своим товарищам, таким же «петиметрам», как и он, и рассказал, что у него есть для них новинка, удивительная! Он описал Ваню Красноярского самым смешным образом, передавал в лицах его разговоры, неуклюжие манеры, описывал его деревенский костюм и говорил, что если они хотят посмеяться его «бономи и семплисите»[10], то нужно поспешить, и он ручается, что этот «соваж»[11] уморит их со смеха.

В своем экстазе Борзой забыл даже о неприятности вчерашнего проигрыша в клубе, который ему нечем было заплатить. Он ходил к матери просить тысячу рублей, но она наотрез отказала, сказав, что он на прошлой неделе получил пятьсот рублей и этого ему довольно.

В кругу молодых людей, состоявших, по французскому выражению, «куртизанами», по-русски – просто прихлебателями князя Зубова, заинтересовались диковинкой, появившейся у Борзого. Борзой, к крайнему своему удовольствию, был «в моде» целый день и ез-

дил, и рассказывал, и все спрашивали его и слушали. Вечером, на балу, даже сам Zubov сказал Борзому:

– А я слышал, у тебя раритет[12] какой-то? Борзой так и расцвел весь.

– Чудо, ваше сиятельство, чудо, дитя лесов и пустыни... преинтересно...

И он рассказал несколько уже сочиненных им в тот день анекдотов про Красноярского, которые заставили смеяться его сиятельство князя Зубова.

Между тем Ваня, не подозревавший, что служит предметом стольких толков, сидел у себя в комнате сильно смущенный.

Неужели все молодые люди в столице таковы, как Борзой, неужели и он, чтобы не краснеть, должен носить кружева тысячные, проигрывать огромные суммы в карты, спать под кружевным балдахином и повесить на стену картинку, на которой кавалер надевает башмачок даме?

Но откуда ж взять деньги на это?

Все его теперешнее богатство – двести рублей, хранившиеся у Захарыча и казавшиеся там, в деревне, очень и очень крупной сум-

мой, оказывались здесь такими грошами, о которых и думать даже было нечего.

И невольно мысли, одна другой мрачнее, замелькали в голове бедного Вани. Для его молодости, неопытности и свойственного юношескому характеру малодушия много заманчивой прелести было во всем том, что, как он видел, окружало Борзого. Было, правда, что-то тут такое, что инстинктивно претило Красноярскому, но, несмотря на это, так и лез в голову обидный вопрос, отчего и он не может так же вот жить, наслаждаться, а главное, не краснеть за себя пред каким-нибудь Борзым, в сущности, таким же простым смертным, как и он? Обидно, досадно, больно это было, но что же делать?

«Хоть бы мало-мальски прилично обставиться, и то не хватит двух тысяч», – подумал Ваня, хотя совершенно не отдавал себе отчета, почему именно двух тысяч не хватит.

Одно было только ясно и несомненно, что на двести рублей ему положительно ничем обзавестись нельзя.

– А что, деньги у тебя? – спросил он у Захарыча, вошедшего так, будто по своему делу,

но, в сущности, зорко присматривавшегося к нему.

Захарыч глянул на него исподлобья.

– У меня, где же им и быть... А вам что?

– Нет, ничего, я так... Что ж, тебе нравится здешнее житье?

Захарыч отвернулся и ничего не ответил.

– Покои-то какие тут! – продолжал Ваня, – Ты в самом доме был, видел?.. У молодого барина был?

– Был.

– И попугая видел? – спросил опять Красноярский, думая, что такая диковинка, как попугай, непременно уж должна заинтересовать Захарыча.

Но тот по-прежнему остался равнодушен.

– Это скворец-то заграничный?

– Как скворец?

– Ну, разумеется! У нас скворцы говорят. Вот у дьячка покойного в нашей церкви (вы его помнить не можете, махоньки были) скворец тоже ученый был, так всякий напев знал и слова тоже мудрые, а это что ж: одно название и вид заграничный, клюв крючком и в пере серый, а супротив дьячкового сквор-

ца ему не устоять. Ругается он и только. Кабы заняться, так можно как следует выучить.

– А ты разве умеешь?

– А вы спросите, что Захарыч не умеет.

И, начав говорить о своих талантах, Захарыч незаметно перешел на воспоминания о Краснояровке, и думы Вани направились совсем в другую сторону.

Вскоре после того, как молодой Борзой произвел среди петиметров сенсацию своими рассказами о Красноярске и даже показал его некоторым из них, Зубов после своего утреннего туалета, на котором присутствовали не только петиметры, но и некоторые старые вельможи, оставил у себя нескольких «куртизанов», в том числе и Борзого, завтракать. Ему было скучно одному, и он хотел провести время среди таких же молодых людей, каким и сам был. В последние дни все к нему приходили с бумагами, которых он и не понимал, хотя старался показать обратное, и терпеть не мог. Он хотел попробовать устроить у себя «молодой» завтрак в надежде, не развеселит ли его хоть это. Все ему приелось, наскучило и надоело.

Но завтрак, по-видимому, не обещал особенного веселья. Петиметры-куртизаны были в восторге, старались изо всех сил вести оживленный разговор, но шутки их казались плоскими и остроты незабавными.

Зубов сидел у письменного стола и, зевая, предавался своему любимому занятию – пересыпанию бриллиантов и драгоценных камней из ладони в ладонь и на стол. У него для этого была целая шкатулка, с верхом наполненная камнями.

– Боже мой, какая тоска все-таки! – зевая, проговорил он. – До вечера еще сколько времени осталось, нужно прожить его, а делать нечего.

– А что же вечером? – спросили его.

– Вечером хоть комедия в театре, авось, она позабавит.

– А вот если устроить «живую комедию» сейчас? – сказал кто-то из петиметров.

– Как же сейчас?

– Да так, ваше сиятельство! Вот Борзой чудеса рассказывал про какого-то «соважа», который очень интересен; если бы вы приказали ему привезти эту занятную персону сюда,

может быть, презабавный бы фарс вышел.

Зубов улыбнулся и сказал:

– А в самом деле, поезжай, Борзой.

Этого, разумеется, было достаточно, чтобы Борзой полетел кубарем и через короткое время явился с Красноярским.

Сначала, как только Борзой явился за ним, Ваня ни за что не хотел ехать к Зубову.

С каждым днем его пребывания в Петербурге чад и угар окружавшей его жизни охватывали его все более и более. Наяву и во сне, в особенности во сне, он грезил деньгами, при посредстве которых мог бы зажить вольготно и счастливо. Счастье заключалось в равенстве с такими людьми, как Борзой и его товарищи. Конечно, Красноярский рассчитывал служить и заниматься службой, быть дельнее этих людей, но во внешности, в обстановке он чувствовал необходимость по возможности не отстать от них.

Теперь комнаты, в которых он жил и которые в день приезда показались ему такими роскошными, были слишком просты для него; свой лучший кафтан (сколько говорилось об этом кафтане в деревне и как хлопо-

тали о нем, и как нравился он там всем!) он считал «постыдным»...

И, когда Борзой явился к нему с требованием ехать сейчас к Зубову, он в первую минуту показал на кафтан, говоря, что ему нужно подождать, пока будет готов новый, который он уже заказал себе.

Но Борзой так раскричался, так торопил, просил, уговаривал и приказывал, что Ваня сам не помнил хорошенько, как очутился в карете, которая неслась уже во весь скок по направлению к дворцу.

И приехав к Зубову, Красноярский был словно как в бреду; он не вполне ясно сознавал, что, собственно, происходит или произошло с ним. Все это было как-то вдруг – туман какой-то, суета Борзого, потом скачка в карете, потом роскошь, такая роскошь, что глаза разбежались и буквально голова закружилась. И в этом тумане выделялась одна центральная фигура, пред которой не только он сам, но и Борзой, и все окружающие тушевались: это – молодой красавец, писанный красавец, лениво облокотившийся на стол, медленно пересыпая свободною рукой драгоценные

камни, которых пред ним стояла полная шка-
тулка.

Так вот он, Платон Зубов! Он даже и не кивнул головою на простой русский поклон Вани, вызвавший неудержимый, громкий смех. Он только глянул на него и, когда кругом рассмеялись, тоже показал свои крепкие, белые ровные зубы в улыбке, еще более скрасившей его и без того красивое лицо.

Кругом заговорили, засмеялись еще.

«Может быть, это так они, между собою, не надо мной», – подумал Ваня, стараясь успокоиться, но все время чувствуя на себе общие взгляды, страдая за свой кафтан и уже внутренне браня себя, зачем приехал.

К нему беспрестанно обращались с вопросами, заговаривали с ним. Он отвечал. Но не успевал он рта раскрыть, как раздавался уже хохот.

Наконец, Ваня сел в сторонку и замолчал.

«И что я вам сделал?» – как бы спрашивал он, оглядываясь кругом.

Зубов как будто развеселился. К Борзому он стал внимательнее, чем к другим, и когда тот похвалил стоявший на окне кактус в цве-

ту – редчайший экземпляр, только что присланный князю в подарок кем-то из иностранных послов, Зубов небрежно спросил его:

– Вам нравится?

Борзой стал хвалить еще больше.

– Я вам велю прислать этот цветок, – сказал Зубов, и все петиметры с нескрываемой завистью обернулись на Борзого, но каждый постарался стать с ним любезнее.

И словно в программу этой любезности к Борзому тоже входило приставание к привезенному им на общую потеху Красноярскому, к Ване стали снова обращаться с нарочно глупыми вопросами:

– Вы видали кактус?

– А затылок свой видели?

– А стекла в окнах?

– А правда, что внутри России сырое мясо едят?

Бессильная злоба уже подымалась в душе Вани. Он отлично понимал, что над ним смеются, и понимал, для какой роли его привезли сюда.

Он сжимал кулаки и кусал губы, но делать

было нечего. Не следовало ехать – это другой вопрос.

И Ваня давал себе слово и делал всевозможные заклятья, что никогда уже ни за что не поедет по приглашению Борзого и к нему не пойдет... Ни за что!..

Когда пошли все завтракать, Красноярский думал, авось, не заметят его, и остался последним в кабинете, надеясь, что о нем позабудут, но нет, вспомнили.

За ним пришел Борзой, потом еще несколько человек и почти насильно потащили в столовую. Его усадили за стол.

За столом опять начались придирки и приставания. Ваню потчевали, угощали, наливали ему вина.

– А отчего не пьет ничего господин... Красноярка? – вдруг сказал, к общему удовольствию, сосед Красноярского, молодой человек с тупым, но нахальным лицом, и взялся за бутылку, чтобы налить в рюмку Красноярского.

Тот побагровел весь. Выпитое вино и долго сдерживаемое возбуждение подействовали на него наконец.

– Это вы ко мне-с? – спросил он.

– Да, к вам-с, – ответили ему в тон.

– Ну, так я вам, сударь, скажу, что моя фамилия не Красновка, а Красноярский, и это – дворянская, честная фамилия, за честь которой, если вы позволите оскорбить меня, я разведусь с вами поединком! – вдруг выпалил Вайя.

На этот раз все притихли, а Зубов поморщился.

Это было под самый конец завтрака. Почти сейчас же, может быть, именно вследствие этого инцидента, встали из-за стола.

Перейдя снова в кабинет, Зубов опять сел к столу и принялся перебрасывать камни, но вдруг остановился, стал внимательнее вглядываться в них, высыпал всю шкатулку на стол и оглянулся на стоявшего возле него Борзого.

– У меня камней не хватает, а пред завтраком все были, – сказал он, впрочем так, что остальные не могли слышать.

Он знал, оказывалось, все свои камни наперечет.

Борзой, совершенно спокойный, наклонился к нему.

– Не может быть, чтобы кто-нибудь из здесь присутствующих... – начал он.

Зубов обвел глазами всех находившихся в комнате. Они все очень весело разговаривали, очевидно, после завтрака сделавшись по-свободнее. Один Красноярский сидел в углу, насупившись.

– А за него вы отвечаете? – показал глазами Зубов на него.

Борзой вдруг густо покраснел.

Зубов понял, что причина этой красноты та, что Красноярский был привезен Борзым.

– Можно сделать обыск, – сказал Борзой, совсем понижая голос, почти на ухо Зубову.

– Здесь, у меня? – поморщился тот.

– Можно сделать такой финт, чтобы все сняли кафтаны и камзолы, и под этим предлогом...

Зубов кивнул головой.

Борзой подошел к остальному обществу и вмешался в разговор.

Через несколько времени он очень ловко предложил идти всем играть на бильярде.

Все согласились и шумно направились в бильярдную. Там Зубов первый показал при-

мер и снял не только кафтан, но и камзол, предложив и остальным сделать то же самое.

Все, в особенности те, у кого, как у Борзого, рубашки были из тончайшего батиста, поспешили последовать его примеру. Только Красноярский оставался стоять в углу у стенки, не двигаясь.

Сам Зубов подошел к нему.

– А что же вы?

– Я... ваше сиятельство, – ответил Красноярский, титулуя Зубова, потому что все титуловали его кругом, – на бильярде не играю.

Зубов вспыхнул.

– Но раз я снял кафтан и камзол, этикет требует, чтобы вы сделали то же самое. Я вам приказываю снять кафтан.

Мертвенная бледность покрыла лицо Вани. Он стоял, опустив глаза и бессильно держа руки.

– Ну, что же? – повторил Зубов.

– Ваше... сиятельство... я не могу... не могу снять кафтан, – чуть слышно проговорил он.

Зубов оглядел его с ног до головы.

– Я, к сожалению, знаю, почему вы не можете снять свой кафтан, – сказал он. – Стыдно.

Ступайте сей же час вон отсюда! Слышите? – и он показал Красноярскому на дверь.

Ваня стоял, как ошеломленный, словно не понимая, что с ним.

– Слышали? Вон ступайте! – раздался над его ухом выразительный шепот, и Борзой, крепко захватив его за локоть, почти насильно вывел из комнаты.

III. Скверное дело

Произойди такое дело в чьем угодно доме – очень может быть, что оно осталось бы без последствий и не вызвало бы никакого шума, но пропажа горсти бриллиантов у самого князя Зубова не могла пройти бесследною. О ней узнала сама императрица, и полицейские, и судебные власти, все, как один человек, стали на ноги, так как во что бы то ни стало нужно было найти украденные драгоценности.

Путь поисков был ясен. Не только подозрение падало на явившегося недавно из далекой глуши «молодчика» Красноярского, но даже существовала вполне уверенность, что кража произведена им.

Все находившиеся у князя были люди богатые или, по крайней мере, известные за таких; один Иван Красноярский заведомо был почти нищий в сравнении с ними. Ясно, что он мог польститься на драгоценные камни. Затем вспомнили, что он один оставался в кабинете, когда все уже ушли в столовую завтракать, и, главное, не пожелал снять кафтан, когда все это сделали совершенно охотно, причем снятые кафтаны были осмотрены самим князем на всякий случай, но нигде бриллиантов не оказалось.

Красноярского арестовали! От него требовали полного сознания, но он не признавался ни в чем, а упорно утверждал, что никаких бриллиантов не брал и в мыслях не имел брать их. Самый тщательный обыск, сделанный у него, не открыл ничего: бриллианты исчезли. Допрашивали слугу Красноярского, старика-крепостного, но тот повторял только, что живот готов положить свой, что барчук его, Иван Захарович, не мог на такое скверное дело пойти. Старик рыдал навзрыд во время допроса, клялся и божился, но ни слезам его, ни клятвам никто не внял. Ничего не добив-

шись от Захарыча, его прогнали и больше не тревожили.

У Борзых, конечно, не стали держать слугу арестованного Красноярского, и Захарыч поселился по соседству у одной вдовы бывшего придворного истопника, принявшей в нем участие из жалости и уважения к его старости.

Захарыч вполне понимал, что во всем Петербурге, кроме него, старого, никого нет у «дитятки», как он мысленно до сих пор еще называл Ваню, и некому, решительно некому, кроме него, заступиться за «дитятку». Но что же он, холоп, крепостной человек, может сделать? Кто станет его слушать, кто обратит на его слова внимание?

Однако Захарыч ночи не спал, думая о том, что сделать, чтобы не дать в обиду барчука, возвращенного им с детства и порученного его попечению.

К кому обратиться?

Захарыч помнил, что у них в провинции, когда ему случалось ездить по барским делам в город, во всех местах могущественною силою было всегда одно лицо – «секретарь». Сек-

ретарь захочет – и все будет.

Он знал, что и тут, в столице, раз забрали его «дитятку», значит – писали бумаги, подшили их в синюю обертку, стало «дело», а раз есть «дело» – значит, и «секретарь» существует.

Подробности происшествия у Зубова Захарыч знал до самых мельчайших тонкостей через прислугу Борзых, которая, с тех пор как стряслось над ними несчастье, совершенно изменилась к старику.

На дворне у Борзых его жалели, и прислуга, слыша, что говорилось в барских комнатах, передавала все подробно Захарычу. А говорилось, видимо, много, потому что, что ни день, Захарыч получал дополнения или разъяснения.

От самого Вани узнать он ничего не мог. Красноярский приехал от Зубова вне себя, растерянный, расстроенный. Захарыч стал его расспрашивать, но ничего не мог добиться толком и понял только, что Ваню крепко обидели чем-то. В тот же вечер пришли и забрали Ваню.

С тех пор Захарыч не видел своего «дитят-

ки».

По чувству, по душе он готов был идти на какую угодно казнь и пытку, доказывая, что его барчук не станет чужим пользоваться, а, напротив, свое еще всем отдаст, но должен был при этом сознаться, что обстоятельства говорят против. Как это все случилось – Захарыч не знал, но видел, что есть причины обвинять Ваню. Зачем он остался один в кабинете, зачем кафтана не снял?

Пред решением этих вопросов Захарыч становился в тупик, и все-таки не мог допустить, что сын Захара Ивановича, бригадира Красноярского, пошел на такое подлое дело.

Начав искать «секретаря», Захарыч не успокоился до тех пор, пока действительно не нашел его в подлежащем ведомстве и месте.

Секретарь за две красненькие (из двухсот рублей, хранившихся у Захарыча) устроил ему «свидание» с заключенным Ваней.

Тот очень обрадовался своему пестуну. Оба они заплакали, обнялись. Ваня поклялся ему на образ, что не прикоснулся ни к одному камешку. Захарыч поверил ему и стал спрашивать о кафтане.

Ваня закрыл лицо руками и снова заплакал.

– Не мог я снять этот кафтан, – заговорил он, – потому что, во-первых, не знал, чего ради требуют от меня это, а главное – потому, что на спине у меня на этом кафтане вместо подкладки подшиты лоскуты матушкиной юбки. Она ведь мне юбку, чуть ли не лучшую, на подкладку-то дала. «Все равно, – говорила, – кроме Захарыча да тебя никто не увидит, что у тебя подшито там, так что ж тут тратиться?» А ведь знаешь, юбка-то была с разводами и цветами... с цветами, Захарыч! – всхлипнув, повторил Ваня. – Ну, как же мне было при всех показать это? Ведь и без того надо мной смеялись... а тут вдруг еще с цветами...

И Ваня снова залился слезами.

– Голубчик ты мой, бедненький! – приговаривал Захарыч. – Верь ты мне, что никогда Господь не попустит неправде совершиться. Испытание пошлет Он, если с пути человек, угодный Ему, свернуть вздумает, но правда всегда наружу выйдет. Будем надеяться на Его милосердие, а я, что могу, буду стараться;

случись что с тобою, все равно в гроб лягу.

Так на этом и расстались старый слуга и его юный, оставленный на его холопские заботы, барчук.

Теперь Захарыч словно головою выше стал. Ни малейшего уже сомнения не было у него, что не виноват его Ваня. Главное, темное обстоятельство было выяснено.

Кроме того, он возлагал большие надежды на секретаря. Тот для него был все. По его мнению, он мог, если б только захотел, все сделать.

Захарыч явился к секретарю весь сияющий.

– Помогите, – заговорил он, – будьте отцом милосердным! Теперь досконально знаю, что Иван Захарыч Красноярский не виновен.

И он объяснил причину, почему не снял Ваня кафтана.

Но на секретаря это объяснение вовсе не подействовало так радостно, как на него самого. Оно, в сущности, никак не подействовало на секретаря.

– Конечно, разные экспликации бывают юридически уголовных конъюнктур! – сказал

он, подняв брови.

Захарыч ничего не понял из этой фразы, но убедился по тону, которым она была произнесена, что и секретарь совершенно равнодушен к «их» делу.

Он знал «обычай» и постарался заинтересовать секретаря:

– Мои господа за деньгами там, коли расходы какие нужны, не постоят.

Секретарь стал как будто внимательнее и произнес со вздохом:

– С деньгами сделать все можно: и оправдать, и окончательно обелить, смотря какие деньги.

– Большие! – с уверенностью решил Захарыч.

– Ну а как все-таки?

– Да ежели, чтоб совсем обелить, так полтора ста рублей можно дать.

Секретарь вытянул губы.

– Э-э! – свистнул он. – На этом и мараться не стоит.

– Можно и сто шестьдесят, – поправился Захарыч, думая, что эта цифра уже наверное прельстит секретаря.

Но тот только головою помотал.

– Неужели ж и ста восьмидесяти будет мало? – уже упавшим голосом проговорил Захарыч.

Это было все, чем мог он располагать.

– Тут дело тысячами пахнет, любезнейший, а ты с пустяками суешься, – махнул рукою секретарь.

Захарыч переступил с ноги на ногу, смял шапку в руках и, подняв на секретаря глаза, совсем полные слез, спросил:

– Неужели ж так и пропадать барскому дитяте?

Но секретарь не стал разговаривать дальше.

«Тысячами пахнет, – рассуждал Захарыч, идя домой, – сто восемьдесят рублей – пустяки для них; ну, и народ, ну, и кровопивцы же!.. Это чтобы невинного-то обелить!..»

Он знал, что тысячей неоткуда взять не только ему, но и самим господам его. А что сделается со стариками, как они узнают, что случилось с их ненаглядным Ванюшей!..

«Ее-то, голубушку-барыню, жаль!» – думал Захарыч, и крупные слезы текли по его смор-

ценным щекам.

IV. Правда

Захарыч решился на последнее средство. Пошел он просить «тысяч» у самой Анны Дмитриевны Борзой. Правда, та в свое время велела прогнать его, но Захарыч думал, что все-таки упросит ее.

Однако у Борзой даже докладывать о нем не захотели.

– Говорят тебе, – пояснил ему сам дворецкий, – что и беспокоить не смеем, такой уж приказ вышел. Сказано – нельзя. Нельзя, – повторил он на бесконечные просьбы Захарыча, – и рад бы, да нельзя.

В это время в официантскую, где объяснялся дворецкий с Захарычем, вбежал мальчишка-казачок, который был при молодом барине. Правое ухо у него было иссиние-красное, и он ревел благим матом.

– Ты чего? – окликнул его дворецкий.

– Да как же, Фока Васильич, за што ж он дерется! – Он говорит: «Ты мне растению княжескую залил, что князь мне прислал, повяла она; а вот крест святой – я не заливал, а сам

видел, как он в земле копался, камушки оттуда вытаскивал – оттого она и повяла, а он меня за ухо...»

Захарыч так и задрожал весь.

– Ка... какие камушки? – чуть выговорил он.

– Известно – самоцветные.

Дворецкий, взглянув на Захарыча, должно быть, тоже сообразил.

– Чтоб и духа твоего не было! – крикнул он на казачка. – Болтай тут вздор всякий... Ты у меня повтори только... запорют тебя до смерти... покажут, как за господами подсматривать!.. – и, обернувшись к Захарычу, он добавил, стараясь говорить как можно спокойнее: – Ну, Матвей Захарыч, это уж выходит не нашего ума дело. Вы меня не путайте – все равно отрекусь, – да и вам не советую. Потому господа Борзые всегда сильнее господ Красноярских окажется...

– Ну а Бог-то сильнее всех будет! – проговорил, в свою очередь, Захарыч и стал собираться уходить.

В доме Борзых его видели еще один раз – в тот же день вечером. Больше он не показы-

вался.

В этот вечер лакей, вынесший чистить по-
пугая молодого барина и отлучившийся, на-
шел в клетке птицу мертвою.

Прошло две недели.

И вдруг во дворце случился переполох. Рас-
сказывали следующий, почти невероятный
случай: государыня, имевшая обыкновение
встать очень рано, в шесть часов утра, как
всегда, встала, зажгла свечи, перешла в убор-
ную, где известная ей камчадалка Алексеева
подала ей теплую воду для полоскания горла
и лед для обтирания лица, и затем отправи-
лась в свой рабочий кабинет, куда подали ей
кофе. Сидя за кофе, императрица услышала,
что в соседней комнате говорит кто-то. Она
прислушалась.

– Красноярский не виноват, – услышала
она ясный, но довольно странный чей-то го-
вор.

Государыня встала и вышла в соседнюю
приемную.

Там никого не было, но те же самые слова
послышались еще раз.

Тогда она догадалась, в чем дело.

В комнате стоял попугай в клетке, купленный недавно и принесенный вчера только сюда.

Государыня, память которой сохраняла иногда фамилии, раз, мельком, услышанные, вспомнила, что имя Красноярский почему-то знакомо ей, и недавно. Это заинтересовало ее.

Немного погодя, попугай повторил опять свою фразу.

В тот же день Екатерина велела навести справку, откуда был куплен попугай во дворец.

Оказалось, что он был приобретен при посредстве Алексеевой. Алексеева же узнала о попугае через вдову бывшего дворцового истопника, с которой знакома давно. У вдовы живет в квартире старичок; он и предложил продать попугая.

Старичок этот – Матвей Захарович, крепостной человек господ Красноярских, из которых один обвиняется в краже у сиятельного князя Платона Александровича горсти бриллиантов.

Государыня, получив эти справки, ничего не сказала, но Алексеевой велела негласно

провести к себе старого и верного слугу Красноярских.

Захарыч явился и, повалившись в ноги, рассказал все дело, как знал, рассказал, что делал все, что мог, но нигде его не слушали, и тогда он решился прибегнуть к своей хитрости. А попугая он достал следующим образом: у одной генеральши, в соседнем доме с тем, в котором он жил теперь, окошел попугай, как раз в тот день, когда Захарыч узнал от казачка о камнях. Попугай этот был точь-в-точь такой, как Захарыч видел в комнатах Борзого. Он счел такое совпадение знаменательным, и тут же ему пришел в голову его смелый план. Подменить живого попугая на мертвого было легко, тем более, что Захарыч знал время, когда чистили попугая. В неделю он научил попугая говорить нужные слова и продал его во дворец в надежде, что он будет поставлен в покои государыни.

Екатерина велела в тот же день бывшему у нее с докладом обер-прокурору лично разобрать это дело, и из подробного следствия выяснилась полная невинность Красноярского.

Уличенный Борзой сознался во всем: он

проиграл в клубе солидный куш, просил денег у матери, которая ему отказала, пытался занять, но в долг ему не дали. Тогда он решил взять горсть драгоценных камней из шкатулки князя Зубова, уверенный, что это для князя – такие пустяки, которых он не заметит. Камни же он засунул в землю горшка кактуса, подаренного ему в тот же день князем. Таким образом, собственно, бриллианты не он унес, но они были ему присланы вместе с кактусом.

Успел же он проделать все это, когда выходил из столовой звать Красноярского и остался один в кабинете, после того как Ваню уведли.

Оправданный Красноярский поступил в полк и впоследствии отличился под командою самого Суворова.

Фамилия его, под которой он действует здесь, в рассказе, – вымышленная! Мы бы сообщили настоящую, если бы имели на то право.

Серия исторических романов

В. *Скотт* **Опасный замок.** Редгонтлет
В. Соловьев **Волхвы.** Великий розен-
крейцер

Э. Орци **Лига Красного Цветка**

М. Волконский **Кольцо императрицы**

Д. Мережковский **Петр и Алексей**

М. Линдау **Яд Борджиа**

Т. Мильке **Гильгамеш**

Ю. Тынянов **Смерть Вазир-Мухтара**

В. Гюго **Человек, который смеется**

Д. Мордовцев **Двенадцатый год**

Примечания

Французский подлинник этого письма находится в Государственном архиве. Рукою Анны Леопольдовны написаны те слова, которые в переводе поставлены в скобках. В подлиннике эти слова наверху соответствующих, а последние зачеркнуты. (*Здесь и далее примеч. автора.*)

[^^^]

Секретарь саксонского посольства.

[^^^]

3

Всегда себе верен (собственно: «тот же самый»).

[^^^]

4

Личность, пользующаяся особенным вниманием.

[^^^]

5

Подлинные слова Лестока.

[^^^]

По-гречески (фр.).

[^^^]

Как царская птица (фр.).

[^^^]

Света (от фр. monde).

[^^^]

Представься.

[^^^]

Наивности и простоте.

[^^^]

Дикарь.

[^^^]

Редкость.

[^^^]